

Антология Сатиры и Юмора России XX века



Александр Талич



ДЕНЬ ИМЕНИ
Ф. ДЗЕРЖИНСКОГО



Антология Сатиры и Юмора России XX века



Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология
Сатиры и Юмора
России XX века

Александр Талич



..Было это в начале февраля 1958-го года.

Позже - день недели и дату, - вспомнить

. Теперь, разумеется уже не могу. Зим

^{1957 года} года Крайшннал - редкие морозы.

они сменились куда как более жестоким

ой оттепелью, а тогда Московские улицы

уже были ^{заваляло} ~~заваляло~~ шокром зрелищным

железом, который не успевали убирать и

~~на него~~, чтобы предупредить гололед,

посыпали не песком, (с песком были

перебои) а солью. От соли на обуви

проступали ^{незамедлительность} ~~незамедлительность~~ кляксы, бел

ажурные ^{ка-поздние бахромы} ~~ка-поздние бахромы~~ разводы.

... Мы с Жеккой ^{хмурый чурок} ~~хмурый чурок~~ шли в театр-студию

"Современник" на генеральную репети

цию моей пьесы "Матросская Ти

на".

Впрочем, в ту пору, "Современник" и

был ~~еще~~ театром-студией, и ис

был ~~еще~~ "Современником", а ~~еще~~



*А*нтология Сатиры и Юмора России XX века



A. Tamm

*А*нтология Сатиры и Юмора России XX века

Александр Талич

«ЭКСМО» 2005

УДК 882
ББК 84(2 Рос-Рус)6-4
Г 15

АНТОЛОГИЯ САТИРЫ И ЮМОРА РОССИИ XX ВЕКА

Александр Галич

Серия основана в 2000 году

Редколлегия:

Аркадий Арканов, Никита Богословский, Владимир Войнович,
Игорь Иртеньев, проф., доктор филолог. наук Владимир Новиков,
Лев Новоженев, Бенедикт Сарнов, Александр Ткаченко,
академик Вилен Федоров, Леонид Шкурович

Главный редактор, автор проекта Юрий Кушак
Ответственный редактор и составитель тома Эльвира Мороз

Оформление переплета Лев Яковлев

В книге использованы фотографии из личного архива
А. А. Архангельской-Галич

Рисунок на переплете Николая Дронникова

Галич А.

Г 15 Антология Сатиры и Юмора России XX века. Том 25. —
М.: Изд-во Эксмо, 2005. — 576 с.

УДК 882
ББК 84(2 Рос-Рус)6-4

ISBN 5-699-03456-0 (т. 25)
ISBN 5-04-003950-6

© А. А. Галич. Наследники, 2003
© Э. С. Мороз. Составление, 2003
© Ю. Н. Кушак. Составление, 2003
© ООО «Издательство «Эксмо», 2003

Содержание

Лев КОПЕЛЕВ. Чем поэт жив	13
Автобиография	25
«Когда я вернусь...»	26
«Началось все дело с песенки»	29
Леночка	31
Про маляров, истопника и теорию относительности	35
Облака	37
Старательский вальсок	39
Городской романс	41
Заклинание	43
Больничная цыганочка	45
Красный треугольник	48
Командировочная пастораль	51
Фарс-гиньоль	53
Веселый разговор	55
Баллада о прибавочной стоимости	58
Вальс, посвященный уставу караульной службы	62
Закон природы	65
Ночной дозор	67

Колыбельный вальс	69
Предостережение	71
Песня про острова	72
Право на отдых, или Баллада о том, как я навещал своего брата, находящегося на излечении в психбольнице в Белых Столбах	73
Неоконченная песня	76
Смерть Ивана Ильича	78
Виновники найдены	79
Я принимаю участие в научном споре между доктором филологических наук, профессором Б.А. Бяликом и действительным членом Академии наук СССР С. Л. Соболевым по вопросу о том, может ли машина мыслить	81
Жуткое столетие	83
Песня про счастье	85
Композиция № 27, или Троллейбусная абстракция	86
Баллада о стариках и старухах, с которыми я вместе жил и лечился в санатории областного Совета профсоюзов в 110 км от Москвы	88
За семью заборами	90
Слава героям	92
Литераторские мостки	93
Прощание с гитарой	95
Тусарская песня	97
Цыганский романс	100

Салонный романс	102
Легенда о табаке	104
На сопках Маньчжурии	108
Снова август	112
Занялись пожары	114
Возвращение на Итаку	116
Памяти Б. Л. Пастернака	119
Памяти Живаго	121
Без названия	124
Поезд	127
Сто первый псалом	129
Мы не хуже Горация	131
Уходят друзья	133
Летят утки	135
Всё не вовремя	137
Так жили поэты	139
«Спрашивайте, мальчики...»	141
Спрашивайте, мальчики!	143
Месня про майора Чистова	145
Вальс-баллада про тещу из Иванова	147
Месня-баллада про генеральскую дочь	149
Вальс Его Величества, или Размышления о том, как пить на троих	152
Месня про несчастливых волшебников, или «Эйн, цвей, дрей!»	154

Баллада о том, как одна принцесса раз в два месяца приходила поужинать в ресторан «Динамо»	157
Канарейка	160
Абсолютно ерундовая песня	162
Баллада о сознательности	163
Желание славы	166
Сехарда с буквами	170
Баллада о том, как едва не сошел с ума директор антикварного магазина № 22 Копылов Н. А., рассказанная им самим доктору Беленькому Я. И.	172
Отрывок из радиотелевизионного репортажа о международном товарищеском матче по футболу между сборными командами Великобритании и Советского Союза	175
Счастье было так возможно	179
Переселение душ	180
Черновик эпитафии	181
Фантазия на русские темы	183
Бессмертный Кузьмин	185
Плясовая	189
Фантазия на русские темы для балалайки с оркестром и двух солистов – тенора и баритона	191
Песня про велосипед	195
Размышления о бегунах на длинные дистанции	197
Рождество	197
Клятва вождя	199

Подмосковная ночь	200
Ночной разговор в вагоне-ресторане	202
Глава, написанная в сильном подпитии и являющаяся авторским отступлением	205
Рассказ старого конармейца	209
Еще раз о черте	210
Новогодняя фантазмагория	212
Коломийцев в полный рост (Истории из жизни Клима Петровича Коломийцева – мастера цеха, кавалера многих орденов, члена бюро парткома и депутата горсовета)	214
О том, как Клим Петрович выступал на митинге в защиту мира	214
О том, как Клим Петрович сочинил научно-фантастическую колыбельную, укачивая своего племянника – Семена, Клавкиного сына	216
О том, как Клим Петрович добивался, чтоб его цеху присвоили звание «Цеха коммунистического труда», и, не добившись этого, – запил	217
Плач Дарьи Коломийцевой по поводу запоя ее супруга – Клима Петровича	219
О том, как Клим Петрович восстал против экономической помощи слаборазвитым странам	221
Избранные отрывки из выступлений Клима Петровича	224
Но образу и подобию, или Как было написано на воротах Бухенвальда: «Jedem das Seine» – «Каждому – свое»	226
История, проливающая свет на некоторые дипломатические тайны, или Про то, как все это было на самом деле	229

Нейзаж	232
О вреде чтения	233
Письмо в семнадцатый век	234
Воспоминания об Одессе	238
«А, товарищи, скажу помаленьку...»	241
«Говорят, пошло с Калиты...»	242
«Вечный транзит»	243
Рассказ, который я услышал в привокзальном шалмане	245
Несня исхода	249
«Телефон, нишкни, замолкни!..»	251
«Я в путь собирался всегда налегке...»	253
Вечерние прогулки	254
«Шел дождь, скрипело мироздание...»	264
Кумачовый вальс	266
Мы по глобусу ползаем	268
Заклинание добра и зла	270
«В этой странной стране Манекении...»	272
Бирюльки	273
Вечный транзит	274
«Какие нас ветры сюда занесли...»	277
Несенка о Диком Западе, или Письмецо в Москву, переправленное с оказией	278
После вечеринки	280

Вас вызывает Таймыр 281

Ньеса

Блошинный рынок 363

*Н*очти фантастический, но не научный роман

Вспоминая Галича 479

Галина Аграновская.
«Все будет хорошо...» 481

Николай Каретников.
«Когда обрублены канаты...» 495

Отец Александр (А.В. Мень).
Блаженный – значит счастливый 501

Андрей Сахаров.
*И*з книги «Воспоминания» 506

Майя Муравник.
В замке Монжерон 509

Наум Коржавин.
*М*ы должны были с ним встретиться 530

Виктор Некрасов.
*П*ять лет без Галича 537

Алена Галич вспоминает об отце 542

Приложение 549

Всесоюзный Ленинский
Коммунистический Союз Молодежи
Центральный Комитет
№ 01/185с 29 марта 1968 г. 549

КГБ – ЦК КПСС 553

Союз писателей РСФСР
Правление московского Секретариата
Постановление Секретариата
Протокол № 10 от 20 мая 1968 г. 554

Открытое письмо московским писателям
и кинематографистам 558

В Международный комитет прав человека 561

Примечания 563

ЧЕМ ПОЭТ ЖИВ

Его убило током в Париже; наш Саша Галич — наш московский, переделкинский, болшевский, дубненский, питерский, новосибирский — погиб в Париже. А его песни звучат в Москве, в Ленинграде, в Новосибирске, в городах и поселках, на вечеринках студентов и школьников-старшекласников, в квартирах физиков и филологов, технарей и художников. За дружескими застольями и просто в тихие вечера запускаются магнитофоны или кто-нибудь поет под гитару... Эти песни украдкой насвистывают заключенные в тюремных камерах и вполголоса напевают в лагерных бараках...

Когда мы провожали его в Шереметьевском аэропорту и он взошел по диагональной лестнице к последнему посту пограничников и помахал нам уже отрезанно, рассеянно, показалось: все!

«Аэропорт похож на крематорий», — писал московский поэт**, изведавший горечь таких прощаний. Да и сам Галич пел: «Улетают, как уходят в нети, исчезают угольком в золе...»

Писем от него я не получал. Известия приходили редкие, смутные.

Значит, и впрямь тогда в «Шереметьево» было последнее целованье — как в крематории?

Но страшная весть из Парижа вызвала острую

* Лев Зиновьевич Копелев (1912—1997) — литературовед-германист, писатель, переводчик, правозащитник. Сосед Галичей по Москве. В 1981 году во время поездки в Германию вместе с женой Р.Д. Орловой был лишен советского гражданства (возвращено президентским указом в августе 1990 года), инициатор немецкой гуманитарной помощи СССР.

** Стихотворение Лидии Чуковской «Россия уезжает из России». (Примеч. составителя.)

боль — новую, живую боль. И с нею сознание: все это время он был с нами. Был и останется.

Смертельный удар тока высветил всю его жизнь. В молнийном свете всегда резче контуры, явственней весь облик и меркнут случайные черты.

Судьба поэта Александра Галича, поэта-певца в самом точном, изначальном смысле слова, таит в себе многие особенности русских поэтических судеб разных времен; однако более всего родственны ей судьбы тех, кто был ребенком в 20-е, юношей в 30-е, кто мучительно созрел в 40-е и 50-е и трудно преодолевал самого себя в 50-е и 60-е, кто вместе с друзьями, приятелями, современниками надеялся и отчаивался, искал и не находил, а потом снова надеялся и верил уже совсем по-другому...

Но разноголосое множество жизней, которые сгущены, сплавлены в живое единство его поэзии, воплотили и не сравнимую ни с кем единственность его личной судьбы.

* * *

Был Саша Гинзбург, мальчик из интеллигентной московской семьи, — маленький лорд Фаунтлерой из Кривоколенного переулка. Он отлично учился, выразительно декламировал, сочинял стихи, играл на рояле, пел романсы и революционные песни, хорошо танцевал, был любимцем друзей и подружек...

Потом был ученик студии Станиславского, и сам Константин Сергеевич то журил, то хвалил его. А юноше мерещилась шумная слава...

Был актер молодежной труппы, исполнял роли коварных красавцев, благородных героев... В годы войны играл во фронтовых театрах, и уже не только играл, но и режиссировал, сочинял частушки, скетчи, куплеты. Бывали счастливые минуты, когда ощущал радость зрителей — фронтовиков.

После войны скоро стал известен как драматург,

сценарист. Пришли успехи, рос достаток, всяческое внешнее благополучие...

А в начале 60-х появились песни, казалось, никак не похожие ни на что в его жизни — и тогдашней и прежней. В них по-новому оживали давние заветы русской словесности: то были песни о современных Акакиях Акакиевичах, о бедных людях, об униженных и оскорбленных, но еще и о бесах и мелких бесах... В песнях Галича по-новому заговорила о себе советская быль, советская «улица безъязыкая». Он пел о работягах, зэках, солдатах, «алкашах», мелких чиновниках, гулевых шоферах, об ударнике коммунистического труда, о чекисте-пенсционере, слагал и песни о Полежаеве, Блоке, Зощенко, Пастернаке...

Слова приходили вместе с музыкой — и знакомой, и заново рождающейся. Поэт сам пел, аккомпанируя себе на гитаре. На первых порах пел только друзьям. Но уже тогда магнитофонная лента начала разносить его голос по городам и весям:

...Есть магнитофон системы «Яуза»,
Вот и все, этого достаточно...

Галича стали приглашать знакомые и незнакомые; устраивались концерты. В марте 1968 года в новосибирском Академгородке его слушали ученые разных поколений, студенты, рабочие и работники академических институтов. Он запел скорбную и гневную песню «Памяти Б. Л. Пастернака»:

Как гордимся мы, современники,
Что он умер в своей постели!

Полторы тысячи новосибирцев слушали стоя. Несколько мгновений благоговейной тишины... Потом обвалом грохот рукоплесканий, восторженные крики. Весь зал дышал небывалым единством любящего, благодарного восхищения...

— Это были самые счастливые часы моей жизни...

Сапша сказал это в тот вечер и не раз повторял, вспоминая, многие годы спустя.

Но в высших инстанциях его песни были сочтены «антисоветскими», и Галича исключили из Союза писателей, из Союза кинематографистов...

Михалковы разных степеней искренне возмущались:

— И чего ему только не доставало?! Гонорары по высшему разряду. Договора и с издательствами, и в кино, и на телевидении. За границу ездил, в капстраны — пожалуйста!.. В Париж пустили не туристом, не с делегацией, а в творческую командировку, одного: гуляй, сколько душе охота!.. Жена — красавица, и лучшие девочки по нему сохнут. Квартира шикарная!.. Одевается, как плейбой великосветский... Так какого же хрена он лезет на рожон?!

Давние знакомые и приятели, слушая песни, поражались:

— Откуда у этого потомственного интеллигента, прослывшего эстетом и снобом, этот язык, все это новое мироощущение? В каких университетах изучал он диалекты и жаргоны улиц, задворок, шалманов, забегаповок, говоры канцелярий, лагерных пересылок, общих вагонов, столичных и периферийных маленьких людей?

Но и самые взыскательные мастера литературы говорили, что этот язык Галича — шершавая поросль, вызревающая чаще на асфальте, чем на земле, — в песнях обретает живую силу поэзии. Корней Иванович Чуковский целый вечер слушал его, просил еще и еще, вопреки своим правилам строгого трезвенника сам поднес певцу коньяку, а в заключение подарил свою книгу, написав: «Ты, Моцарт, — бог, и сам того не знаешь!»

* * *

Галича, конечно, радовали успехи его пьес и фильмов. Он любил путешествовать, любил обильное, веселое застолье, знал толк и в живописи, и в гравюрах, в фарфоре, и в старой мебели, и в винах, охотно приобре-

тал красивые вещи... Но в отличие от большинства тех, кто разделял его веселые досуги, и вопреки всем, кто ему завидовал, он мучительно остро сознавал противоречия между своей жизнью и трудным бытием и тягостным бытом вокруг. Он внятно слышал голоса нищеты, горестных бедствий, торжествующего хамства, гонимой правды, добрые и злые голоса, звучавшие за стенами вокруг тех благополучных домов, в которых он бывал и жил...

Мы пол отциклюем, мы шторы повесим,
Чтоб нашему раю ни края, ни сноса,
А где-то по рельсам, по рельсам, по рельсам
Колеса, колеса, колеса, колеса...

Он слышал голоса иных миров, давние и недавние, далекие и близкие.

И слушал их всей незадубевшей совестью, всей душой поэта.

Совесть не прощала ему ни вольных грехов, ни невольных. И снова и снова одолевала его боль за то, что пережил столько друзей, родных, современников, погибших на фронтах и в несчетных Освенцимах, что не хлебал тюремной баланды, не ковырял кайлом воркутинский уголь, не доходил на золотой колымской каторге, на сибирском лесоповале, за то, что не испытал ни голода, ни нищеты...

И он пел о погибших, об уцелевших, «продрогших на века», пел о них и за них:

Облака плывут, облака,
В милый край плывут, в Колыму,
И не нужен им адвокат,
Им амнистия — ни к чему!

...Наш поезд уходит в Освенцим
Сегодня и ежедневно.

Внутренняя правда песен-монологов, достоверность песен «от первого лица» сохраняют полную силу и в тех случаях, когда «я» или «мы» вовсе чужды автору

(«Баллада о прибавочной стоимости», «Генеральская дочь» и др.) и когда поют уже не существующие люди: «Мы похоронены где-то под Нарвой». «А второй зэка — это лично я», — представляется осужденный на смерть.

...На вахте пьют с рафинадом чай,
Вертухай наш совсем сопрел.
Ему скушно, чай, несподручно, чай,
Нас в обед вести на расстрел...

* * *

Он и сам сознавал эти противоречия и несоответствие.

...Не моя это вроде боль,
Так чего ж я кидаюсь в бой?!
А вела меня в бой судьба,
Как солдата ведет труба...

Его судьбой стала его совесть. В ней постоянный, глубинный источник его песен.

Вместе с тем их полифония — поразительное разноголосие и напряженный драматизм в развитии самых разных судеб, в столкновениях характеров, острота ситуаций — воплощается в слове «искусство лицедейства».

Галич, поэт-певец, остался верным учеником Станиславского. Уроки гениального учителя — уроки перевоплощения, вживания в образ, неподдельной правдивости в «показывании чувств и отношений» — для поэзии Галича оказались значительно более плодотворными, чем для его творчества актера, постановщика, драматурга.

Брехт широко пользовался понятием «гестус»; это слово того же этимологического происхождения, что и «жест», и в известной мере сродни ему, однако значит больше. Гестус — это и выразительность поведения, движения актера на сцене, и выразительность драма-

тической структуры пьесы, отдельного эпизода, ситуации, т. е. движение мысли, но также и выразительное развитие баллады, лирического монолога, песни, даже некой личной судьбы...

Гестус поэзии Галича заключен отчасти и в его пении, в его исполнительском искусстве. Но только отчасти. Сущность его прежде всего и главным образом в языке, в «гестусе живой речи». Она то сдержанна, иронична, исполнена сокровенного достоинства, то страстна до исступления, захлебывается гневом, то нарочито сентиментальна, высокопарна, то саркастична, резка до грубости. Его речь бывает изысканно-салонной и площадно-диалектной, жаргонной, по-старинному литературной, «высокого штиля» и буднично-затрапезной, газетной, косноязычной... И каждое из таких свойств языка «работает» в его песнях, работает непринужденно и словно бы своевольно, однако на поверку всегда целесообразно — так же как и мелодия, ритмический строй, каждый мгновенный переход — перепад ритма или интонации:

Ну, писал там какой-то Бабель,
И не стало его — делов!

«Не судите!»

И нет мерила,

Все дозволено, кроме слов.

Ну, какая-то там Марина

Захлебнулась в петле — делов!

«Не судите!»

Малюйте зори,

Забивайте своих козлов.

Ну, какой-то там «чайник» в зоне

Все о Федре кричал — делов!

— Я не увижу знаменитой «Федры»
В старинном, многоярусном театре!..

Пребывая в туманной черноте,
Обращаюсь с мольбой к историку:

От великой своей учености
Удели мне хотя бы толику!

В этой песне («Без названия» из цикла «Литераторские мостки») чередуются, перекликаются, контрапунктно сочетаются: евангельская проповедь («Не судите!»), хамские огрызания («делов!»), трагедийная патетика строк Мандельштама («Я не увижу знаменитой «Федры»). И голос автора звучит то в сердитой, простецки разговорной речи («Малюйте... забивайте козлов... опускайте пятаки...»), то в печальных или иронических размышлениях, а в конце, после взволнованного «внутреннего диалога», взрывается гордым гневом:

...«Не судите, да не судимы...»
Так вот, значит, и не судить?!
Так вот, значит, и спать спокойно,
Опускать пятаки в метро?!
А судить и рядить — на кой нам?!
«Нас не трогай, и мы не тро...»
Нет! Презренна по самой сути
Эта формула бытия!
Те, кто выбраны, те и судьи?!
Я не выбран.
Но я — судья!

На малом пространстве песни умещаются несколько разных речевых уровней, разных стилей, разных словарей. Они сплетаются и переплетаются совершенно естественно — искусно, но безыскусственно скрепленные внутренней логикой песни. Сплетения, казалось бы, несовместимых словосочетаний стали поэзией.

* * *

Во второй половине века в нашей стране возродилось обновленное искусство поэтов-певцов, искусство кобзарей, бардов, шансонье... Этот древний род по-

эзии, по сути, никогда не умирал. Его мастерами были Франк Ведекинд, Джо Хилл, Бертольт Брехт.

И совсем недавно Боб Дайлэн, Вольф Бирман, Аллен Джинзберг и многие французские, американские, немецкие и другие поэты-певцы из богемных обиталищ, из трактиров и с улиц пришли на концертные эстрады, на экраны телевизоров.

У нас песни Булата Окуджавы, Александра Галича, Юлия Кима, Владимира Высоцкого и других новых бардов возникали в годы «оттепели» сперва как стихийное, полусознанное и все же прямое сопротивление казенному, триумфально-помпезному лжеискусству смотров, фестивалей, мнимонародных ансамблей.

В этом именитым певцам предшествовала и сопутствовала самодеятельность геологов, туристов, студенческих бригад целинников. Подвижные молодые содружества, удаляясь от державной, «индустриально» стандартизирующей цивилизации, от унылых шаблонов пропаганды и всяческой плановой «культработы», нередко становились очагами свободы-воли. Они поют в пути и в досуние часы — как всегда в подобных обстоятельствах поют на Руси и на Украине, да, пожалуй, и во всех иных краях нашей страны. И чаще всего именно гитара сопровождает таких певцов.

Позднее стали входить в быт магнитофоны, которые разносят голоса поэтов-бардов из дома в дом, из города в город.

Романтический лиризм Окуджавы, карнавальное разноголосие Кима, гротескная экспрессивность и суровая патетика Высоцкого — это разные миры, разные поэтические галактики.

Мир Галича иногда соприкасается, иногда «пересекается» то с одним, то с другим из них. Но редкие, случайные и всегда относительные сближения только оттеняют абсолютное своеобразие его драматической поэзии: его песен-трагедий и песен-трагикомедий, песен-мелодрам, песен-фарсов. В некоторых соблюдены

классические три единства. В «Балладе о принцессе», «Ночном дозоре», «Цыганской песне» и др. действие развивается в течение считанных часов, в одном и том же месте, на единой сюжетной основе. Другие драматические песни повествуют о смене эпох или о долгих жизненных путях («Песня про генеральскую дочь», «Петербургский романс», «Веселый разговор», «Фарс-гиньоль» и др.), разворачиваются в цикл пьес с общим героем (истории «Из жизни Клима Петровича»). В духе современной «послекафковской» драматургии одну песню-спектакль образует параллельное движение двух разных, внешне изолированных, далеких друг другу сюжетных течений («Аве Мария», «Желание славы», «Песня о бессмертном Кузьмине»). «Песня о вечном огне» построена даже из нескольких самостоятельных тематических конструкций. Траурный марш, надгробное рыдание вначале, потом плутовская повесть об урках-разведчиках, скорбное напоминание об Освенциме, печально-ироническое сопоставление монтекассинского поля битвы и познанской ярмарки, такое же сопоставление остатков лагерей «Над Камой, над Обью» с коленопреклоненным премьером (намек на Брандта в Варшаве) и лирический монолог автора, который, перебивая себя, напоминает, сравнивает, горестно причитает, зовет «встать, чтобы драться, встать, чтобы сметь», и завершает все, как бы возвращаясь к началу, реквиемно: «Рвется и плачет сердце мое!»

* * *

«Веселие Руси есть пити!» И старинному зеленому вину, и нынешним водкам присущи такие значения, которые, пожалуй, не ведомы в иных краях ни бражникам, ни проповедникам трезвости.

Пьянство, разумеется, зло для всех и везде, на всех широтах и долготах.

Но у нас оно, кроме всяческой вредности, наделено и некой доброй силой. Водка при известных обстоя-

тельстввах оказывается еще и носителем... свободы и даже равенства и братства. Так было уже в давние поры, так есть и пребудет, вероятно, еще долго. До тех пор, пока мы будем жить в мире всевластной несвободы, жестокого неравенства и окаянного отчуждения кровных братьев и недавних побратимов.

Надеюсь, никто здравомыслящий не заподозрит меня в желании оправдывать или даже прославлять пьянство. Но не будем ханжами! «Кто пьян да умен — два угодя в нем». А если еще и не только умен?! Тени пенных бокалов, штофов, заветных бутылок то и дело возникают над страницами истории нашей словесности.

Немало пьют литераторы и в других краях. Гашек, Ремарк, Хемингуэй... Если называть только самых знаменитых, получится длиннейший ряд.

Но там, на Западе, хмель для большинства — это один из путей отчуждения, это дурман, заполняющий тоскливые досуги одиночки, растерявшегося в суете и копошении таких же одиноких, пресыщенных всем, в том числе и привычной постылой свободой.

На Руси пили и пьют с горя и с радости, с устатку и на отдыхе, по привычке и нечаянно. И пьют чаще всего сообща, артелью, компанией. Даже отпетые алкаши норовят, чтобы не меньше троих. А во хмелю обретают неведомую трезвенникам свободу-волю, небывалое равенство и доброе братство. Так пили славянофилы и западники, ретрограды и прогрессисты, грамотеи и невежды, поэты и художники, актеры и бурлаки; так пили Полежаев, Огарев, Аполлон Григорьев, Николай Успенский, Мусоргский, Куприн, Блок, Есенин, Твардовский, Ольга Берггольц, Михаил Светлов... О живых умолчим.

Так пил Галич. Он пил с героями своих будущих песен; пил как равный, свой, говоривший с ними на их языках. И поэтому так свободно, так естественно пел о них. Иногда иронически, насмешливо, сердито, но всегда с неподдельной любовью. Он мог бы повторить за

Ольгу Берггольц: «Как мне праведники надоели, как я наших грешников люблю!»

И пел он ведь не только о том, как соображают на троих, как принимают «по первой», как «перекладывают водку пивком», закусывают селедкой или косжалвой, а то и вовсе «под конфетку» или «под сукнецо»... Нет, он пел их словами и своими словами об их печалях, бедах, радостях, шутках, о жизнях, обо всем, о чем они говорят с хмельной и потому беспредельной откровенностью.

И правда его песен обретала новую, небывалую, безудержную свободу.

* * *

Больная совесть гражданина и высокое искусство лицедейства — хмельная вольность и трезвая свободная правда — живые источники поэзии Александра Галича.

Его первые песни родились внезапно, неожиданно для всех знавших его, и даже для него самого, в начале шестидесятых. А потом они полились неудержимым, широким потоком. И до конца его питали все те же родники.

Галич погиб, не допев; упал на середине пути. Умер на чужбине чужой смертью...

Но здесь, на родине, он живет. В своих песнях, своей жизнью.

1978

Статья впервые напечатана
в журнале «Континент», 1978, № 16.

АВТОБИОГРАФИЯ*

Я, Гинзбург Александр Аркадьевич (литературный псевдоним — Александр Галич), родился 19 октября 1918 г. в Днепропетровске, в семье служащих. Сразу же после моего рождения семья переехала в Севастополь, а в 1923 г. — в Москву. В 1926 г. я поступил в среднюю школу БОНО-24. В 1935 г., по окончании девяти классов средней школы, я был принят в Оперно-драматическую студию К.С. Станиславского, на драматическое отделение. Студия эта была приравнена к высшему учебному заведению, но я диплома не получил, так как в 1940 г., без выпускных экзаменов, перешел в Московский театр-студию, который открылся за несколько месяцев до Отечественной войны спектаклем «Город на заре». Во время войны (из-за тяжелой врожденной болезни я был признан негодным к несению военной службы) я был одним из организаторов, участников и руководителей Комсомольского фронтового театра. После войны окончательно перешел на литературную работу, сначала как драматург, а потом и как кинодраматург. Мои пьесы — «Вас вызывает Таймыр», «За час до рассвета», «Пароход зовут «Орленок», «Много ли человеку надо» и др. — поставлены большим количеством те-

* Александр Галич не писал автобиографии для потомков, но был вынужден изложить главные факты своей жизни для ОВИРа перед вынужденной эмиграцией. (Составитель.)

атров, и в Советском Союзе, и за рубежом. По моим сценариям поставлены фильмы — «Верные друзья», «На семи ветрах», «Государственный преступник», «Дайте жалобную книгу» и др. В совместной работе с кинематографистами Франции я был автором фильма «Третья молодость», а с кинематографистами Болгарии — «Бегущая по волнам».

С 1955 г. я был членом Союза советских писателей (исключен в 1971 г.), а с 1958 г. — членом Союза кинематографистов (исключен в 1972 г.).

В настоящее время не работаю — инвалид второй группы (с апреля 1972 г.).

В 1945 г. женился на Шекрот (Прохоровой) Ангелине Николаевне, с которой состою в браке по сей день.

Детей у нас нет.

*Александр Гинзбург (Галич)
2 мая 1974 г.*

Когда я вернусь

Когда я вернусь...

Ты не смейся — когда я вернусь,

Когда пробегу, не касаясь земли,

по февральскому снегу,

По еле заметному следу — к теплу и ночлегу —

И, вздрогнув от счастья, на птичий твой зов

оглянусь —

Когда я вернусь.

О, когда я вернусь!..

Послушай, послушай, не смейся,

Когда я вернусь

И прямо с вокзала, разделавшись круто

с таможенной,

И прямо с вокзала — в крошечный,
ничтожный, раёшный —
Ворвусь в этот город, которым казнюсь
и клянусь,
Когда я вернусь.
О, когда я вернусь!..

Когда я вернусь,

Я пойду в тот единственный дом,
Где с куполом синим не властно
соперничать небо,
И ладана запах, как запах приютского хлеба,
Ударит в меня и заплещется в сердце моём —
Когда я вернусь.
О, когда я вернусь!

Когда я вернусь,
Засвистят в феврале соловьи
Тот старый мотив — тот давнишний,
забытый, запетый.
И я упаду, побеждённый своею победой,
И ткнусь головою, как в пристань,
в колени твои!

Когда я вернусь...

А когда я вернусь?!

<Декабрь 1973>

«Из опыта первой эмиграции мы знаем, что одной из самых распространённых болезней эмиграции... является болезнь — ностальгия. Вот я и решил, чтобы не болеть этой болезнью потом, — как делали с нами с детства — когда заболел корью

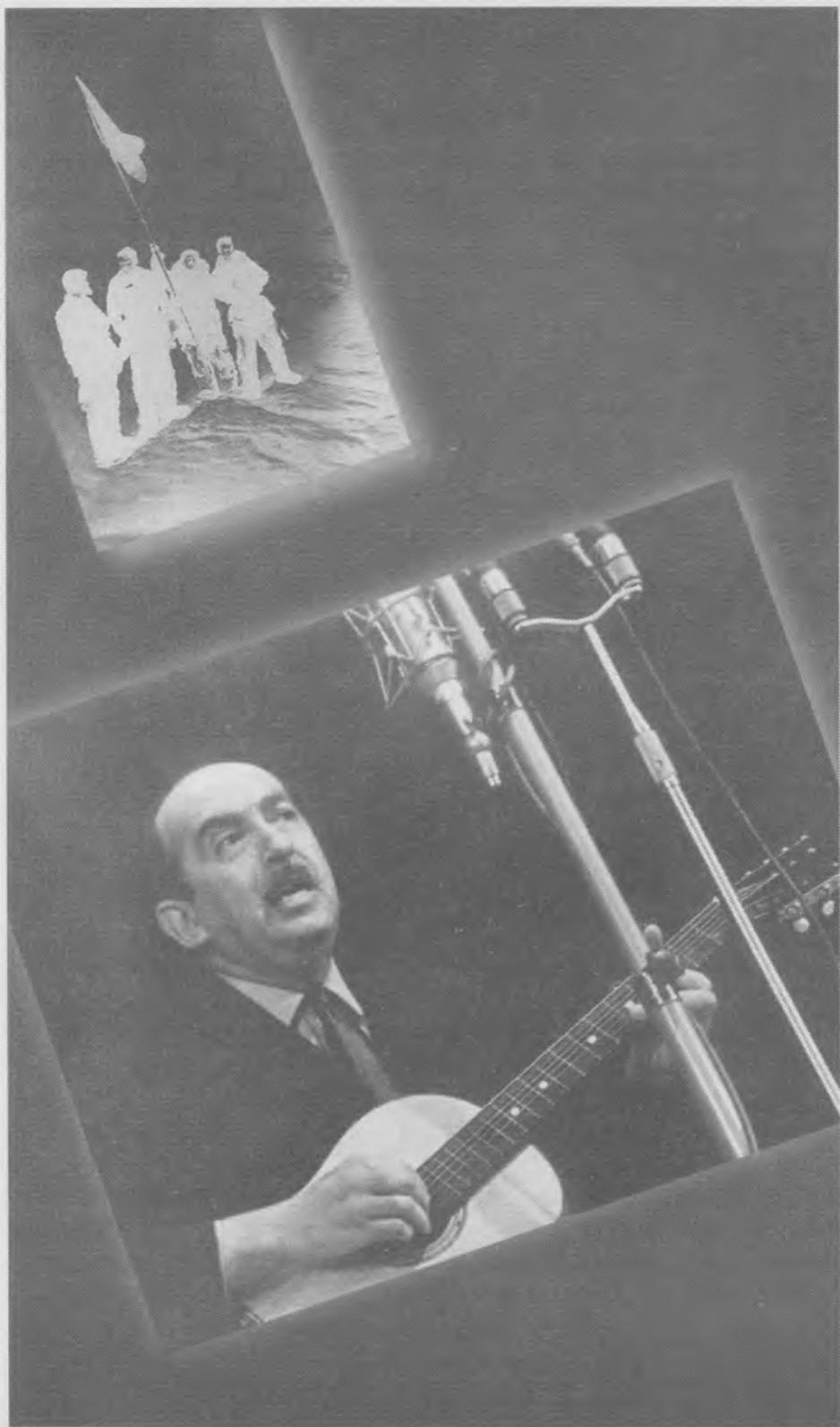
какой-нибудь сосед, то нас туда водили, чтобы мы тоже заболели корью... Я решил «отнотальгироваться» в Москве. Еще сидя у себя дома, в своей квартире, я написал целый ряд песен, посвященных этой теме, чтобы... вот здесь уже... этой темой не заниматься...»

*(Из передачи на радио «Свобода»
от 10 июля 1974 года)*



«Варановсь
все дело
с песенки»





Апрельской ночью Леночка

Стояла на посту.
Красоточка-шатеночка
Стояла на посту.
Прекрасная и гордая,
Заметна за версту,
У выезда из города
Стояла на посту.

Судьба милиционерская —
Ругайся цельный день,
Хоть скромная, хоть дерзкая —
Ругайся цельный день.
Гулять бы ей с подругами
И нюхать бы сирень!
А надо — с шоферами
Ругаться цельный день.

Итак, стояла Леночка,
Милиции сержант,
Останкинская девочка —
Милиции сержант.
Иной снимает пеночки,
Любому свой талант,
А Леночка, а Леночка —
Милиции сержант!

* Здесь и далее цифры обозначают соответствующие примечания, помещенные в конце книги.

Как вдруг она заметила:
Огни летят, огни,
В Москву из Шереметьева
Огни летят, огни.
Ревут сирены зычные,
Прохожий — ни-ни-ни!
На Лену заграничные
Огни летят, огни!

Даёт отмашку Леночка,
А ручка не дрожит,
Чуть-чуть дрожит коленочка,
А ручка не дрожит.
Машины, чай, не в шашечку,
Колеса — вжик да вжик!
Даёт она отмашечку,
А ручка не дрожит.

Как вдруг машина главная
Свой замедляет ход,
Хоть и была исправная,
Но замедляет ход.
Вокруг охрана стеночкой
Из КГБ, но вот
Машина рядом с Леночкой
Свой замедляет ход.

А в той машине — писанный
Красавец-эффиоп,
Глядит на Лену пристально
Красавец-эффиоп.
И, встав с подушки с кремовой,
Не промахнуться чтоб,
Бросает хризантему ей
Красавец-эффиоп!

А утром мчится нарочный
ЦК КПСС
В мотоциклетке марочной
ЦК КПСС.

Он машет Лене шляпою,
Спешит наперерез:
— Пожалте, Л. Потапова,
В ЦК КПСС!

А там, на Старой площади, —
Тот самый эфиоп.
Он принимает почести,
Тот самый эфиоп.
Он чинно благодарствует
И трёт ладонью лоб,
Поскольку званья царского
Тот самый эфиоп!

Уж свита водки выпила,
А он глядит на дверь.
Сидит с моделью вымпела
И всё глядит на дверь!
Все потчуют союзника,
А он сопит, как зверь...
Но тут раздалась музыка
И отворилась дверь!..

Вся в тюле и в панбархате
В зал Леночка вошла.
Все прямо так и ахнули,
Когда она вошла!
И сам красавец царственный,
Ахмет Али-Паша
Воскликнул:
— Вот так здравствуйте! —
Когда она вошла.

И вскоре нашу Леночку
Узнал весь белый свет,
Останкинскую девочку
Узнал весь белый свет —

Когда, покончив с папою,
Стал шахом принц Ахмет,
Шахию Л. Потапову
Узнал весь белый свет!

<1962>

Про маляров, истопника и теорию относительности

...Чуиствуем с напарником: ну и ну!

Ноги прямо ватные, всё в дыму.
Чуиствуем — нуждаемся в отдыхе,
Чтой-то нехорошее в воздухе.

Взяли «Жигулёвского» и «Дубняка»,
Третьим пригласили истопника,
Приняли, добавили ещё раза —
Тут нам истопник и открыл глаза

На ужасную историю
Про Москву и про Париж,
Как наши физики проспорили
Ихним физикам пари,
Ихним физикам пари!

Всё теперь на шарике вкось и вскочь,
Шиворот-навыворот, набекрень,
И что мы с вами думаем день — ночь!
А что мы с вами думаем ночь — день!

И рубают финики лопари,
А в Сахаре снегу — невпроворот!
Это гады-физики на пари
Раскрутили шарик наоборот.

И там, где полюс был, — там тропики,
А где Нью-Йорк — Нахичевань,

А что мы люди, а не бобики,
Им на это начихать,
Им на это начихать!

Рассказал нам всё это истопник,
Вижу — мой напарник ну прямо сник!
Раз такое дело — гори огнём! —
Больше мы малярничать не пойдём!

Взяли в поликлинике бюллетень,
Нам башку работою не морочь!
И что ж тут за работа, если ночью — день,
А потом обратно не день, а ночь?!

И при всей квалификации
Тут возможен перекося:
Это всё ж таки радиация,
А не просто купорос,
А не просто купорос!

Пятую неделю я хожу больной,
Пятую неделю я не сплю с женой.
Тоже и напарник мой плачется:
Дескать, он отравленный начисто.

И лечусь «Столичною» лично я,
Чтобы мне с ума не стронуться:
Истопник сказал, что «Столичная»
Очень хороша от стронция!

И то я верю, а то не верится,
Что минует та беда...
А шарик вертится и вертится,
И всё время — не туда,
И всё время — не туда!

<1962>

Облака плывут, облака,

Не спеша плывут, как в кино.
А я цыплёнка ем табака,
Я коньячку принял полкило.

Облака плывут в Абакан,
Не спеша плывут облака...
Им тепло небось, облакам,
А я продрог насквозь, на века!

Я подковой вмёрз в санный след,
В лед, что я кайлом ковырял!
Ведь недаром я двадцать лет
Протрубил по тем лагерям.

До сих пор в глазах — снега наст!
До сих пор в ушах — шмона гам!..
Эй, подайте ж мне ананас
И коньячку ещё двести грамм!

Облака плывут, облака,
В милый край плывут, в Колыму,
И не нужен им адвокат,
Им амнистия — ни к чему.

Я и сам живу — первый сорт!
Двадцать лет, как день, разменял!
Я в пивной сижу, словно лорд,
И даже зубы есть у меня!

Облака плывут на восход,
Им ни пенсии, ни хлопот...
А мне четвёртого — перевод,
И двадцать третьего — перевод.

И по этим дням, как и я,
Полстраны сидит в кабаках!
И нашей памятью в те края
Облака плывут, облака.

И нашей памятью в те края
Облака плывут, облака...

<1962>

Старательский вальсок

Мы давно называемся взрослыми

И не платим мальчишеству дань.
И за кладом на сказочном острове
Не стремимся мы в дальнюю даль!
Ни в пустыню, ни к полюсу холода,
Ни на катере — к этакой матери...
Но поскольку молчание — золото,
То и мы, безусловно, старатели.

Промолчи — попадѣшь в богачи,
Промолчи, промолчи, промолчи!

И не веря ни сердцу, ни разуму,
Для надёжности спрятав глаза,
Сколько раз мы молчали по-разному,
Но не против, конечно, а за!
Где теперь крикуны и печальники?
Отшумели и сгнули смолода...
А молчалъники вышли в начальники,
Потому что молчание — золото.

Промолчи — попадѣшь в первачи,
Промолчи, промолчи, промолчи!

И теперь, когда стали мы первыми,
Нас заела речей маята,
Но под всеми словесными перлами
Проступает — пятном — немота.
Пусть другие кричат от отчаянья,
От обиды, от боли, от голода!

Мы-то знаем — доходней молчание,
Потому что молчание — золото!

Вот как просто попасть в богачи,
Вот как просто попасть в первачи,
Вот как просто попасть в палачи —
Промолчи, промолчи, промолчи!

<1963>

Городской романс^[3]

... Она вещи собрала, сказала тоненько:

«А что ты Тоньку полюбил, так Бог с ней,
с Тонькою!

Тебя ж не Тонька завлекла губами мокрыми,
А что у папи у её топтун под окнами.
А что у папи у её дача в Павшине,
А что у папи холуи с секретаршами,
А что у папи у её пайки цековские
И по праздникам кино с Целиковскою!
А что Тонька-то твоя сильно страшная —
Ты не слушай меня, я вчерашняя!
И с доскою будешь спать со стиральнойю
За машину за его персональную...

Вот чего ты захотел и знаешь сам,
Знаешь сам, да стесняешься,
Про любовь твердишь, про доверие,
Про высокие про материи...
А в глазах-то у тебя дача в Павшине,
Холуи да топтуны с секретаршами,
И как вы смотрите кино всей семейкою,
И как счастье на губах — карамелькою!..»

Я живу теперь в дому — чаша полная,
Даже брюки у меня — и те на «молнии»,
А вино у нас в дому — как из кладезя,
А сортир у нас в дому — восемь на десять...
А папаша приезжает сам к полуночи,

Топтуны да холуи тут все по струночке!
Я папаше подношу двести граммчиков,
Сообщаю анекдот про абрамчиков!

А как спать ложусь в кровать с дурой с Тонькою,
Вспоминаю той, другой, голос тоненький.
Ух, характер у неё — прямо бешеный,
Я звоню ей, а она трубку вешает...

Отвези ж ты меня, шеф, в Останкино,
В Останкино, где «Титан» кино,
Там работает она билетёршею,
На дверях стоит вся замёрзшая.

Вся замёрзшая, вся продрогшая,
Но любовь свою превозмогшая!
Вся иззябшая, вся простывшая,
Но не предавшая и не простившая!

<1962>

Заклинание

В. Фриду и Ю. Дунскому

Помилуй мя, Господи, помилуй мя!

Получил персональную пенсию,
Заглянул на часок в «Поплавок»,
Там ракушками пахнет и плесенью,
И в разводах мочи потолок.

И шашлык отрыгается свечкою,
И сулгуни воняет треской...
И сидеть ему лучше б над речкою,
Чем над этой пучиной морской.

Ой, ты море, море, море, море Чёрное,
Ты какое-то верчѐное-кручѐное!
Ты ведѐшь себя не по правилам,
То ты Каином, а то ты Авелем!

Помилуй мя, Господи, помилуй мя!

И по пляжу, где б под вечер по двое,
Брѐл один он, задумчив и хмур.
Это Чёрное, вздорное, подлое,
Позволяет себе чересчур!

Волны катятся, чѐртовы бестии,
Не желают режим понимать!
Если б не был он нынче на пенсии,
Показал бы им кузькину мать!

Ой, ты море, море, море, море Чёрное,
Не подследственное, жаль, не заключѐнное!

На Инту б тебя свёл за дело я,
Ты б из чёрного стало белое!

Помилуй мя, Господи, помилуй мя!

И в гостинице странную, страшную
Намечтал он спросонья мечту —
Будто Чёрное море под стражею
По этапу пригнали в Инту.

И блаженней блаженного во Христе,
Раскурив сигаретку «Маяк»,
Он глядит, как ребяташки-вохровцы
Загоняют стихию в барак!

Ой, ты море, море, море, море Чёрное,
Ты теперь мне по закону поручённое!
А мы обучены, бля, этой химии —
Обращению со стихиями!

Помилуй мя, Господи, помилуй мя!

И лежал он с блаженной улыбкою,
Даже скулы улыбка свела...
Но, должно быть, последней уликою
Та улыбка для смерти была.

И не встал он ни утром, ни к вечеру,
Коридорный ходил за врачом,
Коридорная Божию свечечку
Над счастливым зажгла палачом...

И шумело море, море, море Чёрное,
Море вольное, никем не приручённое,
И вело себя не по правилам —
И было Каином, и было Авелем!

Помилуй мя, Господи, в последний раз!

<1963?>

Больничная цыганочка^[4]

А начальник всё спьяну о Сталине,

Всё хватает баранку рукой...
А потом нас, конечно, доставили
Санитары в приёмный покой.
Сняли брюки с меня и кожаночку,
Всё моё покидали в мешок
И прислали Марусю-хожалочку,
Чтоб дала мне живой порошок.

А я твердил, что я здоров,
А если ж печки-лавочки,
То в этом лучшем из миров
Мне всё давно до лампочки,
Мне всё равно, мне всё давно
До лампочки!

Вот лежу я на койке, как чайничек,
Злая смерть надо мною кружит,
А начальничек мой, а начальничек,
Он в отдельной палате лежит!
Ему нянечка шторку повесила,
Создают персональный уют!
Водят к гаду еврея-профессора,
Передачи из дома дают.

А там икра, а там вино,
И сыр, и печки-лавочки!
А мне — больничное говно,
Хоть это и до лампочки!

Хоть всё равно мне всё давно
До лампочки!

Я с обеда для сестрина мальчика
Граммов сто отолью киселю:
У меня ж ни кола, ни калачика —
Я с начальством харчи не делю!

Я возил его, падлу, на «Чаечке»,
И к Маргошке возил, и в Фили...
Ой вы добрые люди, начальнички,
Соль и слава родимой земли!

Не то он зав, не то он зам,
Не то он печки-лавочки!
А что мне зам?! Я сам с усам,
И мне чины до лампочки!
Мне все чины — до ветчины,
До лампочки!

Надеваю я утром пижамочку,
Выхожу покурить в туалет
И встречаю Марусю-хожалочку:
— Сколько зим, — говорю, — сколько лет!
Доложи, — говорю, — обстановочку!
А она отвечает не в такт:
— Твой начальничек дал упаковочку —
У него получился инфаркт!

Во всех больничных корпусах
И шум, и печки-лавочки...
А я стою — темно в глазах,
И как-то всё до лампочки!
И как-то вдруг мне всё вокруг
До лампочки...

Да, конечно, гражданка — гражданочкой,
Но когда воевали, братва,
Мы ж с ним вместе под этой кожаночкой
Ночевали не раз и не два.

И тянули спиртягу из чайника,
Под обстрел загорали в пути...
Нет, ребята, такого начальника
Мне, наверно, уже не найти!

Не слезы это, а капель...
И всё, и печки-лавочки!
И мне теперь, мне всё теперь
Фактически до лампочки...
Мне всё теперь, мне всё теперь
До лампочки!

<1963?>

И Тамарка Шестопал, и Ванька Дёрганов,
И ещё тот референт, что из органов,

Тут как тут,
Ну, прямо — тут как тут!

В общем, ладно, прихожу на собрание.
А дело было, как сейчас помню, первого.
Я, конечно, бюллетень взял заранее
И бумажку из диспансера нервного.

А Парамонова, гляжу, в новом шарфике,
А как увидела меня — вся стала красная.
У них первый был вопрос — «Свободу Африке!»,
А потом уж про меня — в части «Разное».

Ну, как про Гану — все в буфет за сардельками,
Я и сам бы взял кило, да плохо с деньгами,
А как вызвали меня, я сник от робости,
А из зала мне кричат: «Давай подробности!»

Все, как есть,
Ну, прямо — все, как ёсть!

Ой, ну что ж тут говорить, что ж тут
спрашивать?

Вот стою я перед вами, словно голенький.
Да, я с племянницей гулял с тёти-Пашиной,
И в «Пекин» её водил, и в Сокольники.

И в моральном, говорю, моём облике
Есть растленное влияние Запада.
Но живём ведь, говорю, не на облаке,
Это ж только, говорю, соль без запаха!

И на жалость я их брал, и испытывал,
И бумажку, что я псих, им зачитывал.
Ну, поздравили меня с воскресением:
Залепили строгача с занесением!

Ой, ой, ой,
Ну, прямо — ой, ой, ой...

Взял я тут цветов букет покрасивее,
Стал к подъезду номер семь, для начальников.
А Парамонова, как вышла, — стала синяя,
Села в «Волгу» без меня и отчала!

И тогда прямым путём в раздевалку я
И тёте Паше говорю: мол, буду вечером.
А она мне говорит: «С аморалкою
Нам, товарищ дорогой, делать нечего.

И племянница моя, Нина Саввовна,
Она думает как раз то же самое,
Она всю свою морковь нынче продала
И домой по месту жительства отбыла».

Вот те на,
Ну, прямо — вот те на!

Я иду тогда в райком, шлю записочку:
Мол, прошу принять, по личному делу я.
А у Грошевой как раз моя кисочка,
Как увидела меня — вся стала белая!

И сидим мы у стола с нею рядышком,
И с улыбкой говорит товарищ Грошева:
— Схлопотал он строгача — ну и ладушки,
Помиритесь вы теперь по-хорошему!

И пошли мы с ней вдвоём, как по облаку,
И пришли мы с ней в «Пекин» рука об руку,
Она выпила «Дюрсо», а я «Перцовую»
За советскую семью образцовую!

Вот и всё!

Командировочная пастораль

То ли шлюха ты, то ли странница,

Вроде хочется, только колетса,
Что-то сбудетса, что-то станетса,
Чем душа твоя успокоитса?
А то и станетса, что подкинетса,
Будут волосы все распатланы.
Общежитие да гостиница —
Вот дворцы твои Клеопатровы.

Сядь, не бойся, выпьем водочки,
Чай, живая, не покойница!
Коньячок? Четыре звёздочки?
Коньячок — он тоже колетса...

Гитарист пошёл тренди-брендями,
Саксофон хрипит, как удувленный,
Всё, что думалось, стало бреднями,
Обманул Христос новоявленный!
Спой, гитара, нам про страдания,
Про глаза нам спой и про пальцы,
Будто есть страна Пасторалия,
Будто мы с тобой пасторальцы.

Под столом нарежем салъца,
И плевать на всех на тутошних.
Балычок? Прости, кусаетса...
Никаких не хватит суточных.

Расскажи ж ты мне, белка белая,
Чем ты, глупая, озабочена,
Что ты делала, где ты бегала?

Отчего в глазах червоточина?
Туфли-лодочки на полу-то чьи?
Чья на креслице юбка чёрная?
Наш роман с тобой до полуночи:
Курва здешняя коридорная!

Влипнешь в данной ситуации,
И пыли потом, как конница.
Мне — к семи, тебе — к двенадцати,
Очень рад был познакомиться!

До свидания, до свидания,
Будьте счастливы и так далее...
А хотелось нам, чтоб страдания,
А хотелось, чтоб Пасторалия!
Но, видно, здорово мы усталые,
От анкет у нас в кляксах пальцы!
Мы живём в стране Постоялии —
Называемся — постояльцы...

<1963?>

...Все засранцы, все нахлебники —

Жрут и пьют, и воду месят,
На одни, считай, учебники
Чуть не рупь уходит в месяц!
Люська-дура заневестила,
Никакого с нею слада!
А у папеньки-то шестеро,
Обо всех подумать надо —

Надо и того купить, и сего купить,
А на копеечки-то вовсе воду пить,
А сырку к чайку или ливерной —
Тут двугривенный, там двугривенный,
А где ж их взять?!

Люське-дурочке всё хаханьки,
Всё малина ей, калина,
А Никитушка-то махонький
Чуть не на крик от колита!
Подтянул папаня помочи,
И, с улыбкой незавидной,
Попросил папаня помощи
В кассе помощи взаимной.

Чтоб и того купить, и сего купить,
А на копеечки-то вовсе воду пить,
А сырку к чайку или ливерной —
Тут двугривенный, там двугривенный,
А где ж их взять?!

Попросил папаня слёзно и
Ждёт решенья, нет покоя...
Совещанье шло серьёзное,
И решение такое:
Подмогнула б тебе касса, но
Кажный рупь — догнать Америку!
Посему тебе отказано,
Но сочувствуем, поелику

Надо ж и того купить, и сего купить,
А на копеечки-то вовсе воду пить,
А сырку к чайку или ливерной —
Тут двугривенный, там двугривенный,
А где ж их взять?!

Вот он запил, как залеченный,
Два разá бил морду Люське,
А в субботу поздно вечером
Он повесился на люстре...

Ой, не надо «Скорой помощи»!
Нам бы медленную помощь! —
«Скорый» врач обрезал помочи
И сказал, что помер в полночь...
Помер смертью незаметною,
Огорчения не вызвал,
Лишь записочку предсмертную
Положил на телевизор —

Что, мол, хотел он и того купить,
и сего купить,
А на копеечки-то вовсе воду пить!
А сырку к чайку или ливерной —
Тут двугривенный, там двугривенный,
А где ж их взять?!

Весёлый разговор

А ей мама ну во всём потакала,

Красной Шапочкой звала, пташкой вольной,
Ей какава по утрам два стакана,
А сама чайку попьёт — и довольню.

А как маму схоронили в июле,
В доме денег — ни гроша, ни бумаги,
Но нашлись на свете добрые люди:
Обучили на кассиршу в продмаге.

И сидит она в этой кассе,
Как на месте публичной казни.

А касса щёлкает, касса щёлкает,
Скушал Шапochку Серый Волк!
И трясёт она чёрной чёлкою,
А касса щёлк, щёлк, щёлк...

Ах, весёлый разговор!

Начал Званцев ей, завмаг, делать пассы:
«Интересно бы узнать, что за птица?»
А она ему в ответ из-за кассы:
Дожидаю, мол, прекрасного принца.

Всех отшила, одного не отшила,
Называла его милым Алёшей,
Был он техником по счётным машинам,
Хоть и лысый, и еврей, но хороший.

А тут как раз война, а он в запасе...
Прокричала ночь — и снова в кассе.

А касса щёлкает, касса щёлкает,
А под Щёлковым — в щепки полк!
И трясёт она пегой чёлкою,
А касса щёлк, щёлк, щёлк...

Ах, весёлый разговор!

Как случилось — ей вчера ж было двадцать,
А уж доченьке девятый годочек,
И опять к ней подъезжать начал Званцев,
А она про то и слушать не хочет.

Ну и стукнул он, со зла, не иначе,
Сам не рад, да не пойдёшь на попятный:
Обнаружили её в недостатке,
Привлекли её по сто тридцать пятой.

А на этап пошла по указу.
А там амнистия — и снова в кассу.

А касса щёлкает, касса щёлкает,
Засекается ваш крючок!
И трясёт она рыжей чёлкою,
А касса щёлк, щёлк, щёлк...

Ах, весёлый разговор!

Уж любила она дочку, растила,
Оглянуться не успела — той двадцать!
Ой, зачем она в продмаг зачастила,
Ой, зачем ей улыбается Званцев?!

А как свадебку сыграли в июле,
Было шумно на Песчаной на нашей.
Говорят в парадных добрые люди,
Что зовёт её, мол, Званцев «мамашей».

И сидит она в своей кассе,
А у ней внучок в первом классе.

А касса щёлкает, касса щёлкает,
Не копеечкам — жизни счёт!
И трясёт она белой чёлкою,
А касса: щёлк, щёлк, щёлк...

Ах, веселый разговор!

<1963?>

Баллада о прибавочной стоимости^[5]

...Призрак бродит по Европе,
призрак коммунизма...

Я научность марксистскую пестовал,
[REDACTED]

Даже точками в строчке не брезговал.
Запятым по пятам, а не дуриком
Изучал «Капитал» с «Анти-Дюрингом».
Не стесняясь мужским своим признаком,
Наряжался на праздники «Призраком»,
И повсюду, где устно, где письменно,
Утверждал я, что всё это истинно.

От сих до сих, от сих до сих, от сих до сих,
И пусть я псих, а кто не псих? А вы не псих?

Но недавно случилась история —
Я купил радиолу «Эстония»,
И в свободный часок на полчаса
Я прилёт позабавиться классикой.
Ну, гремела та самая опера,
Где Кармен свово бросила опера,
А когда открывал Эскамилио,
Вдруг своё я услышал фамилиё.

Ну, чёрт-те что, ну, чёрт-те что, ну, чёрт-те что!
Кому смешно, мне не смешно. А вам смешно?

Гражданин, мол, такой-то и далее —
Померла у вас тётка в Фингалии,
И по делу той тёти Калерии
Ожидают вас в Инюрколлегии.

Ох, и вскинулся я прямо на дыбы:
Ох, не надо бы вслух, ох, не надо бы!
Больно тема какая-то склизкая,
Не марксистская, ох, не марксистская!

Ну прямо срам, ну прямо срам, ну, стыд и срам!
А я ведь сам почти что зам! А вы не зам?

Ну, промаялся ночь, как в холере, я, —
Подвела меня падла Калерия!
Ну, жена тоже плачет, печалится —
Культ — не культ, а чего не случается?!
Ну, бельишко в портфель, щётка, мыльница, —
Если сразу возьмут, чтоб не мыкаться.
Ну, являюсь, дрожу аж по потрохи,
А они меня чуть что не под руки.

И смех и шум, и смех и шум, и смех и шум!
А я стою — и ни бум-бум. А вы — бум-бум?

Первым делом у нас — совещание,
Зачитали мне вслух завещание —
Мол, такая-то, имя и отчество,
В трезвой памяти, всё честью по чести,
Завещаю, мол, землю и фабрику
Не супругу, засранцу и бабнику,
А родной мой племянник Володечка
Пусть владеет всем тем на здоровьечко!

Вот это да, вот это да, вот это да!
Выходит так, что мне — туда! А вам куда?

Ну, являюсь на службу я в пятницу,
Посылаю начальство я в задницу,
Мол, привет, по добру, по спокойненьку,
Ваши сто мне — как насморк покойнику!
Пью субботу я, пью воскресенье,
Чуть пошлю — и опять в окосение.

Пью за родину, и за не родину,
И за вечную память за тётину.

Ну, пью и пью, а после счёт, а после счёт,
А мне б не счёт, а мне б ещё. И вам ещё?!

В общем, я за усопшую тётеньку
Пропил с книжки последнюю сотенку,
А как встал, так друзья мои, бражники,
Прямо все как один за бумажники:
— Дорогой ты наш, бархатный, саржевый,
Ты не брезговай, Вова, одалживай! —
Мол, сочтёмся когда-нибудь дружбою,
Мол, пришлешь нам, что будет ненужное.

Ну, если так, то гран мерси, то гран мерси,
А я за это вам — джерси. И вам — джерси.

Наодалживал, в общем, до тыщи я,
Я ж отдам, слава Богу, не нищий я,
А уж с тыщи-то рад расстараться я —
И пошла ходуном ресторация...
С контрабаса на галстук — басовую!
Не «Столичную» пьем, а «Особую»!
И какие-то две с перманентиком
Всё назвать норвят меня Эдиком.

Гуляем день, гуляем ночь и снова ночь,
А я не прочь, и вы не прочь, и все не прочь.

С воскресенья и до воскресения
Шло у нас вот такое веселие,
А очухался чуть к понедельнику,
Сел глядеть передачу по телику.
Сообщает мне дикторша новости
Про успехи в космической области,

А потом:

— Передаём сообщение из-за границы. Революция в Фингалии! Первый декрет народной власти —

о национализации земель, фабрик, заводов и всех прочих промышленных предприятий. Народы Советского Союза приветствуют и поздравляют братский народ Фингалии со славной победой!

Я гляжу на экран, как на рвотное:
То есть как это так, всё народное?!
Это ж наше, кричу, с тётёй Калею,
Я ж за этим собрался в Фингалию!

Негодяи, бандиты, нахалы вы!
Это всё, я кричу, штучки Карловы!
...Ох, нет на свете печальнее повести,
Чем об этой прибавочной стоимости!

А я ж её от сих до сих, от сих до сих!
И вот теперь я полный псих! А кто не псих?!

<1963?>

Вальс, посвящённый уставу караульной службы

Поколение обречённых!

Как недавно — и ох как давно —
Мы смешили смешливых девчонок,
На протырку ходили в кино.

Но задул сорок первого ветер —
Вот и стали мы взрослыми вдруг.
И вколачивал шкура-ефрейтор
В нас премудрость науки наук.

О, суконная прелесть устава —
И во сне позабыть не моги,
Что любое движенье направо
Начинается с левой ноги.

А потом в разноцветных нашивках
Принесли мы гвардейскую статью
И женились на разных паршивках,
Чтобы всё поскорей наверстать.

И по площади Красной, шалея,
Мы шагали — со славой на «ты», —
Улыбался нам Он с мавзолея,
И охрана бросала цветы.

Ах, как шаг мы печатали браво,
Как легко мы прощали долги!..
Позабыв, что движенье направо
Начинается с левой ноги.

Что же вы присмирели, задиры?!
Не такой нам мечтался удел.
Как пошли нас судить дезертиры,
Только пух, так сказать, полетел.

— Отвечай, солдат, как есть на духу!
Отвечай, солдат, как есть на духу!
Отвечай, солдат, как есть на духу!
Ты кончай, солдат, нести чепуху:

Что от Волги, мол, дошёл до Белграда,
Не искал, мол, ни чинов, ни разживу...
Так чего же ты не помер, как надо,
Как положено тебе по ранжиру?

Еле слышно отвечает солдат,
Еле слышно отвечает солдат,
Еле слышно отвечает солдат:
— Ну, не вышло помереть, виноват.

Виноват, что не загнулся от пули,
Пуля-дура не в того угодила.
Это вроде как с наградами в ПУРе*,
Вот и пули на меня не хватило!

— Всё морочишь нас, солдат, стариной?!
Всё морочишь нас, солдат, стариной!
Всё морочишь нас, солдат, стариной —
Бьёшь на жалость, гражданин строевой!

Ни деньжат, мол, ни квартирки отдельной,
Ничего, мол, нет такого в заводе,
И один ты, значит, вроде идейный,
А другие, значит, вроде Володи!

Ох, лютует прокурор-дезертир!
Ох, лютует прокурор-дезертир!

* ПУР — Политуправление. (Прим. автора).

Ох, лютует прокурор-дезертир! —
Припечатает годкам к десяти!

Ах, друзья ж вы мои, дуралеи, —
Снова в грязь непроезжих дорог!
Заключенные параллели
Преподали нам славный урок —

Не делить с подонками хлеба,
Перед лестью не падать ниц
И не верить ни в чистое небо,
Ни в улыбку сиятельных лиц.

Пусть опять нас тетёшкает слава,
Пусть друзьями назвались враги, —
Помним мы, что движенье направо
Начинается с левой ноги!

<1963?>

Закон природы

Подражание Беранже

Ать-два, левой-правой,

Три-четыре, левой-правой,
Ать-два-три,
Левой, два-три!

Отправлен взвод в ночной дозор
Приказом короля.
Выводит взвод тамбурмажор,
Тра-ля-ля-ля-ля-ля!
Эй, горожане, прячьте жён,
Не лезьте сдуру на рожон!
Выводит взвод тамбурмажор —
Тра-ля-ля-ля!
Пусть в бою труслив, как заяц,
И деньжат всегда в обрез,
Но зато — какой красавец!
Чёрт возьми, какой красавец!
И какой на вид храбрец!

Ать-два, левой-правой,
Три-четыре, левой-правой,
Ать-два-три,
Левой, два-три!

Проходит пост при свете звёзд,
Дрожит под ним земля,
Выходит пост на Чёртов мост,
Тра-ля-ля-ля-ля-ля!

Чеканя шаг, при свете звёзд
На Чёртов мост выходит пост,
И, раскачавшись, рухнул мост —
Тра-ля-ля-ля!
Целый взвод слизнули воды,
Как корова языком,
Потому что у природы
Есть такой закон природы —
Колебательный закон!

Ать-два, левой-правой,
Три-четыре, левой-правой,
Ать-два-три,
Левой, два-три!

Давно в музей отправлен трон,
Не стало короля,
Но существует тот закон,
Тра-ля-ля-ля-ля-ля!
И кто с законом не знаком,
Пусть учит срочно тот закон,
Он очень важен, тот закон,
Тра-ля-ля-ля!
Повторяйте ж на дороге
Не для кружева-словца,
А поверьте, ей-же-Богу,
Если все шагают в ногу —
Мост об-ру-ши-ва-ет-ся!

Ать-два, левой-правой,
Три-четыре, правой-левой,
Ать-два-три,
Левой, правой —
Кто как хочет!

<1963?>

Ночной дозор

Когда в городе гаснут праздники,

Когда грешники спят и праведники,
Государственные запасники
Покидают тихонько памятники.
Сотни тысяч — и все похожие! —
Вдоль по лунной идут дорожке,
И случайные прохожие
Кувыркаются в неотложки!

И бьют барабаны!..

На часах замирает маятник,
Стрелки рвутся бежать обратно:
Одинокий шагает памятник,
Повторённый тысячекратно.
То он в бронзе, а то он в мраморе,
То он с трубкой, а то без трубки,
И за ним, как барашки на море,
Чешут гипсовые обрубки!

И бьют барабаны!..

Я открою окно, я высунусь,
Дрожь пронзит, будто сто по Цельсию!
Вижу: бронзовый генералиссимус
Шутовскую ведёт процессию!
Он выходит на место лобное —
Гений всех времён и народов! —
И, как в старое время доброе,
Принимает парад уродов!

И бьют барабаны!..

Прёт стеной мимо дома нашего
Хлам, забытый в углу уборщицей, —
Вот сапог громыхает маршево,
Вот обломанный ус топорщится!
Им пока — скрипеть да поругиваться,
Да следы оставлять линючие,
Но уверена даже пуговица,
Что сгодится ещё при случае!

И будут бить барабаны!..

Утро родины нашей — розово,
Позывные летят, попискивая.
Восвояси уходит бронзовый,
Но лежат, притаившись, гипсовые.
Пусть до времени покалечены,
Но и в прахе хранят обличие.
Им бы, гипсовым, человечины —
Они вновь обретут величие!

И будут бить барабаны!..

<1963?>

Колыбельный вальс

Баю-баю-баю-бай!

Ходи в петлю, ходи в рай,
Баю-баюшки-баю!
Хорошо ль тебе в раю?
Улетая — улетай!
Баю-баю-баю-бай!
Баю-бай!

Но в рай мы не верим, нехристи,
Незрячим к чему приметы!
А утром пропавших без вести
Выводят на берег Леты.
Сидят пропавшие, греются,
Следят за речным проливом.
А что им, счастливым, грезится?
Не грезится им, счастливым.

Баю-баю-баю-бай!
Забывая — забывай!
Баю-бай!

Идут им харчи казённые,
Завозят вино — погуливают,
Сидят палачи и казнённые,
Поплёвывают, покуривают.
Придавят бычок подошвою,
И в лени от ветра вольного
Пропавшее наше прошлое
Спит под присмотром конвойного.

Баю-баю-баю-бай!
Ходи в петлю, ходи в рай!
Гаркнет ворон на плетне:
Хорошо ль тебе в петле?
Помирая — помирай,
Баю-баю-баю-бай!
Баю-бай!

<1964?>

Предостережение ^[6]

Ой, не шейте вы, евреи, ливреи,

Не ходить вам в камергерах, евреи!
Не горюйте вы зазря, не стенайте —
Не сидеть вам ни в Синоде, ни в Сенате.

А сидеть вам в Соловках да в Бутырках,
И ходить вам без шнурков на ботинках,
И не делать по субботам лехаим,
А таскаться на допрос с вертухаем.

Если ж будешь торговать ты елеем,
Если станешь ты полезным евреем,
Называться разрешат Рос... синантом
И украсят лапсердак аксельбантом.

Но и ставши в ремесле этом первым,
Всё равно тебе не быть камергером
И не выйти на елее в Орфеи...
Так не шейте ж вы ливреи, евреи!

<1964?>

Месня про острова

Говорят, что есть на свете острова,
Где растёт на берегу забудь-трава,

Забудь о гордости, забудь про горести,
Забудь о подлости! Забудь про хворости!
Вот какие есть на свете острова!

Говорят, что где-то есть острова,
Где с похмелья не болит голова,
А сколько есть вина, пей всё без просыпу,
А после по морю ходи, как по суху!
Вот какие есть на свете острова!

Говорят, что где-то есть острова,
Где четыре не всегда дважды два,
Считай хоть дослепу — одна испарина,
Лишь то, что по сердцу, лишь то и правильно.
Вот какие есть на свете острова!

Говорят, что где-то есть острова,
Где неправда не бывает права!
Где совесть — надобность, а не солдатчина,
Где правда нажита, а не назначена!
Вот какие я придумал острова!

<1964?>

Право на отдых,
или Баллада о том, как я навещал
своего брата, находящегося
на излечении в психбольнице
в Белых Столбах^[7]

Первача я взял ноль-восемь, взял халвы,

Пару «Рижского» и керченскую сельдь,
И отправился я в Белые Столбы
На братана да на психов поглядеть.

Ах, у психов жизнь —
Так бы жил любой:
Хочешь — спать ложись,
Хочешь — песни пой!
Предоставлено
Им — вроде литера —
Кому от Сталина,
Кому от Гитлера!

А братан уже встречает в проходной,
Он меня за опоздание корит.
Говорит: — Давай скорее по одной,
Тихий час сейчас у психов, — говорит.

Шизофреники —
Вяжут веники,
А параноики
Рисуют нолики,
А которые
Просто нервные —
Те спокойным сном
Спят, наверное.

А как приняли по первой первача,
Тут братана прямо бросило в тоску.
Говорит, что он зарежет главврача,
Что тот, сука, не пустил его в Москву!

А ему ж в Москву
Не за песнями,
Ему выправить
Надо пенсию,
У него в Москве
Есть законная...
И ещё одна есть —
Знакомая.

Мы пивком переложили, съели сельдь,
Закусили это дело косхалвой,
Тут братан и говорит мне: — Сень, а Сень,
Ты побудь здесь за меня денёк-другой!

И по выходке,
И по роже мы
Завсегда с тобой
Были схожими,
Тебе ж нет в Москве
Вздоха-продыха,
Поживи здесь, как
В доме отдыха!..

Тут братан снимает тапки и халат,
Он мне волосы легонько ворошит,
А халат на мне — ну, прямо в аккурат,
Прямо вроде на меня халат пошит!

А братан — в пиджак
Да и к поезду,
А я — булавочкой
Деньги к поясу
И иду себе
На виду у всех...

А и вправду мне
Отдохнуть не грех!

Тишина на белом свете, тишина!
Я иду и размышляю не спеша:
То ли стать мне президентом США,
То ли взять да и окончить ВПШ!..

Ах, у психов жизнь —
Так бы жил любой:
Хочешь — спать ложись,
Хочешь — песни пой!
Предоставлено
Нам — вроде литеры —
Кому от Сталина,
Кому от Гитлера!..

<1964?>

Неоконченная песня

Старики управляют миром,

Суеются, как злые мыши,
Им по справке, выданной МИДом,
От семидесяти и выше.

Откружили в боях и в вальсах,
Отмолили годам продление
И в сведённых подагрой пальцах
Держат крепко бразды правленья.

По утрам их терзает кашель,
И поводят глазами шало
Над тарелками с манной кашей
Президенты Земного Шара!

Старики управляют миром,
Где обличья подобны маскам,
Пахнут вёсны — яичным мылом,
Пахнут зимы — камфарным маслом.

В этом мире — ни слов, ни сути,
В этом мире — ни слез, ни крови!
А уж наши с тобою судьбы
Не играют и вовсе роли!

Им важнее, где рваться минам,
Им важнее, где быть границам...
Старики управляют миром,
Только им по ночам не спится.

А девчонка гуляет с милым,
А в лесу раскричалась птица!
Старики управляют миром,
Только им по ночам не спится.

А в саду набухает завязь,
А мальчишки трубят: «По коням!»
И острее, чем совесть, — зависть
Старикам не даёт покоя!

Грозный счёт покорённым милям
Отчеркнёт пожелтевший ноготь.
Старики управляют миром...
А вот сладить со сном — не могут!

<1964?>

Смерть Ивана Ильича

Врач сказал: «Будь здоров! Паралич!»

Помирает Иван Ильич...

Ходят дети с внуками на цыпочках,
И хотя разлука не приспела,
Но уже месткомовские скрипочки
Принялись разучивать Шопена.

Врач сказал: «Может, день, может, два,
Он и счас уже дышит едва».

Пахнет в доме горькими лекарствами,
Подгоревшим давешним обедом,
Пахнет в доме скорыми мытарствами
По различным загсам и собесам.

Врач сказал: «Ай-ай-ай, вот те раз!
А больной-то, братцы, помер у нас».

Был он председателем правления,
Но такая вещь житьё-бытьё:
Не напишешь просьбу о продлении,
Некому рассматривать её.

Врач сказал: «Извиняюсь, привет!»
Ждал врача подгоревший обед.

<1964?>

В иновники найдены

...Может быть, десяток
неизвестных рифм
Только и остался,
что в Венецуэле...

В. Маяковский

*У*становлены сроки и цены

(По морям, по волнам),
И в далёкий путь между рифами
(По морям, по волнам)...
Установлены сроки и цены,
И в далёкий путь между рифами
Повезли нам из Венецуэлы
Два контейнера с новыми рифмами
По морям, по волнам, по морям, по волнам,
По морям, по волнам!

Так, с пшеницей и ананасами
(По морям, по волнам),
Плыли рубленные и дольные
(По морям, по волнам)...
Так, с пшеницей и ананасами,
Плыли рубленные и дольные,
Современные, ассонансные, —
Не какие-нибудь глагольные!
По морям, по волнам, по морям, по волнам,
По морям, по волнам...

Не снимает радист наушники
(По морям, по волнам),
А корабль подплывает к пристани
(По морям, по волнам)...

Не снимает радист наушники,
А корабль подплывает к пристани,
Но биндюжники есть биндюжники! —
Два бочонка с рифмами свистнули.
По морям, по волнам, по морям, по волнам,
По морям, по волнам...

Хоть всю землю шагами выстели
(По морям, по волнам),
Хоть расспрашивай всех и каждого
(По морям, по волнам)...
Хоть всю землю шагами выстели,
Хоть расспрашивай всех и каждого,
С чем рифмуется слово ИСТИНА —
Не узнать ни поэтам, ни гражданам!
По морям, по волнам, по морям, по волнам,
По морям, по волнам...

Виноваты во всём биндюжники!

<1965?>

Я принимаю участие в научном споре между доктором филологических наук, профессором Б.А. Бяликом и действительным членом Академии наук СССР С.Л. Соболевым по вопросу о том, **может ли машина мыслить**

... **Я** не чикался на курсах, не зубрил сопромат,

Я вполне в научном мире личность лишняя.
Но вот чего я усёк:
Газированной водой торговал автомат,
За копейку — без сиропа, за три — с вишнею.

И с такой торговал вольностью,
Что за час его весь выпили.
Стаканы́ наливал полностью,
А людям никакой прибыли!
А людям никакой выгоды,
Ни на зуб с дуплом компенсации!..
Стали люди искать выхода
Из безвыходной ситуации.

Сели думать тут ребятки, кто в беде виноват,
Где в конструкции ошибка, в чём неправильность,
Разобрали тут ребята весь как есть автомат,
Разобрали, устранили в нём несправедность.

А теперь крутись, а то выпорем!
Станешь, дура, тогда умною!
Приспособим тебя к выборам —
Будешь в ёлках стоять урною!

Ты кончай, автомат, школьничать,
Ты кончай, автомат, умничать —
Мы отучим тебя вольничать,
Мы научим тебя жульничать.

Он повкальывал недельку — с ним обратно беда:
Весь затрясся он, как заяц под стужею,
Не поймёшь, чего он каплет — не сироп, не вода,
Может, краска, может, смазка, может, хужее.

И стоит, на всех шавкой злобится,
То он плачет, то матюкается,
Это люди — те приспособятся,
А машина — та засекается!
Так и стал автомат шизиком,
Всех пугает своим видиком,
Ничего не понять физикам,
Не понять ничего лирикам!

Так давайте ж друг у друга не воруйте идей,
Не валите друг на друга свои горести,
И вот чего я вам скажу:
Может, станут автоматы не глупее людей,
Только очень это будет не вскорости!

<1965?>

В понедельник (дело было к вечеру,

И. Грековой

Голова болела — прямо адово)
Заявляюсь я в гараж к диспетчеру,
Говорю, что мне уехать надобно.

Говорю, давай путёвку выпиши,
Чтоб куда подале да посеверней!
Ты меня не нюхай, я не выпивши,
Это я с тоски такой рассеянный.

Я гулял на свадьбе в воскресенье,
Тыкал вилкой в винегрет, закусывал,
Только я не пил за счастье Ксенино
И вообще не пил, а так... присутствовал.

Я ни шкалика и ни полшкалика,
А сидел жевал горбушку чёрного,
Всё глядел на Ксенькина очкарика,
Как он строил из себя учёного.

А я, может, сам из семинарии,
Может, шоферюга я по случаю,
Вижу, даже гости закемарили,
Даже Ксенька, вижу, туча тучею.

Ну а он поёт, как хор у всенощной,
Всё про иксы, игреки да синусы,
А костюмчик — и взглянуть-то не на что:
Индпошив, фасончик «на-ка, выкуси»!

И живёт-то он не в Дубне атомной,
А в НИИ каком-то под Каширою,
Врёг, что он там шеф над автоматною
Электронно-счётною машиною.

Дескать, он прикажет ей: помножь-ка мне
Двадцать пять на девять с одной сотою —
И сидит потом, болтает ножками,
Сам сачкует, а она работает.

А она работает без ропота,
Огоньки на пульте обтекаемом!
Ну, а нам-то, нам-то среди роботов,
Нам что делать, людям неприкаянным?!

В общем, слушал я, как замороженный,
А потом меня как чтой-то подняло.
Встал, сказал: — За счастье

новорожденной!

Может, кто не понял — Ксенька поняла!

И ушёл я, не было двенадцати,
Хлопнул дверью — празднуйте, соколики!
И в какой-то вроде бы прострации
Я дошёл до станции «Сокольники».

В автомат пятак засунул молча я,
Будто бы в копилку на часовенку,
Ну а он залязгал, сука волчая,
И порвал штаны мне снизу доверху.

Дальше я не помню, дальше — кончики!
Плакал я и бил его ботинкою,
Шухера свистели в колокольчики,
Граждане смеялись над картинкою.

Так давай, папаша, будь союзником,
До суда поезжу дни последние,
Ах, обрыдла мне вся эта музыка,
Это автоматное столетие!

Песня про счастье

*Т*ы можешь найти на улице копейку

И купить коробок спичек,
Ты можешь найти две копейки
И позвонить кому-нибудь из автомата,
Ну, а если звонить тебе некому,
Так зачем тебе две копейки?
Не покупать же на две копейки
Два коробка спичек!

Можно вообще обойтись без спичек,
А просто прикурить у прохожего,
И заговорить с этим прохожим,
И познакомиться с этим прохожим,
И он даст тебе номер своего телефона,
Чтоб ты позвонил ему из автомата...
Но как же ты сможешь позвонить ему из
автомата,
Если у тебя нет двух копеек?!

Так что лучше уж не прикуривать у прохожего,
Лучше просто купить коробок спичек.
Впрочем, и для этого сначала нужно
Найти на улице одну копейку...

<1965?>

Композиция № 27, или Троллейбусная абстракция ^[8]

И. Грековой

— Он не то чтобы достиг — он подлез...

— А он ей в ЦУМе — пылесос и палас...

— А она ему: «Подлец ты, подлец!..»

— И как раз у них годичный баланс...

А на дворе — то дождь, то снег,

То дождь, то снег — то плач, то смех.

И чей забой — того казна...

А кто — в запой, а кто — в «козла».

«Пользуйтесь услугами Аэрофлота,
Экономьте время», и тра-ля-ля!

— В общежитии замок на двери...

— В нос шибает то пивком, то потком...

— Отвори, — она кричит, — отвори!..

— Тут его и цап-царап на партком!..

А на дворе — то дождь, то снег,

Сперва — чуть-чуть, а там — и вверх,

Кому — во Львов, кому — в Казань,

А кто — в любовь, а кто — в «козла»!

«Покупайте к завтраку рыбные палочки,
Вкусно и питательно», и тра-ля-ля!

— Говорят, уже не первый сигнал...

— А он им в чай и подмешай нембутал...

— А им к празднику давали сига...
— По-советски, а не как-нибудь там!..

А на дворе — то дождь, то снег,
И тот же смех, один на всех.
И, словно бой, гремит гроза,
А кто — в любовь, а кто — в «козла».

«Граждане, подписку на газеты и журналы
Оформляйте вовремя», и тра-ля-ля!

— В общем, вышло у него так на так...
— А она опять: «Подлец ты, подлец!..»
— Подождите, не бросайте пятак!..
— Ну, поставили на вид, и конец!..

А на дворе — то дождь, то снег,
Всё тот же смех и тот же снег...
И не беда, что тот же смех,
А вот беда — всё тот же век!

«Предъявляйте пропуск в развёрнутом виде
При входе и выходе», и тра-ля-ля!

<1965?>

Баллада о стариках и старухах, с которыми я вместе жил и лечился в санатории областного Совета профсоюзов в 110 км от Москвы

Все завидовали мне: «Эко денег!»

Был загадкой я для старцев и стариц.
Говорили про меня: «Академик!»
Говорили: «Генерал! Иностранец!»

О, бессонниц и снотворных отрав!
Может статься, это вы виноваты,
Что привиделась мне вздорная слава
В полумраке санаторной палаты?

А недуг со мной хитрил поминутно:
То терзал, то отпускал на поруки.
И всё было мне так страшно и трудно,
А труднее всего — были звуки.

Доминошники стучали в запале,
Привалившись к покорябанной пальме.
Старцы в чёсанках с галошами спали
Прямо в холле, как в общественной спальне.

Я неслышно проходил: «Англичанин!»
Я «козла» не забивал: «Академик!»
И звонки мои в Москву обличали:
«Эко денег у него, эко денег!»

И казалось мне, что вздор этот вечен,
Неподвижен, точно солнце в зените...
И когда я говорил: «Добрый вечер!»,
Отвечали старики: «Извините».

И кивали, как глухие глухому,
Улыбались не губами, а краем:
«Мы, мол, вовсе не хотим по-плохому,
Но как надо, извините, не знаем...»

Я твердил им в их мохнатые уши,
В перекурах за сортирной дверью:
«Я такой же, как и вы, только хуже!»
И поддакивали старцы, не веря.

И в кино я не ходил: «Ясно, немец!»
И на танцах не бывал: «Академик!»
И в палатке я купил чай и перец:
«Эко денег у него, эко денег!»

Ну и ладно, и не надо о славе...
Смерть подарит нам бубенчики славы!
А живём мы в этом мире послами
Не имеющей названья державы...

<1965?>

За семью заборами

Совместно с Г. Шпаликовым

Мы поехали за город,

А за городом дожди,
А за городом заборы,
За заборами — вожди.

Там трава несмятая,
Дышится легко,
Там конфеты мятные
«Птичье молоко».

За семью заборами,
За семью запорами,
Там конфеты мятные
«Птичье молоко»!

Там и фауна, и флора,
Там и галки, и грачи,
Там глядят из-за забора
На прохожих стукачи.

Ходят вдоль да около,
Кверху воротник...
А сталинские соколы
Кушают шашлык!

За семью заборами,
За семью запорами
Сталинские соколы
Кушают шашлык!

А ночами, а ночами
Для ответственных людей,
Для высокого начальства
Крутят фильмы про блядей!

И, сопя, уставится
На экран мурло:
Очень ему нравится
Мэрилин Монро!

За семью заборами,
За семью запорами
Очень ему нравится
Мэрилин Монро!

Мы устали с непривычки,
Мы сказали:
— Боже мой! —
Добрели до электрички
И поехали домой.

А в пути по радио
Целый час подряд
Нам про демократию
Делали доклад.

А за семью заборами,
За семью запорами,
Там доклад не слушают —
Там шашлык едят!

<1961?>

Слава героям

Совместно с Г. Шпаликовым

У лошади была грудная жаба,

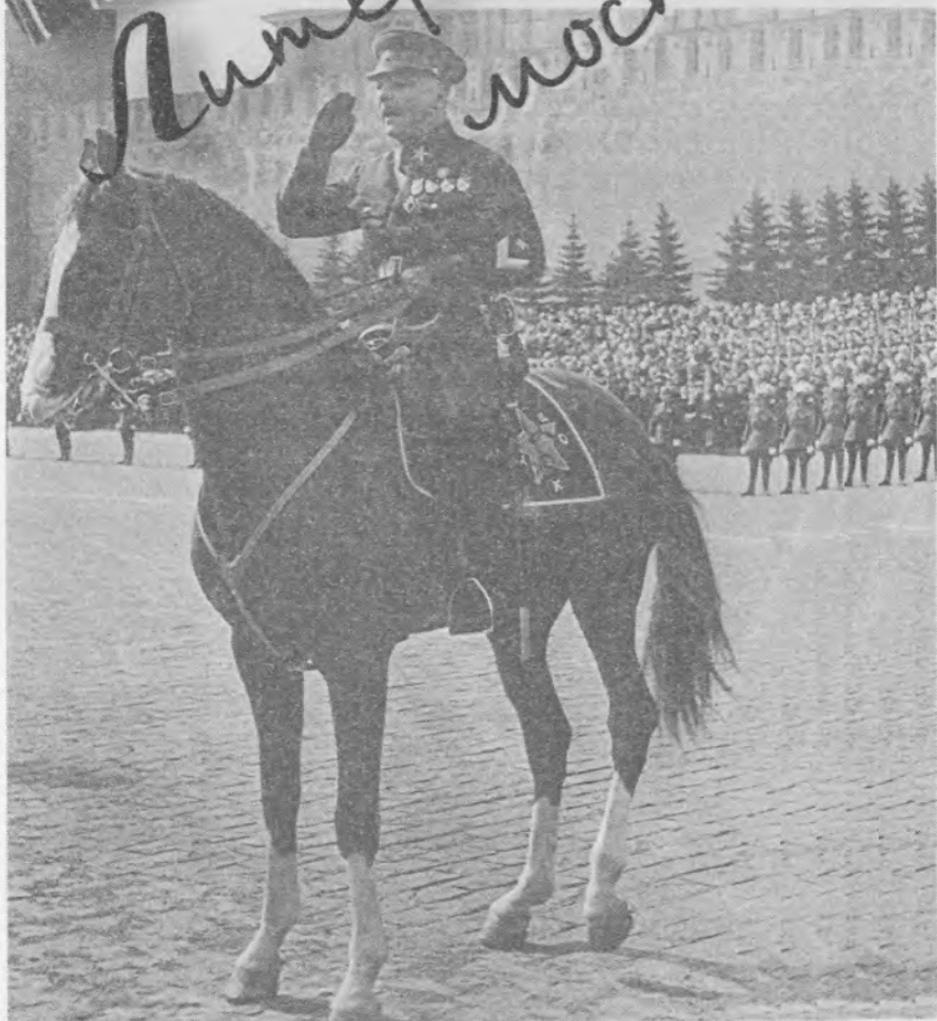
Но лошадь, как известно, не овца,
И лошадь на парады выезжала,
И маршалу про жабу ни словца!

А маршал, бедный, мучился от рака,
Но тоже на парады выезжал,
Он мучился от рака, но, однако,
Он лошади об этом не сказал!

Нам этот факт Великая Эпоха
Воспеть велела в песнях и стихах,
Хоть лошадь та давным-давно издохла,
А маршала сгноили в Соловках!

<1961?>

Литераторские
мостки





Прощание с гитарой ^[9]

...Чиби́ряк, чиби́ряк,
чиби́ряшечка,
Ах, как скушно мне с тобой,
моя душечка!

Осенняя, простудная,

Печальная пора,
Гитара семиструнная,
Ни пуха ни пера!
Ты с виду — тонкорунная,
На слух — ворожея,
Подруга семиструнная,
Прелестница моя!
Ах, как ты пела смолоду,
Вся — музыка и стать,
Что трудно было голову
С тобой не потерять!

Чиби́ряк, чиби́ряк, чиби́ряшечка,
Ах, как плыла голова, моя душечка!

Когда ж ты стала каяться
В преклонные лета,
И стать не та, красавица,
И музыка не та!
Всё в говорок про странствия,
Про ночи у костра,
Была б, мол, только санкция,
Романтики сестра.
Романтика, романтика
Небесных колеров!

Нехитрая грамматика
Небитых школяров.

Чибиряк, чибиряк, чибиряшечка,
Ах, как скушно мне с тобой, моя душечка!

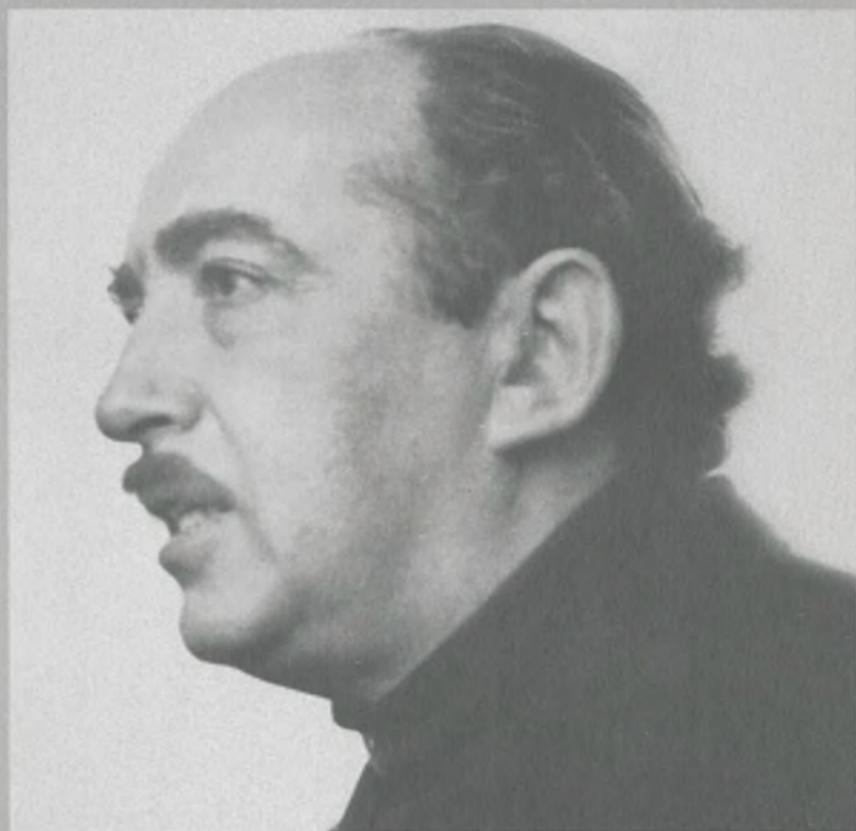
И вот, как дождь по луночке,
Который год подряд
Всё на одной на струночке,
А шесть других молчат.
И лишь затем без просыпа
Разыгрываешь страсть,
Что, может, та, курносая,
«Послушает и даст»...
Так и живёшь, бездумная,
В приятности примет,
Гитара однострунная —
Полезный инструмент!

Чибиряк, чибиряк, чибиряшечка,
Ах, не совестно ль тебе, моя душечка!

Плевать, что стала курвою,
Что стать под стать блядям,
Зато номенклатурная,
Зато нужна людям!
А что души касается,
Про то забыть пора.
Ну что ж, прощай, красавица!
Ни пуха, ни пера!

Чибиряк, чибиряк, чибиряшечка,
Что ж, ни пуха, ни пера, моя душечка!

<1965?>





Отец А. Галича — А.С. Гинзбург.
Студент реального училища,
Екатеринославль, 1912 г.



Ф.Б. Векслер — мать поэта.
В день окончания гимназии,
Екатеринославль, 1911 г.



А.С. Гинзбург — солдат Первой мировой войны, 1915 г.



Семья Векслеров в Екатеринославле, Фанни слева. 1910-е годы



Дом на Комсомольской в Днепропетровске (Екатеринославль), где 19 октября 1918 г. родился Александр Галич



После рождения Саши, 1919 г.



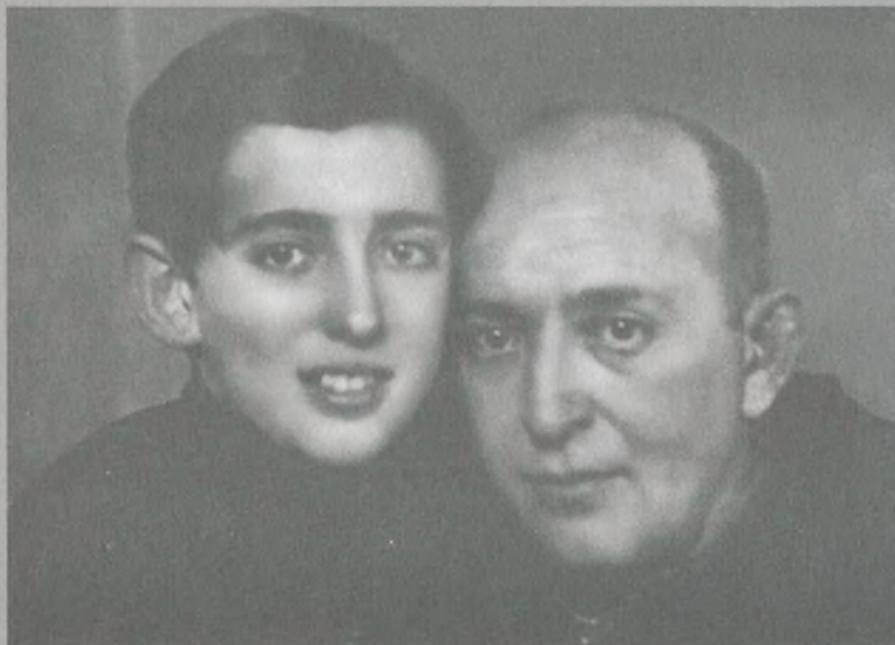
Саше один год



Саше шесть лет. Одесса



Саша и Валерий (впоследствии — известный кинооператор Валерий Гинзбург). Москва, 1925 г.



С отцом. Москва, Кривоколенный пер., 4



Программка, выпущенная тиражом 25 экз. Обществом любителей российской словесности к столетию первого чтения Пушкиным «Бориса Годунова» в доме поэта Д.В. Веневитинова в Москве по Кривоколенному, 4, где с 1924 года жила семья Гинзбургов. И еще одно совпадение: А. Галич родился 19 октября, т.е. в день памяти пушкинских лицеистов



«Золотая свадьба» родителей Александра Галича в ресторане Центрального дома литераторов, 1967 г. Справа от Галича — Галина Шергова, Александр Менакер, Мария Миронова, Иосиф Прут



Гусарская песня ^[10]

По рисунку палешанина

Кто-то выткал на ковре
Александра Полежаева
В чёрной бурке на коне.
Тёзка мой и зависть тайная,
Сердце горем горячи!
Зависть тайная — летальная,
Как сказали бы врачи.

Славно, братцы,
Славно, братцы,
Славно, братцы-егеря!
Славно, братцы-егеря,
Рать любимая царя!
Ах, кивера да ментики,
Ах, соколы-орлы!
Кому вы в сердце метили,
Лепажевы стволы?
...Не мне ль вы в сердце метили,
Лепажевы стволы?!

А беда явилась за полночь,
Но не пулею в висок, —
Просто в путь, в ночную заволочь,
Важно тронулся возок.
И не спеть, не выпить водочки,
Не держать в руке бокал!
Едут трое: сам в серёдке,
Два жандарма по бокам.

Славно, братцы,
Славно, братцы,
Славно, братцы-егеря!
Славно, братцы-егеря,
Рать любимая царя!
Ах, кивера да ментики,
Пора бы выйти в знать!
Но этой арифметики
Поэтам не узнать.
... Ни прошлым и ни будущим
Поэтам не узнать!

Где ж друзья твои, ровесники?
Некому тебя спасти!
Началось всё дело с песенки,
А потом — пошла писать!
И по мукам, как по лезвию...
Размышляй теперь о том —
То ли броситься в поэзию,
То ли сразу в жёлтый дом...

Славно, братцы,
Славно, братцы,
Славно, братцы-егеря!
Славно, братцы-егеря,
Рать любимая царя!
Ах, кивера да ментики,
Возвышенная речь!
А всё-таки наветики
Страшнее, чем картечь!
...Доносы и наветики
Страшнее, чем картечь!..

По рисунку палешанина
Кто-то выткал на ковре
Александра Полежаева
В чёрной бурке на коне.
Но оставь, художник, вымысел,

Нас в герои не крои:
Нам не знамя жребий вывесил —
Носовой платок в крови...

Славно, братцы,
Славно, братцы,
Славно, братцы-егеря!
Славно, братцы-егеря,
Рать любимая царя!
Ах, кивера да ментики,
Нерукотворный стяг!
И дело тут не в метрике,
Столетие — пустяк!
...Столетие, столетие,
Столетие — пустяк...

<1965?>

Цыганский романс

Посвящается Александру Блоку

Встречала девчонка бога,

Бог пил мёртвую в монопольке,
Ну, а много ль от бога прока
В чертовне и в чаду попойки?
Ах, как пилоьсь к полночи!
Как в башке гудело,
Как цыгане, сволочи,
Пели «Конавэлла»!

«Ай да Конавэлла, гран-традела,
Ай да йорысака палалховела!»

А девчонка сидела с богом,
К богу фасом, а к прочим боком,
Ей домой бы бежать к папане,
А она чокается шампанью.
Ах, ёлочки-мочалочки,
Сладко вина пьются —
В серебряной чарочке
На золотом блюдецe!

Кому чару пить?! Кому здраву быть?!
Королевичу Александровичу!

С самоваров к чертям полуда,
Чад летал над столами сотью,
А в четвёртом часу, под утро,
Бог последнюю кинул сотню...
Бога, пьяного в дугу,
Все теперь цукали,

И цыгане — ни гугу,
Разбрелись цыгане,
И друзья, допив до дна, —
Скатертью дорога!
Лишь девчонка та одна
Не бросала бога.

А девчоночка эта с Охты,
И глаза у ней цвета охры,

Ждёт маманя свою кровинку,
А она с богом сидит в обнимку.
И надменный половой
Шваркал мокрой тряпкой,
Бог с поникшей головой
Горбил плечи зябко
И просил у цыган хоть слова,
Хоть немножечко, хоть чуть слышно,
А в ответ ему — жбан рассола:
Понимай, мол, что время вышло!
Вместо водочки — вода,
Вместо пива — пена!..
И девчоночка тогда
Тоненько запела:

«Ай да Конавэлла, гран-традела,
Ай да йорысака палалховела...»

Ах, как пела девчонка богу
И про поле, и про дорогу,
И про сумерки, и про зори,
И про милых, ушедших в море...
Ах, как пела девчонка богу!
Ах, как пела девчонка Блоку!
И не знала она, не знала,
Что бессмертной в то утро стала —

Этот тоненький голос в трактирном чаду
Будет вечно звенеть в «Соловьином саду».

Салонный роман ^[11]

Памяти А.Н. Вертинского

...Мне снилось, что потом,
В притонах Сан-Франциско,
Лиловый негр Вам подаёт манто.

А. Вертинский

... **И** вновь эти вечные трое

Играют в преступную страсть,
И вновь эти греки из Трои
Стремятся Елену украсть!..

А сердце сжимается больно,
Виски малярийно мокры —
От этой игры треугольной,
Безвыигрышной этой игры.

Развей мою смуту жалейкой,
Где скрыты лады под корой,
И спой — как под старой шинелькой
Лежал сероглазый король.

В беспамятстве дедовских кресел
Глаза я закрою, и вот —
Из рыжей Бразилии крейсер
В кисейную гавань плывёт.

А гавань созвездия множит,
А тучи — летучей грядой...
Но век не вмешаться не может,
А норов у века крутой!

Он судьбы смешает, как фанты,
Ему ералаш по душе, —

И вот он вряля-лейтенанта
Назначит морским атташе.

На карте истории некто
Возникнет, подобный мазку,
И правнук лилового негра
За займом приедет в Москву.

И всё ему даст непременно
Тот некто, который никто,
И тихая пани Ирена
Наденет на негра пальто.

И так этот мир разутюжен,
Что чёрта ли нам на рожон?!
Нам ужин прощальный — не ужин,
А сто пятьдесят под боржом.

А трое? Ну что же что трое!
Им равное право дано.
А Троя? — Разрушена Троя,
И это известно давно.

Всё предано праху и тлену,
Ни дат не осталось, ни вех.
А нашу Елену, Елену —
Не греки украли, а век!

<1965?>

Легенда о табаке ^[12]

Посвящается памяти замечательного человека, Даниила Ивановича Ювачева, придумавшего себе странный псевдоним — Даниил Хармс, — писавшего прекрасные стихи и прозу, ходившего в автомобильной кепке и с неизменной трубкой в руках, который действительно исчез, просто вышел на улицу и исчез. У него есть такая пророческая песенка:

«Из дома вышел человек
С верёвкой и мешком
И в дальний путь,
И в дальний путь
Отправился пешком.
Он шёл, и всё глядел вперед,
И всё вперёд глядел,
Не спал, не пил,
Не спал, не пил,
Не спал, не пил, не ел,
И вот однажды, поутру,
Вошёл он в тёмный лес,
И с той поры, и с той поры,
И с той поры исчез...»

Лил жуткий дождь,

Шёл страшный снег,
Вовсю дурил двадцатый век,
Кричала кошка на трубе
И выли сто собак.
И, встав с постели, человек
Увидел кошку на трубе,
Зевнул и сам сказал себе:
— Кончается табак!
Табак кончается — беда,
Пойду куплю табак. —

И вот... Но это ерунда,
И было всё не так.

«Из дома вышел человек
С верёвкой и мешком
И в дальний путь,
И в дальний путь
Отправился пешком...»
И тут же, проглотив смешок,
Он сам себя спросил:
— А для чего он взял мешок?
Ответьте, Даниил!
Вопрос резонный, нечем крыть,
Летит к чертям строка,
И надо, видно, докурить
Остаток табака...

Итак: «...Однажды человек...
Та-та-та... с посошком...
И в дальний путь,
И в дальний путь
Отправился пешком.
Он шёл, и всё глядел вперёд,
И всё вперёд глядел,
Не спал, не пил,
Не спал, не пил,
Не спал, не пил, не ел...»

А может снова всё начать,
И бросить этот вздор?!
Уже на ордере печать
Оттиснул прокурор...

Начнём вот этак: «Пять зайчат
Решили ехать в Тверь...»
А в дверь стучат,
А в дверь стучат —
Пока не в эту дверь.

«Пришли зайчата на вокзал,
Прошли зайчата в зальце,
И сам кассир, смеясь, сказал:
— Впервые вижу зайца!..»

Но этот чёртов человек
С веревкой и мешком,
Он и без спроса в дальний путь
Отправился пешком.
Он шёл, и всё глядел вперёд,
И всё вперёд глядел,
Не спал, не пил,
Не спал, не пил,
Не спал, не пил, не ел.

И вот однажды, поутру,
Вошёл он в тёмный лес,
И с той поры, и с той поры,
И с той поры исчез.

На воле — снег, на кухне — чад
Вся комната в дыму,
А в дверь стучат,
А в дверь стучат,
На этот раз — к нему!

О чём он думает теперь,
Теперь, потом, всегда,
Когда стучит ногою в дверь
Чугунная беда?!

И тут ломается строка,
Строфа теряет стать,
И нет ни капли табака,
А там — уж не достать!
И надо дописать стишок,
Пока они стучат...
И значит, всё-таки — мешок,
И побоку зайчат!

(А в дверь стучат!)
В двадцатый век
(Стучат!),
Как в тёмный лес,
Ушёл однажды человек
И навсегда исчез!..

Но Парка нить его тайком
По-прежнему прядёт,
А он ушёл за табаком,
Он вскорости придёт.
За ним бежали сто собак,
И кот по крышам лез...
Но только в городе табак
В тот день как раз исчез,
И он пошёл в Петродворец,
Потом пешком в Торжок...
Он догадался наконец,
Зачем он взял мешок...

Он шёл сквозь свет
И шёл сквозь тьму,
Он был в Сибири и в Крыму,
А опер каждый день к нему
Стучится, как дурак...
И много, много лет подряд
Соседи хором говорят:
— Он вышел пять минут назад,
Пошел купить табак...

<1969?>

На сопках Маньчжурии ^[13]

Памяти М.М. Зощенко

В матершинном субботнем загуле шалманчика

Обезьянка спала на плече у шарманщика,
А когда просыпалась, глаза её жуткие
Выражали почти человеческую отчаянность,
А шарманка дудела про сопки маньчжурские,
И Тамарка-буфетчица очень печалилась...

— Спит гаолян,
Сопки покрыты мглой...

Были и у Томки трали-вали,
И не Томкой — Томочкою звали.
Целовались с миленьким в осоке,
И не пивом пахло, а апрелем...
Может быть, и впрямь на той высоте
Сгинул он, порубан и пострелян?!

— Вот из-за туч блеснула луна,
Могилы хранят покой...

А последний шарманщик, обломок империи,
Всё пылил перед Томкой павлиньими перьями,
Он выламывал, шкура, замашки буржуйские:
То, мол, тёплое пиво, то мясо прохладное!
А шарманка дудела про сопки маньчжурские,
И спала на плече обезьянка прокатная...

— Тихо вокруг,
Ветер туман унёс...

И делясь тоской, как барышами,
Подпевали шлюхи с алкашами.
А шарманщик ел, зараза, хаши,
Алкашам подмигивал прелестно:
Дескать, деньги ваши — будут наши,
Дескать, вам приятно — мне полезно!

— На сопках Маньчжурии воины спят,
И русских не слышно слез...

А часов этак в десять, а может, и ранее,
Непонятный чудака появился в шалмании.
Был похож он на вдруг постаревшего мальчика.
За рассказ, напечатанный неким журнальчиком,
Толстомордый подонок с глазами обманщика
Объявил чудака — всенародно — обманщиком!

— Пусть гаолян
Нам навевает сны...

Сел чудака за стол и вжался в угол,
И легонько пальцами постукал,
И сказал, что отдохнёт немного,
Помолчав, добавил напряжённо:
«Если есть боржом, то, ради Бога,
Дайте мне бутылочку боржома...»

— Спите, герои русской земли,
Отчизны родной сыны!..

Обезьянка проснулась, тихонько зацокала,
Загляделась на гостя, присевшего около,
А Тамарка-буфетчица, сука рублёвая,
Покачала смущённо причёскою пегою
И сказала: «Пардон, но у нас не столовая,
Только вы обождите, я на угол сбегая...»

— Спит гаолян,
Сопки покрыты мглой...

А чудака глядел на обезьянку,
Пальцами выстукивал морзянку,
Словно бы он звал её на помощь,
Удивляясь своему бездомью,
Словно бы он спрашивал: «Запомнишь?»
И она кивала: «Да, запомню».

— Вот из-за туч блеснула луна,
Могилы хранят покой...

Отодвинул шарманщик шарманку ботинкою,
Прибежала Тамарка с боржомной бутылкою —
И сама налила чудаку полстаканчика...
Не знавали в шалмане подобные почести!
А Тамарка, в упор поглядев на шарманщика,
Приказала: «Играй, — человек в одиночестве».

— Тихо вокруг,
Ветер туман унёс...

Замолчали шлюхи с алкапами,
Только мухи крыльями шуршали...
Стало почему-то очень тихо,
Наступила странная минута —
Непонятное, чужое лихо
Стало общим лихом почему-то!

— На сопках Маньчжурии воины спят,
И русских не слышно слез...

Не взрывалось молчанье ни матом, ни брёхами,
Обезьянка сипела спалёнными бронхами,
И шарманщик, забыв трепотню свою барскую,
Сам назначил себе — мол, играй да помалкивай.
И почти что неслышно сказав:
«Благодарствую!» —
Наклонился чудака над рукою Тамаркиной...

— Пусть гаолян
Нам навевает сны...

И ушёл чудака, не взявши сдачи,
Всем в шалмане пожелал удачи...
Вот какая странная эпоха:
Не горим в огне — и тонем в луже!
Обезьянке было очень плохо —
Человеку было много хуже.

— Спице, герои русской земли,
Отчизны родной сыны...

<1969?>

Снова август ^[14]

Памяти А. А. Ахматовой

...А так как мне бумаги не хватило,
Я на твоём пишу черновике...

Анна Ахматова. «Поэма без героя»

В той злой тишине, в той неверной,

В тени разведённых мостов,
Ходила она по Шпалерной,
Моталась она у «Крестов».

Ей в тягость? Да нет, ей не в тягость —
Привычно, как росчерк пера,
Вот если бы только не август,
Не чёртова эта пора!

Таким же неверно-нелепым
Был давний тот август, когда
Под чёрным бернгардтовским небом
Стрельнула, как птица, беда.

И разве не в августе снова,
В ещё не отмеренный год,
Осудят мычанием слово
И совесть отправят в расход?!

Но это потом, а покуда
Которую ночь — над Невой,
Уже не надеясь на чудо,
А только бы знать, что живой!

И в сумерки вписана чётко,
Как вписана в нашу судьбу,
По-царски небрежная чёлка,
Прилипшая к мокрому лбу.

О, шелест финских сосен,
Награда за труды,
Но вновь приходит осень —
Пора твоей беды!

И август, и как будто
Всё то же, как тогда,
И врёт мордастый Будда,
Что горе — не беда!

Но вьётся, вьётся чёлка
Колечками на лбу,
Уходит в ночь девчонка
Пытать твою судьбу.

Следят из окон постно
За нею сотни глаз,
А ей плевать, что поздно,
Что комендантский час!

По улице бессветной,
Под окрик патрулей,
Идёт она бессмертной
Походкою твоей,

На праздник и на плаху
Идёт она, как ты!
По Пряжке, через Прагу —
Искать свои «Кресты»!

И пусть судачат глупые соседи,
Пусть кто-то обругает не со зла,
Она домой вернётся на рассвете
И никому ни слова — где была...

Но с мокрых пальцев облизнёт чернила,
И скажет, примостившись в уголке:
«Прости, но мне бумаги не хватило,
Я на твоём пишу черновике...»

<1967—1969>

Занялись пожары

Пахнет гарью.
Четыре недели
Торф сухой по болотам горит.
Даже птицы сегодня не пели,
И осина уже не дрожит.

Анна Ахматова. «Июль 1914»

Отравленный ветер гудит и дурит

Которые сутки подряд.
А мы утешаем своих Маргарит,
Что рукописи не горят!
А мы утешаем своих Маргарит,
Что — просто — земля под ногами горит,
Горят и дымятся болота —
И это не наша забота!

Такое уж время — весна не красна,
И право же, просто смешно,
Как опер в саду забивает «козла»
И смотрит на наше окно,
Где даже и утром темно.
А опер усердно играет в «козла»,
Он вовсе не держит за пазухой зла,
Ему нам вредить неохота,
А просто — такая работа.

А наше окно на втором этаже,
А наша судьба на виду...
И всё это было когда-то уже,
В таком же кромешном году!
Вот так же за чаем сидела семья,
Вот так же дымилась и тлела земля,

И гость, опьянённый пожаром,
Пророчил, что это недаром!

Пророчу и я, что земля неспроста
Кряхтит, словно взорванный лёд,
И в небе серебряной тенью креста
Недвижно висит самолёт.
А наше окно на втором этаже,
А наша судьба на крутом рубеже,
И даже для этой эпохи —
Дела наши здорово плохи!
А что до пожаров — гаси не гаси,
Кляни окаянное лето —
Уж если пошло польхаться на Руси,
То даром не кончится это!

Усни, Маргарита, за прялкой своей,
А я — отдохнуть бы и рад,
Но стелется дым, и дурит суховей,
И рукописи горят.
И опер, смешав на столе домино,
Глядит на часы и на наше окно.
Он, брови нахмутив густые,
Партнёров зовет в понятия.

И чёрные кости лежат на столе,
И кошка крадётся по чёрной земле
На вежливых сумрачных лапах.
И мне уже дверь не успеть запереть,
Чтоб книги попрягать, и воду согреть,
И смыть керосиновый запах!

<1972>

И, глядя, как пальцы шуруют в обивке,
Вольно ж тебе было, он думал, вольно!
Глотай своего якобинства опивки!
Глотай своего якобинства опивки —
Не укус ещё, но уже не вино.

Щелкунчик-скворец, простофиля-Емеля,
Зачем ты ввязался в чужое похмелье?!
На что ты истратил свои золотые?!
И скушно следили за ним понятия...

А две королевы бездарно курили
И тоже казнили себя и корили —
За лень, за небрежный кивок на вокзале,
За всё, что ему второпях не сказали...

А пальцы копались, и рвалась бумага...
И пел за стеной тенорок-бедолага:
— Рамона, моя любовь, мои мечты,
Рамона, везде и всюду только ты!..

«... И только и свету,
Что в звёздной колочей неправде...»

По улице чёрной, за «вороном чёрным»,
За этой каретой, где окна крестом,
Я буду метаться в дозоре почётном,
Я буду метаться в дозоре почётном,
Пока, обессилив, не рухну пластом!

Но слово останется, слово осталось!
Не к слову, а к сердцу приходит усталость,
И — хочешь не хочешь — слезай с карусели,
И — хочешь не хочешь — конец одиссеи!

Но нас не помчат паруса на Итаку:
В наш век на Итаку везут по этапу.
Везут Одиссея в телячьем вагоне,
Где только и счастья, что нету погони!

Где, выпив ханжи, на потеху вагону,
Блатарь-одессит распевает «Рамону»:
— Рамона, ты слышишь ветра нежный зов,
Рамона, ведь это песнь любви без слов!..

«... И некому, некому,
Некому молвить:
«Из табора улицы тёмной...»

1969

Памяти Б.Л. Пастернака ^[16]

Разобрали венки на веники,

На полчаса погрустнели...
Как гордимся мы, современники,
Что он умер в своей постели!
И терзали Шопена лабухи,
И торжественно шло прощанье...
Он не мылил петли в Елабуге
И с ума не сходил в Сучане!
Даже киевские письмэнники
На поминки его поспели.
Как гордимся мы, современники,
Что он умер в своей постели!..

И не то чтобы с чем-то за сорок —
Ровно семьдесят, возраст смертный.
И не просто какой-то пасынок —
Член Литфонда, усопший смертный!
Ах, осыпались лапы ёлочки,
Отзвенели его метели...
До чего ж мы гордимся, сволочи,
Что он умер в своей постели!

«Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела...»

Нет, никакая не свеча —
Горела люстра!

Очки на морде палача
Сверкали шустро!

А зал зевал, а зал скучал —
Мели, Емеля!
Ведь не в тюрьму и не в Сучан,
Не к высшей мере!

И не к терновому венцу
Колесованьем,
А как поленом по лицу —
Голосованьем!

И кто-то, спьяну, вопрошал:
— За что? Кого там?
И кто-то жрал, и кто-то ржал
Над анекдотом...

Мы не забудем этот смех
И эту скуку!
Мы — поимённо! — вспомним всех,
Кто поднял руку!..

«Гул затих. Я вышел на подмости.
Прислонясь к дверному косяку...»

Вот и смолкли клевета и споры,
Словно взят у вечности отгул...
А над гробом встали мародёры
И несут почётный
ка-ра-ул!

Переделкино, 4 декабря 1966

Памяти Живаго

О. Ивинской

Два вола, впряжённые в арбу,
медленно подымались на крутой
холм. Несколько грузин сопровож-
дали арбу. «Откуда вы?» — спросил я
их. — «Из Тегерана». — «Что вы
везёте?» — «Грибоеда».

*А. Пушкин.
«Путешествие в Арзрум»*

Опять над Москвою пожары,
И грязная наледь в крови.

И это уже не татары,
Похуже Мамаю — свои!

В предчувствии гибели низкой
Октябрь разыгрался с утра.
Цепочкой по Малой Никитской
Прорваться хотят юнкера.

Не надо, оставьте, отставить!
Мы загодя знаем итог!
...А снегу придётся растаять
И с кровью уплыть в водосток...

Но катится снова и снова
— Ура! — сквозь глухую пальбу,
И чёлка московского сноба
Под выстрелы пляшет на лбу!

Из окон, ворот, подворотен
Глядит, притаясь, дребедень...
А суть мы потом наворотим
И тень наведём на плетень!

И станет далёкое близким,
И кровь притворится водой,
Когда по Ямским и Грузинским
Покой обернётся бедой!

И станет преступное дерзким,
И будет обидно, хоть плачь,
Когда протрусит Камергерским
В испарине страха лихач!

Свернёт на Тверскую, к Страстному,
Трясься, матерясь и дрожа...
И это положат в основу
Рассказа о днях мятежа.

А ты, до беспамятства рада,
У Иверской купишь цветы,
Сидельцев Охотного ряда
Поздравишь с победою ты.

Ты скажешь: «Пахнуло озоном,
Трудящимся дали права!»
И город малиновым звоном
Ответит на эти слова.

О, Боже мой, Боже мой, Боже!
Кто выдумал эту игру?!
И снова погода, похоже,
Испортиться хочет к утру.

Предвестьем Всевышнего гнева
Посыплется с неба крупа,
У церкви Бориса и Глеба
Сойдётся в молчанье толпа.

И тут ты заплачешь. И даже
Пригнёшься от боли тупой.
А кто-то, нахальный и ражий,
Взмахнёт картузом над толпой!

Нахальный, воинственный, ражий
Пойдёт баламутить народ!
...Повозки с кровавой поклажей
Скрипят у Никитских ворот...

Так вот она, ваша победа!
«Заря долгожданного дня!»
Кого там везут? —

Грибоеда.

Кого отпевают? —

Меня!

<Ноябрь 1971>

Без названия ^[17]

Р. Бенъаш

Вот пришли и ко мне седины.

Распеваётся вороньё!
«Не судите, да не судимы...» —
Заклинает меня враньё.

Ах, забвенья глоток студёный,
Ты охотно напомнишь мне,
Как роскошный герой Будённый
На роскошном скакал коне.

Так давайте ж, друзья, утроим
Наших сил золотой запас!
«Нас не трогай, и мы не тронем...» —
Это пели мы, и не раз!..

«Не судите!»
Смирней, чем Авель,
Падай в ноги за хлеб и кров...
Ну, писал там какой-то Бабель,
И не стало его — делов!

«Не судите!»
И нет мерила,
Всё дозволено, кроме слов...
Ну, какая-то там Марина
Захлебнулась в петле — делов!

«Не судите!»
Малойте зори,
Забивайте своих «козлов»...

Ну, какой-то там чайник в зоне
Всё о Федре кричал — делов!

«Я не увижу знаменитой «Федры»
В старинном, многоярусном театре...»
...Он не увидит знаменитой «Федры»
В старинном, многоярусном театре!

Пребывая в туманной чёрности,
Обращаюсь с мольбой к историку:
От великой своей учёности
Удели мне хотя бы толику!

Я ж пути не ищу раскольного,
Я готов шагать по законному!
Успокой меня, беспокойного,
Растолкуй ты мне, бестолковому!

Если правда у нас на знамени,
Если смертной гордимся годностью,
Так чего ж мы в испуге замерли
Перед ложью и перед подлостью?

А историк мне отвечает:
«Я другой такой страны не знаю...»

Будьте ж счастливы, голосуйте,
Маршируйте к плечу плечом!
Те, кто выбраны, те и судьи.
Посторонним вход воспрещен!

Ах, как быстро, несусветимы,
Дни пошли нам виски сидеть...
«Не судите, да не судимы...»
Так вот, значит, и не судить?!

Так вот, значит, и спать спокойно?
Опускать пятаки в метро?
А судить и рядить — на кой нам?!
«Нас не трогай, и мы не тро...»

Нет! Презренна по самой сути
Эта формула бытия!
Те, кто выбраны, те и судьи?
Я не выбран. Но я — судья!

<1967?>

Памяти С. М. Михозлса

Ни гневом, ни порицаньем

Давно уж мы не бряцаем:
Здороваемся с подлецами,
Раскланиваемся с полицаем.
Не рвёмся ни в бой, ни в поиск —
Всё праведно, всё душевно...
Но помни: отходит поезд!
Ты слышишь? Уходит поезд
Сегодня и ежедневно.

Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй!

А мы балагурим, а мы куролесим,
Нам недругов лесть, как вода из колодца!
А где-то по рельсам, по рельсам,
по рельсам —
Колёса, колёса, колёса, колёса...

Такой у нас нрав спокойный,
Что без никаких стараний
Нам кажется путь окольный
Кратчайшим из расстояний.
Оплачен страховки полис,
Готовит обед царевна...
Но помни: отходит поезд,
Ты слышишь?! Уходит поезд
Сегодня и ежедневно.

Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй!

Сто первый псалом ^[19]

Б. Чичибабину

Я вышел на поиски Бога.

В предгорье уже рассвело.
А нужно мне было немного —
Две пригоршни глины всего.

И с гор я спустился в долину,
Развёл над рекою костёр
И красную вязкую глину
В ладонях размял и растёр.

Что знал я в ту пору о Боге,
На тихой заре бытия?
Я вылепил руки и ноги,
И голову вылепил я.

И, полон предчувствием смутным,
Мечтал я, при свете огня,
Что будет Он добрым и мудрым,
Что Он пожалеет меня!

Когда ж он померк, этот длинный
День страхов, надежд и скорбей, —
Мой Бог, сотворённый из глины,
Сказал мне:
— Иди и убей!..

И канули годы.
И снова —
Всё так же, но только грубей,
Мой Бог, сотворённый из слова,

Твердил мне:
— Иди и убей!

И шёл я дорогою праха,
Мне в платье впивался репей,
И Бог, сотворённый из страха,
Шептал мне:
— Иди и убей!

Но вновь я печально и строго
С утра выхожу за порог —
На поиски доброго Бога.
И — ах, да поможет мне Бог!

15 января 1971

Мы не хуже Горация

Вы такие нестерпимо ражие

И такие, в сущности, примерные.
Всё томят вас бури вернисажные,
Всё шатают паводки премьерные.
Ходите, тишайшие, в неистовых,
Феями цензурными заняньканы!..
Ну а если — ни премьер, ни выставок?
Десять метров комната в Останкино,
Где улыбкой стражники-наставники
Не сияют благостно и святочно,
Но стоит картина на подрамнике, —
Вот и всё!
...А этого достаточно.

Есть — стоит картина на подрамнике,
Этого достаточно!

Осудив и совесть, и бесстрашие
(Вроде не заложить и не купить их),
Ах, как вы присутствуете, ражие,
По карманам рассовавши кукиши!
Что ж, зовите небылицы былями,
Окликайте стражников по имени!..
Бродят между ражими Добрынями
Тунеядцы Несторы и Пимены.
Их имён с эстрад не рассиропили,
В супер их не тискают облаточный:
«Эрика» берёт четыре копии,
Вот и всё!
... А этого достаточно.

Пусть пока всего четыре копии —
Этого достаточно!

Время сеет ветры, мечет молнии,
Создаёт советы и комиссии,
Что ни день — фанфарное безмолвие
Славит многодумное безмыслие.
Бродит Кривда с полосы на полосу,
Делится с соседской Кривдой опытом!..
Но гремит — напетое вполголоса,
Но гудит — прочитанное шёпотом.
Ни партера нет, ни лож, ни яруса,
Клака не безумствует припадочно, —
Есть магнитофон системы «Яуза»,
Вот и всё!
...А этого достаточно.

Есть — стоит картина на подрамнике!
Есть — отстуканы четыре копии!
Есть магнитофон системы «Яуза»!
Этого достаточно!

<1966?>

Уходят друзья^[20]

Памяти Фриды Вигдоровой

На последней странице газет печатаются объявления о смерти, а на первой — статьи, сообщения и покаянные письма.

Уходят, уходят, уходят друзья,

Одни — в никуда, а другие — в князья.
В осенние дни и в весенние дни,
Как будто в году воскресенья одни...
Уходят, уходят, уходят,
Уходят мои друзья!

Не спешите сообщить по секрету:
Я не верю вам, не верю, не верю!
Но приносят на рассвете газеты,
И газета подтверждает потерю.

Знать бы загодя, кого сторониться,
А кому была улыбка — причастьем!
Есть — уходят на последней странице,
Но которые на первых — те чаще...

Уходят, уходят, уходят друзья,
Каюк одному, а другому — стезя.
Такой по столетию ветер гудит,
Что косит своих и чужих не щадит...
Уходят, уходят, уходят,
Уходят мои друзья!

Мы мечтали о морях-океанах,
Собирались напрямиком на Гавайи!
И, как спятивший трубач, спозаранок
Уцелевших я друзей созываю.

Я на ощупь, и на вкус, и по весу
Учиняю им поверку... Но вскоре
Вновь приносят мне газету-повестку
К отбыванию повинности горя.

Уходят, уходят, уходят друзья!
Уходят, как в ночь эскадрон на рысях.
Им право — не право, им совесть — пустяк,
Одни наплюют, а другие простят!
Уходят, уходят, уходят,
Уходят мои друзья!

И когда потеря громом крушенья
Оглушила, полоснула по сердцу,
Не спешите сообщить в утешенье,
Что немало есть потерь по соседству.

Не дарите мне беду, словно сдачу,
Словно сдачу, словно гривенник стёртый!
Я ведь всё равно по мёртвым не плачу —
Я ж не знаю, кто живой, а кто мёртвый.

Уходят, уходят, уходят друзья,
Одни — в никуда, а другие — в князья.
В осенние дни и в весенние дни,
Как будто в году воскресенья одни...
Уходят, уходят, уходят,
Уходят мои друзья!..

<1963?>

Летят утки

Л. Пинскому

С севера, с острова Жестева,

Птицы летят,
Шестеро, шестеро, шестеро
Серых утят,
Шестеро, шестеро к югу летят...

Хватит хмуриться, хватит злобиться,
Ворошить вороха былого!..
Но когда по ночам бессонница —
Мне на память приходит снова:

Мутный за тайгу
Ползёт закат,
Строем на снегу
Пятьсот зэка.

Ветер мокрый хлестал мочалкою,
То накатывал, то откатывал,
И стоял вертухай с овчаркою
И такую им речь откалывал:

«Ворон, растудыть, не выключет
Глаз, растудыть, ворону,
Но ежели кто закосит —
Тот мордой в снег.
И прошу, растудыть, запомнить,
Что каждый шаг в сторону
Будет, растудыть, рассматриваться
Как, растудыть, побег!»

Вьюга полярная спятила —
Бьёт наугад!
А пятеро, пятеро, пятеро
Дальше летят,
Пятеро, пятеро к югу летят...

Ну а, может, и впрямь бессовестно
Повторяться из слова в слово?!
Но когда по ночам бессонница —
Мне на память приходит снова:

Не косят, не корчатся
В снегах зэка —
Разговор про творчество
Идёт в ЦК.

Репортёры сверкали линзами,
Кремем бритвенным пахла харя,
Говорил вертухай прилизанный,
Не похожий на вертухая:

«Ворон, извиняюсь, не выключнет
Глаз, извиняюсь, ворону,
Но все ли сердцем усвоили,
Чему учит нас Имярек?
И прошу, извиняюсь, запомнить,
Что каждый шаг в сторону
Будет, извиняюсь, рассматриваться
Как, извиняюсь, побег!»

Грянул прицельно с подветренной
В сердце заряд,
А четверо, четверо, четверо
Дальше летят!..

И если долетит хоть один,
Если даже никто не долетит,
Всё равно стоило,
Всё равно надо было лететь!..

Всё не вовремя ^[21]

В.Т. Шаламову

А ты стучи, стучи, а тебе Бог простит,

А начальнички тебе, Лёха, срок скостят!
А за Окой сейчас небось коростель свистит,
А у нас на Тайшете ветра свистят.
А месяц май уже, а всё снега белы,
А вертухаевы на снегу следы,
А что полнормы — тьфу, это полбеды,
А что песню спел — полторы беды!

А над Окой летят гуси-лебеди,
А за Окой свистит коростель,
А тут по наледи курвы-нелюди
Двух зэка ведут на расстрел!

А первый зэка, он с Севастополя,
Он там, чёрт чудной, Херсонес копал,
Он копал, чумак, что ни попадя,
И на полный срок в лагеря попал.
И жену его, и сынка его,
И старуху мать, чтоб молчала, бляды!
Чтобы знали все, что закаяно
Нашу родину сподниза копать!

А в Крыму теплынь, в море сельди,
И миндаль небось подоспел,
А тут по наледи курвы-нелюди
Двух зэка ведут на расстрел!

А второй зэка — это лично я,
Я без мамы жил, я без папы жил,

Моя б жизнь была преотличная,
Да я в шухере стукаря пришил!
А мне сперва вышкá, а я в раскаянье,
А уж в лагере — корешей внавал,
И на кой я пёс при Лёхе-Каине
Чумаку подпел «Интернационал»?!

А в караулке пьют с рафинадом чай,
А вертухай идёт, весь сопрел.
Ему скучно, чай, и несподручно, чай,
Нас в обед вести на расстрел!

<1964?>

В майский вечер, пронзительно дымный,

Всех побегов герой, всех погонь,
Как он мчал, бесноватый и дивный,
С золотыми копытами конь!

И металась могучая грива
На ветру языками огня,
И звенела цыганская гривна,
Заплетённая в гриву коня.

Воплощенье весёлого гнева,
Не крещённый позорным кнутом,
Как он мчал — всё налево, налево
И скрывался из виду потом.

Он, бывало, нам снился ночами,
Как живой — от копыт до седла...
Впрочем, всё это было в начале,
А начало прекрасно всегда.

Но приходит с годами прозреньё,
И томит наши души оно,
Словно горькое, трезвое зелье
Подливает в хмельное вино.

Постарели мы и полысели,
И погашен волшебный огонь.
Лишь кружит на своей карусели
Сам себе опостылевший конь!

Ни печали не зная, ни гнева,
По-собачьи виляя хвостом,
Он кружит — всё налево, налево
И направо, направо потом.

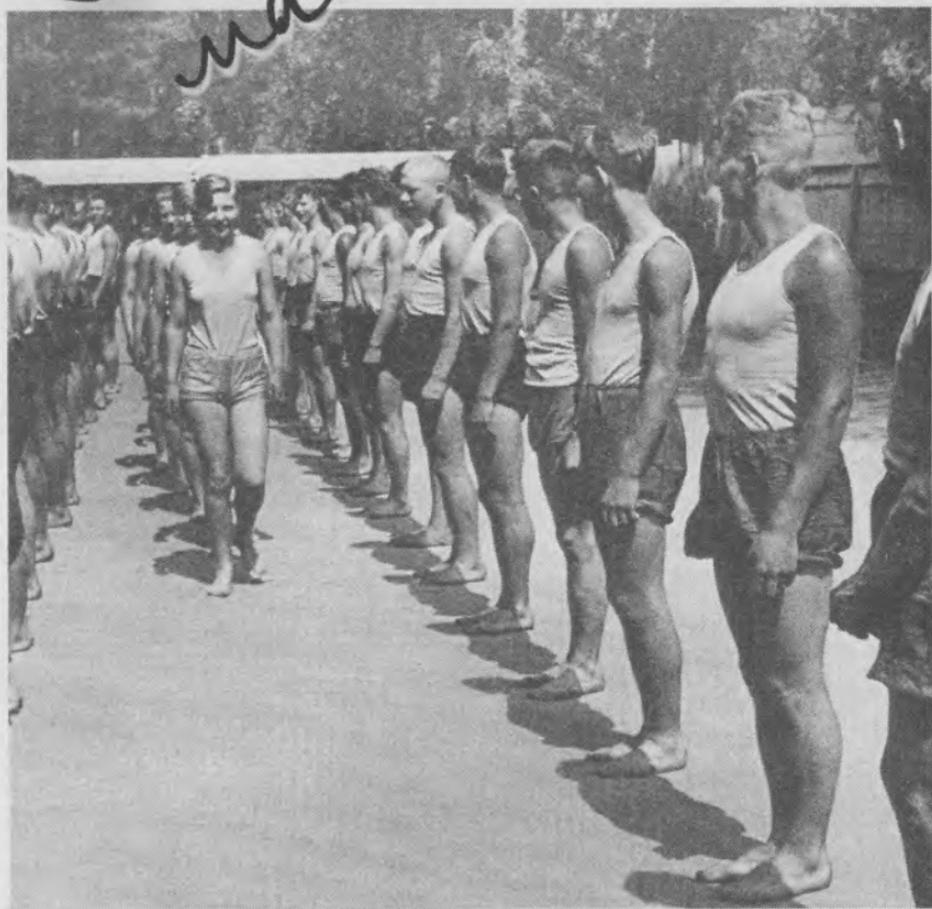
И унылый сморчок-бедолага,
Медяками в кармане звеня,
Карусельщик — майор из ГУЛАГа —
Знай гоняет по кругу коня!

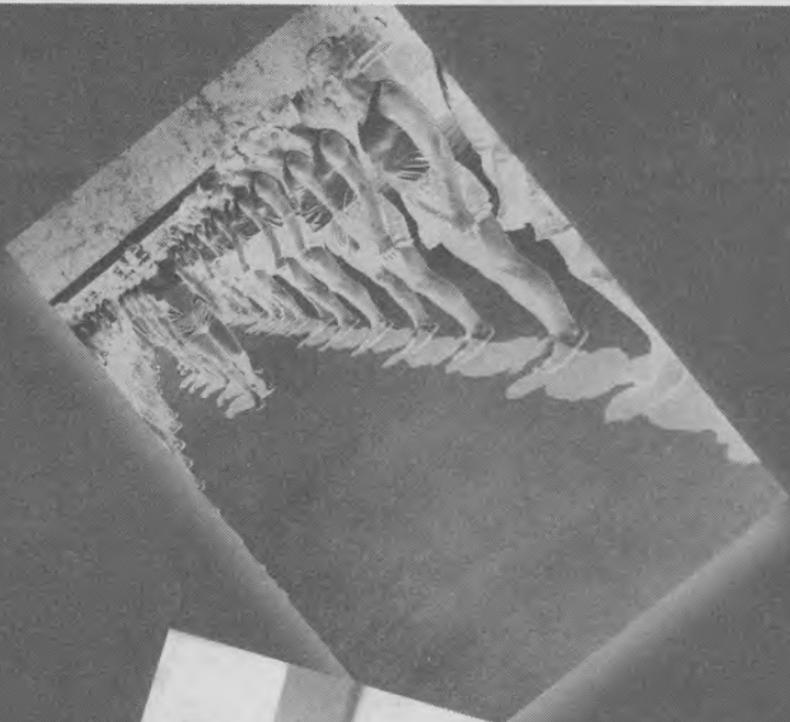
В круглый мир, намалёванный кругло,
Круглый вход охраняет конвой...
И топчет дурацкая кукла,
И кружит деревянная кукла,
Притворяясь живой.

<1971>



«Спрашиваем,
набрели...»





Спрашивайте, мальчики!

Спрашивает мальчик: почему?

Спрашивает мальчик: почему?
Двести раз и триста: почему?
Тучка набегает на чело.
А папаша режет ветчину,
А папаша режет ветчину,
Он сопит и режет ветчину
И не отвечает ничего.

Снова замаячили боль, боль,
Снова рвутся мальчики в пыль, в бой!
Вы их не пугайте, не отваживайте,
Спрашивайте, мальчики, спрашивайте,
Спрашивайте, мальчики, спрашивайте,
Спрашивайте, спрашивайте!

Спрашивайте: как и почему?
Спрашивайте: как и почему?
Как, и отчего, и почему —
Спрашивайте, мальчики, отцов!
Сколько бы ни резать ветчину,
Сколько бы ни резать ветчину,
Сколько бы ни резать ветчину, —
Надо ж отвечать, в конце концов!

Но в зрачке-хрусталике — вдруг муть,
А старые сандалики — ух, жмут!

Ну и не жалейте их, снашивайте!
Спрашивайте, мальчики, спрашивайте!
Спрашивайте, мальчики, спрашивайте,
Спрашивайте, спрашивайте!

<1966?>

Несня про майора Чистова

Посвящается... доблестным органам Комитета государственной безопасности, в благодарность за их вечные опеку и внимание.

Я спросонья вскочил — патлат,

Я проснулся, а сон за мной,
Мне приснилось, что я — атлант,
На плечах моих — шар земной!

И болит у меня спина,
То мороз по спине, то жар,
И, с устатку — пьяней пьяна, —
Я роняю тот самый шар!

И, ударившись об Ничто,
Покатился он, как звезда,
Через Млечное решето
В бесконечное Никуда!

И так странен был этот сон,
Что ни дочери, ни жене
Не сказал я о том, что он
Этой ночью приснился мне!

Я и сам отогнал ту боль,
Будто наглухо дверь забил,
И к часам десяти ноль-ноль
Я и вовсе тот сон забыл.

Но в двенадцать ноль-ноль часов
Простучал на одной ноге

На работу майор Чистов,
Что заведует буквой «Г»!

И открыл он моё досье,
И на чистом листе, педант,
Написал он, что мне во сне
Нынче снилось, что я атлант!..

<1966?>

Вальс-баллада про тещу из Иванова ^[23]

Ох, ему и всыпали по первое...

По дерьму, спелёнутого, волоком!
Праведные суки, брызжа пеною,
Обзывали жуликом и Поллоком!
Раздавались выкрики и выпады,
Ставились искусно многоточия,
А в конце, как водится, оргвыводы:
Мастерская, договор и прочее...

Он припёр вещички в гололедицу
(Все в один упрятал узел драненький)
И свалил их в угол, как поленицу, —
И холсты, и краски, и подрамники.
Томка вмиг слетала за «Кубанскою»,
То да сё, яичко, два творожничка...
Он грамм сто принял, заел колбаскою
И сказал, что полежит немножечко.

Выгреб тайно из пальтишка рваного
Нембутал, прикопленный заранее...
А на кухне теща из Иванова,
Ксения Павловна, вела дознание.
За окошком ветер мял акацию,
Билось чьё-то сизое исподнее...
— А за что ж его? — Да за абстракцию.
— Это ж надо! А трезвону подняли!

Он откуда родом? — Он из Рыбинска.
— Что рисует? — Всё натуру разную.
— Сам еврей? — А что? — Сиди не рыпайся!

Вон у Лидки — без ноги да с язвою...
Курит много? — В день полпачки «Севера».
— Лидкин, дьявол, курит вроде некрута,
А у них ещё по лавкам семеро...
Хорошо живёте? — Лучше некуда!..

— Лидкин, что ни вечер, то с приятелем,
Заимела, дура, в доме ворога...
Значит, окаянный твой с понятием:
В день полпачки «Севера» — недорого.
Пить-то пьёт? — Как все, под воскресенье.
— Лидкин пьет, вся рожа окорябана!
...Помолчали, хрустнуло печение,
И, вздохнув, сказала тёща Ксения:
— Ладно уж, прокормим окаянного...

Переделкино, 25 ноября 1966

Песня-баллада про генеральскую дочь ^[24]

М. Фигнер

Он был титулярный советник,
Она генеральская дочь...

Ностелилась я и в печь — уголёк,

Накрошила огурцов и мяса,
А он явился, ноги вынул и лёг —
У мадам у его — месяца.

А он и рад тому, сучок, он и рад,
Скушал водочки — и в сон наповал!..
А там — в России — где-то есть Ленинград,
А в Ленинграде том — Обводный канал.

А там мамонька жила с папонькой,
Называли меня «лапонькой»,
Не считали меня лишнею,
Да им дали обойм высшую!

Ой, Караганда, ты, Караганда!
Ты угольком даёшь на-гора года!
Дала двадцать лет, дала тридцать лет,
А что с чужим живу, так своего-то нет!
Кара-ган-да...

А он, сучок, из гулевых шоферов,
Он барыга, и калымщик, и жмот,
Он на торговской даёт будь здоров, —
Где за рупь, а где какую прижмёт!

Подвозил он раз меня в «Гастроном»,
Даже слова не сказал, как полез,
Я бы в крик, да на стекле ветровом
Он картиночку приклеил, подлец!

А на картиночке — площадь с садиком,
А перед ней камень с Медным Всадником,
А тридцать лет назад я с мамой в том саду...
Ой, не хочу про то, а то я выть пойду!

Ой, Караганда, ты, Караганда!
Ты мать и мачеха, для кого когда,
А для меня была так всегда нежна,
Что я самой себе стала не нужна!
Кара-ган-да!..

Он проснулся, закурил «Беломор»,
Взял пинжак, где у него кошелёк,
И прошлёпал босиком в коридор,
А вернулся — и обратно залёг.

Он сопит, а я сижу у огня,
Режу мелко на водку лучок...
А ведь всё-тки он жалеет меня,
Всё-тки ходит, всё-тки дышит, сучок!

А и спи, проспись ты, моё золотце,
А слезы — что ж, от слез — хлеб не солится,
А что мадам его крутит мордою,
Так мне плевать на то, я не гордая...

Ой, Караганда, ты, Караганда!
Если тут горда, так и на кой годна!
Хлеб насущный наш дай нам, Боже, днесь,
А что в России есть, так то не хуже здесь!
Кара-ган-да!..

Что-то сон нейдет, был, да вышел весь,
А завтра делать дел — прорву адскую!

Завтра с базы нам сельдь должны завезть,
Говорили, что ленинградскую.

Я себе возьму и кой-кому раздам,
Надо ж к празднику подзаправиться!
А пяток сельдей я пошлю мадам,
Пусть покушает, позабавится!

Пусть покушает она, дура жалкая,
Пусть не думает она, что я жадная,
Это, знать, с лучка глазам колется,
Голова на низ чтой-то клонится...

Ой, Караганда, ты, Караганда!
Ты угольком даёшь на-гора года,
А на картиночке — площадь с садиком,
А перед ней камень...
Ка-ра-ган-да!..

<1966>

Вальс Его Величества, или Размышления о том, как пить на троих

Не квасом земля полита,

В каких ни пытай краях:
Поллитра — всегда поллитра
И стоит везде
Трояк!

Поменьше иль чуть побольше —
Копейки, какой рожон?!
А вот разделить по-Божьи —
Тут очень расчёт нужен!

Один — размечает тонко,
Другой — на глазок берёт,
И ежели кто без толка,
Всегда норовит —
Вперёд!

Оплаченный процент отпит,
И — Вася, гуляй, беда!
Но тот, кто имеет опыт,
Тот крайним стоит всегда.

Он — зная свою отметку —
Не пялит зазря лицо.
И выпьет он под конфетку,
А чаще — под сукнецо.

Но выпьет зато со вкусом,
Издаст подходящий стон
И даже покажет знаком,
Что выпил со вкусом он!

И — первому — по затылку
Он двинет, шутя, пинка.
А после
Он сдаст бутылку
И примет ещё пивка.

И где-нибудь, среди досок,
Блаженный, приляжет он.
Поскольку —
Культурный досуг
Включает здоровый сон.

Он спит,
А над ним планеты —
Немеркнувший звездный тир.
Он спит,
А его полпреды
Варганят войну и мир.

По всем уголкам планеты,
По миру, что сном объят,
Развозят Его газеты,
Где славу Ему трубят!

И грозную славу эту
Признали со всех сторон!
Он всех призовет к ответу,
Как только проспится Он!

Куется Ему награда,
Готовит харчи Нарпит...
Не трожьте Его!
Не надо —
Пускай человек поспит!..

<1966?>

Несня про несчастливых волшебников, или «Эйн, цвей, дрей!»^[25]

*Ж*или-были несчастливые волшебники,

И учёными считались, и спесивыми,
Только самые волшебные учебники
Не могли их научить, как быть
счастливыми.

И какой бы ни пошли они дорогою —
Всё кончалось то бедою, то морокою!

Но когда маэстро Скрипочкин —
Ламца-дрица, оп-ца-ца! —
И давал маэстро Лампочкин
Синий свет из-за кулис, —
Выходили на просцениум
Два усатых молодца,
И восторженная публика
Им кричала: «Браво, бис!»

В никуда взлетали голуби,
Превращались карты в кубики,
Гасли свечи стеариновые —
Зажигались фонари!
Эйн, цвей, дрей!
И отрезанные головы
У желающих из публики,
Улыбаясь и подмигивая,
Говорили: «Раз, два, три!»,
Что в дословном переводе означает:
«Эйн, цвей, дрей!»

Ну а после, утомлённые до сизости,
Не в наклеенных усах и не в парадности,
Шли в кафе они куда-нибудь поблизости,
Чтоб на время позабыть про неприятности,
И заказывали ужин два волшебника —
Два стакана молока и два лапшевника.

А маэстро Балалаечкин —
Ламца-дрица, оп-ца-ца! —
И певица Доремикина
Что-то пела про луну!
И сидели очень грустные
Два усталых мудреца
И тихонечко, задумчиво
Говорили: «Ну и ну!»

А вокруг гудели парочки,
Пили водку и шампанское,
Пил маэстро Балалаечкин
Третью стопку на пари —
Эйн, цвей, дрей!
И швырял ударник палочки,
А волшебники, с опаскою
Наблюдая это зрелище,
Говорили: «Раз, два, три!»,
Что, как вам уже известно, означает:
«Эйн, цвей, дрей!»

Так и шли они по миру безучастному,
То проезжею дорогой, то обочиной...
Только тут меня позвали к Семичастному,
И осталась эта песня неоконченной.
Объяснили мне, как дважды два учебники,
Что волшебники — счастливые
волшебники!

И не зря играет музыка —
Ламца-дрица, оп-ца-ца!
И не зря чины и звания —

Вроде ставки на кону,
И не надо бы, не надо бы
Ради красного словца
Сочинять, что не положено
И не нужно никому!

Я хотел бы стать волшебником,
Чтоб ко мне слетались голуби,
Чтоб от слов моих, таинственных,
Зажигались фонари —
Эйн, цвей, дрей!
Но, как пёс, гремя ошейником,
Я иду, повесив голову,
Не туда, куда мне хочется,

А туда, где:
— Ать — два — три!
Что ни капли не похоже
На волшебное:
«Эйн, цвей, дрей!»

<1966>

Баллада о том, как одна принцесса раз в два месяца приходила поужинать в ресторан «Динамо»^[26]

И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна...

А. Блок

Кивал с эстрады ей трубач,
Сипел трубой, как в насморке,

Он и прозвал ее, трепач,
Принцессой с Нижней Масловки,
Он подтянул, трепач, штаны
И выдал румбу с перчиком,
А ей, принцессе, хоть бы хны,
Едва качнула плечиком,
Мол, только пальцем поманю —
Слетятся сотни соколов,
И села, и прочла меню,
И выбрала — бефстроганов.

И все бухие пролетарии,
Все тунеядцы и жулье,
Как на комету в планетарии,
Глядели, суки, на нее...

Румба, та-да-ра да-ра-да-ра-да,
Румба, та-да-ра-да-ра-да-ра!

Бабье вокруг, издавши стон,
Пошло махать платочками,
Она ж, как леди Гамильтон,
Пила ситро глоточками.
Бабье вокруг — сплошной собес! —

Воздев, как пики, вилочки,
Рубают водку под супец,
Шампанское под килечки.
И, сталь коронок заголя,
Расправой бредят скорою —
Ах, эту б дочку короля
Шарахнуть бы «Авророю»!

И все бухие пролетарии,
Смирив идейные сердца,
Готовы к праведной баталии
И к штурму Зимнего дворца!

Румба, та-да-ра-да-ра-да-ра-да,
Румба, та-да-ра-да-ра-да-ра!

Душнеет в зале, как в метро,
От пергидрольных локонов.
Принцесса выпила ситро
И съела свой бефстроганов.
И вновь таращится бабье
На стать её картинную —
На узком пальце у нее
Кольцо за два с полтиною.
А время подлое течет,
И, зал пройдя, как пасеку,
«Шестерка» ей приносит счет —
И всё, и крышка празднику!

А между тем пила и кушала,
Вложив всю душу в сей процесс,
Благополучнейшая шушера,
Не признающая принцесс.

Румба, та-да-ра-да-ра-да-ра-да,
Румба, та-да-ра-да-ра-да-ра!

Держись, держись, держись, держись,
Крепись и чисти перышки!

Такая жизнь — плохая жизнь —
У современной Золушки,
Не ждет на улице ее
С каретой фея крестная.
Жует бабье, сопит бабье,
Придумывает грозное!
А ей не царство на веку —
Посулы да побасенки,
А там — вались по холодку,
«Принцесса» с Нижней Масловки!

И вот она идет меж столиков
В своем костюмчике джерси.
Ах, ей далеко до Сокольников,
Ах, ей не хватит на такси!

Румба, та-да-ра-да-ра-да-ра-да,
Румба, та-да-ра-да-ра-да-ра!

<1967>

Канарейка

Кто разводит безгласых рыбок,

Кто, забавник, свистит в свирельку, —
А я поеду на Птичий рынок
И куплю себе канарейку.

Все полста отвалю, не гривну,
Принесу её, суку, на дом,
Обучу канарейку гимну,
Благо слов никаких не надо!

Соловей, соловей, пташечка,
Канареечка жалобно поёт!
Канареечка, канарейка,
Птица малая, вроде мухи.

А кому судьба — карамелька,
А кому она — одни муки.
Не в Сарапуле и не в Жиздре —
Жил в Москве я, в столице мира,

А что видел я в этой жизни,
Окромя верёвки да мыла?
Соловей, соловей, пташечка,
Канареечка жалобно поёт!

Ну, сносил я полсотни тапок,
Был загубленным, был спасённым...
А мне, глупому, лучше б в табор,
Лошадей воровать по сёлам.

Прохиндей, шарлатан, провидец —
И в весёлый час под забором
Я на головы всех правительств
Положил бы тогда с прибором!

Соловей, соловей, пташечка,
Канареечка жалобно поёт!

<1967?>

Абсолютно ерундовая песня

Собаки бывают дуры

И кошки бывают дуры,
Но дурость не отражается
На стройности их фигуры.

Не в глупости и не в дикости —
Все дело в статях и в прикусе:
Кто стройные — те достойные,
А прочие — на-ка, выкуси!

И важничая, как в опере,
Шагают суки и кобели,
Позвякивают медальками,
Которыми их сподобили.

Шагают с осанкой гордою,
К любому случаю годною,
Посматривают презрительно
На тех, кто не вышел мордою.

Рожденным медаленосителями
Не быть никогда просителями,
Самой судьбой им назначено
В собачьем сидеть президиуме.

Собаки бывают дуры
И кошки бывают дуры,
И им по этой причине
Нельзя без номенклатуры.

<1967?>

Баллада о сознательности

Э. Канделю

Егор Петрович Мальцев

Хворает, и всерьёз:
Уходит жизнь из пальцев,
Уходит из желез,

Из прочих членов тоже
Уходит жизнь его,
И вскорости, похоже,
Не будет ничего.

Когда нагрянет свора
Савёловских родных,
То что же от Егора
Останется для них?

Останется пальтишко,
Подушка, чтобы спать,
И книжка, и сберкнижка
На девять двадцать пять.

И таз, и две кастрюли,
И рваный подписной,
Просроченный в июле
Единый проездной.

И всё. И нет Егора!
Был человек — и нет!
И мы об этом скоро
Узнаем из газет.

Пьют газировку дети
И пончики едят,
Ему ж при диабете —
Всё это чистый яд!

Вот спит Егор в постели,
Почти что невесом,
И дышит еле-еле,
И смотрит дивный сон:

В большом красивом зале,
Резону вопреки,
Лежит Егор, а сзади
Знамёна и венки.

И алым светом залит
Большой его портрет,
Но сам Егор не знает,
Живой он или нет.

Он смаргивает мошек,
Как смаргивал живой,
Но он вращать не может
При этом головой.

И дух по залу спёртый,
Как в общей душевой,
И он скорее мёртвый,
Чем всё-таки живой.

Но хором над Егором
Краснознамённый хор
Краснознамённым хором
Поёт: «Вставай, Егор!

Вставай, Егор Петрович,
Во всю свою длину,
Давай, Егор Петрович,
Не подводи страну!

Центральная газета
Оповестила свет,
Что больше диабета
В стране Советской нет!

Пойми, что с этим, кореш,
Нельзя озорничать,
Пойми, что ты позоришь
Родимую печать!

Вставай, Егор Петрович,
Во всю свою длину,
Давай вставай, Петрович,
Загладь свою вину!»

И сел товарищ Мальцев,
Услышав эту речь,
И жизнь его из пальцев
Не стала больше течь.

Егор трусы стирает,
Он койку застелил,
И тает, тает, тает
В крови холестерин...

По площади по Трубной
Идёт он, милый друг,
И всё ему доступно,
Что видит он вокруг!

Доступно кушать сласти
И газировку пить...
Лишь при Советской власти
Такое может быть!

<1967>

Желание славы

...Что там услышишь из песен твоих?
Чудь начудила, да Меря намерила
Гатей, дорог, да столбов верстовых.

А. Блок

Непричастный к искусству,

Не допущенный в храм, —
Я пою под закуску
И две тысячи грамм.
Что мне пениться пеной
У беды на краю?
Вы налейте по первой,
А уж я вам спою!
А уж я позабавлю —
Вспомню Мерю и Чудь,
И стыда ни на каплю,
Мне не стыдно ничуть!
Спину вялую сгорбя,
Я ж не просто хулу,
А гражданские скорби
Сервирую к столу!

— Как живёте, караси?
— Хорошо живём, мерси!

...Заходите, люди добрые!
(Боже правый, помощи!)
Будут песни, будут сдобные,
Будут с мясом пироги!
Сливы-ягоды солёные,
Выручайте во хмелю...
Вон у той — глаза зелёные,

Я зелёные люблю!
Я шарахну рюмку первую,
Про запас ещё налью,
Песню новую, непетую
Для почина пропою:

«Справа койка у стены, слева койка,
Ходим вместе через день облучаться...
Вертухай и бывший «номер такой-то» —
Вот где снова довелось повстречаться!
Мы гуляем по больничному садику,
Я курю, а он стоит на атасе,
Заливаем врачу-волосатику,
Что здоровье — хоть с горки катайся!
Погуляем полчаса с вертухаем,
Притомимся — и стоим, отдыхаем.
Точно так же мы «гуляли» с ним в Вятке,
И здоровье было тоже в порядке!
Справа койка у стены, слева койка...»

Опоздавшие гости
Прерывают куплет.
Их вбивают, как гвозди,
Ибо мест уже нет.
Мы их лиц не запомним,
Мы как будто вдвоём,
Мы по новой наполним
И в охотку допьём.
Ах, в мундире картошка,
Разлюбезная Русь!
И стыжусь я... немножко,
А верней — не стыжусь!
Мне, как гордое право,
Эта горькая роль, —
Эта лёгкая слава
И привычная боль!

— Как жуёте, караси?
— Хорошо жуём, мерси!

Колокольчики-бубенчики,
Пьяной дурости хамёж!
Где истцы, а где ответчики —
Нынче сразу не поймёшь.
Все подряд истцами кажутся,
Всех карал единый Бог,
Все одной зелёнкой мажутся —
Кто от пуль, а кто от блох...
Ладно, пейте, рюмки чистые,
Помолчите только впредь.
Тише, черти голосистые!
Дайте ж, дьяволы, допеть:

«Справа койка у стены, слева койка,
А за окнами февральская вьюга.
Вертухай и бывший «номер такой-то» —
Нам теперь невмоготу друг без друга.
И толкуем мы о разном и ясном —
О больнице и больничном начальстве,
Отдаём предпочтение язвам,
Помереть хотим в одночасье.
Мы на пенсии теперь, на покое,
Наши койки, как суда на приколе,
А под ними на паркете из липы —
Наши тапочки, как дохлые рыбы.
Спит больница, тишина, всё в порядке...
И сказал он, приподнявшись на локте:
— Жаль я, сука, не добил тебя в Вятке,
Больно ловки вы, зэка, больно ловки...
И упал он, и забулькал, заойкал,
И не стало вертухая, не стало...
И поплыла вертухаева койка
В те моря, где ни конца, ни начала.
Я простынкой вертухая накрою...

Всё снежок идёт, снежок над Москвою,
И сынок мой по тому ль по снежочку
Провожает вертухаеву дочку...»

...Голос глохнет, как в вате,
Только струны бренчат.
Все — приличия ради —
С полминуты молчат.
А потом, под огурчик
Пропустив стопаря:
— Да уж, песня — в ажурчик,
Приглашали не зря!
— Да уж, песенка в точку,
Не забыть бы стишок —
Как он эту вот дочку
Волокёт на снежок!..

Незнакомые рожи
Мокнут в пьяной тоске...
И стыжусь я до дрожи,
И желвак на виске!..

— Как стучите, караси?
— Хорошо стучим, мерси!

...Всё плывет, и всё качается.
Добрый вечер! Добрый день!
Вот какая получается,
Извините, дребедень.
«Получайник», «получайница», —
Больно много карасей!
Вот какая получается,
Извините, карусель.

Я сижусь, гитарой тренькаю.
Хохот, грохот, гогот, звон...
И сосед-стукач за стенкою
Прячет в стол магнитофон.

Схарда с буквами

В Петрограде, в Петербурге,

В Ленинграде, на Неве,
В Колокольном переулке
Жили-были А, И, Б.
А — служило,
Б — служило,
И — играло на трубе.
И играло на трубе,
Говорят, что так себе,
Но его любили очень
И ценили А и Б.

Как-то в вечер беспокойный
Тяжко пенилась река,
И явились в Колокольный
Три сотрудника ЧК.
А — забрали,
Б — забрали,
И — не тронули пока.
Через год домой к себе
Возвратились А и Б,
И по случаю такому
И играло на трубе.

Но прошёл слушок окольный,
Что, мол, снова быть беде,
И явились в Колокольный
Трое из НКВД.
А — забрали,
Б — забрали,

И — забрали и т. д.
Через десять лет зимой
А и Б пришли домой,
И домой вернулось тоже.
Все сказали: «Боже мой!»

Пару лет в покое шатком
Проживали А, И, Б,
Но явились трое в штатском
На машине КГБ.
А, И, Б они забрали,
Обозвали всех на «б».
А — пропало навсегда,
Б — пропало навсегда,
И — пропало навсегда,
Навсегда и без следа!

Вот у этих букв какая
Вышла в жизни чехарда!

<1968?>

Не фарфоровые бомбончики,
А пластиночки с речью Сталина,
Ровно десять штук — и все в альбомчике.

А я стреляный, а я с опытом!
А я враз понял — пропал пропадом!
Пропал пропадом!

Тем речам цена — ровно тридцать «рэ»!
(И принёс же чёрт сучку-пташечку!)
Ну, какой мне смысл на такой муре
Наблюдать посла небо в шашечку?!
Вот и вникните в данный факт, друзья
(На добре ж сижу, не на ветоши!):
Мне и взять нельзя, и не взять нельзя —
То ли гений он, а то ли нет ещё?!
Тут и в прессе есть расхождения,
И вообще идут толки разные...
Вот и вникните в положение
Исключительно безобразное!

Они спорят там, они ссорятся!
Ну а я решаю, а мне — бессонница!
Мне бессонница!

Я матком в душе, а сам с улыбочкой,
Выбираю слова приличные:
За альбомчик, мол, вам — спасибочко!
Мол, беру его — за наличные!
И даю я ей свои кровные,
Продавцы вокруг удивляются:
Они, может быть, деньги скромные,
Но ведь тоже зря не валяются!
И верчусь весь день, как на вертеле,
Ой, туманится небо светлое!
И хоть верьте мне, хоть не верьте мне,
А началось тут несусветное.

А я стреляный! А я с опытом!
А я враз понял — пропал пропадом!
Пропал пропадом!

Или бабку ту сам засёк народ,
Или стукнулась со знакомыми, —
Но с утра ко мне в три хвоста черёд —
Все с пластинками, все с альбомами!
И растёт, растёт гора цельная,
И наличность вся в угасании!
Указание б чьё-то ценное!
Так ведь нет его, указания!
В пух и прах пошла дачка в Кратове,
«Волга»-матушка — моё детище!
И гвоздит мне мозг многократное —
То ли гений он, а то ли нет ещё?!

«Я маленькая девочка — танцую и пою,
Я Сталина не видела, но я его люблю!»
А я стреляный, а я с опытом!
А я враз понял — пропал пропадом!
Пропал пропадом!

...Но доктор Беленький Я.И. не признал Копылова Н.А. душевнобольным и не дал ему направления в психиатрическую клинику...

<1968>

Отрывок из радиотелевизионного репортажа о международном товарищеском матче по футболу между сборными командами Великобритании и Советского Союза

...Итак, судья Бидо, который, кстати, превосходно проводит сегодняшнюю встречу, просто превосходно, сделал внушение английскому игроку — и матч продолжается. И снова, дорогие товарищи болельщики, дорогие наши телезрители, вы видите на ваших экранах, как вступают в единоборство центральный нападающий английской сборной, профессионал из клуба «Стар» Бобби Лейтон и наш замечательный мастер кожаного мяча, аспирант Московского педагогического института Владимир Лямин — капитан и любимец нашей сборной! В этом единоборстве (кстати, обратите внимание, интересный игровой момент), итак, в этом единоборстве соперники соревнуются не только в технике владения мячом, но в понимании самой природы игры, в умении, так сказать, психологически предугадать и предупредить самые тончайшие стратегические и тактические замыслы соперника...

— А он мне всё по яйцам целится,
Этот Бобби, сука рыжая,
А он у них за то и ценится —
Мистер-шмистер, ставка высшая!

А я ему по-русски, рыжему:
«Как ни целься — выше, ниже ли,
Ты ударишь — я, бля, выживу,
Я ударю — ты, бля, выживи!»

Ты, бля, думаешь, напал на дикаря?!
А я сделаю культурно, втихаря,
Я, бля, врежу, как в парадном кирпичом, —
Этот, с дудкой, не заметит нипочём!»

В общем, всё сказал по-тихому,
Не ревел.
Он ответил мне по-ихнему:
«Вери вел!»

...Судья Бидо фиксирует положение вне игры — великолепно проводит матч этот арбитр из Франции, великолепно, по-настоящему спортивно, строго, по-настоящему арбитр международной квалификации. Итак, свободный удар от наших ворот... Мяч рикошетом попадает снова к Бобби Лейтону, который в окружении остальных игроков по центру продвигается к нашей штрафной площадке. И снова перед ним вырастает Владимир Лямин. Володя! Володечка! Его не обманул финт англичанина — он преграждает ему дорогу к нашим воротам...

— Ты давай из кучи выгляни,
Я припас гостинчик умнику!
Финты-шминты с фигли-миглями —
Это, рыжий, всё на публику!

Не держи меня за мальчика,
Мы ещё поспорим в опыте!
Что ж я, бля, не видел мячика?
Буду бегать где ни попадаю?!

Я стою, а он как раз наоборот...
Он, бля, режет, вижу, угол у ворот!
Натурально, я на помощь вратарю...
Рыжий — с ног, а я с улыбкой говорю:

«Думал вдарить, бля, по-близкому,
В дамки шёл?!»
А он с земли мне по-английскому:
«Данке шён!..»

...Да, странно, странно, просто непонятное решение — судья Бидо принимает обыкновенный силовой приём за нарушение правил и назначает одиннадцатиметровый удар в наши ворота. Это неприятно, это неприятно, несправедливо и... А-а, вот здесь мне подсказывают! Оказывается, этот судья Бидо просто прекрасно известен нашим журналистам как один из самых продажных политиканов от спорта, который в годы оккупации Франции сотрудничал с гитлеровской разведкой. Ну, итак, мяч установлен на одиннадцатиметровой отметке... Кто же будет бить? А, ну всё тот же самый Бобби Лейтон! Он просто симулировал травму... Вот он разбегаётся... Удар!.. ...Да, досадный и несправедливый гол, кстати, единственный гол за всю эту встречу, единственный гол за полминуты до окончания матча, единственный и несправедливый, досадный гол, забитый в наши ворота.

— Да, игрушку мы просерили, .
Протютюкали, прозяпали.
Хорошо б она на Севере,
А ведь это ж, бля, на Западе.

Счастье было так возможно

Когда собьёт меня машина,

Сержант напишет протокол,
И представительный мужчина,
И представительный мужчина
Тот протокол положит в стол.

Другой мужчина — ниже чином,
Взяв у начальства протокол,
Прочтёт его в молчанье чинном,
Прочтёт его в молчанье чинном
И пододвинет дырокол.

И, продырявив лист по краю,
Он скажет: «Счастья в мире нет —
Покойник пел, а я играю,
Покойник пел, а я играю —
Могли б составить с ним дуэт!»

<1968?>

Переселение душ [27]

Не хочу посмертных антраша,

Никаких красотей не выберу.
Пусть моя нетленная душа
Подлецу достанется и шиберу!

Пусть он, сволочь, врёт и предаёт,
Пусть он ходит, ворон, в перьях сокола,
Все на свете пули — в недолёт,
Все невзгоды — не к нему, а около!

Хорошо ему у пирога,
Всё полно приязни и приятельства —
И номенклатурные блага,
И номенклатурные предательства!

С каждым днём любезнее житьё...
Но в минуту самую внезапную
Пусть ему — отчаянье моё
Сдавит сучье горло чёрной лапою!

<1967?>

Суерновик эпитафии

Худо было мне, люди, худо...

Но едва лишь начну про это,
Люди спрашивают: откуда?
Где подслушано? Кем напето?
Дуралеи спешат смеяться,
Чистоплюи воротят морду...
Как легко мне было сломаться,
И сорваться, и спиться к чёрту!

Не моя это вроде боль,
Так чего ж я кидаюсь в бой?
А вела меня в бой судьба,
Как солдата ведёт труба:

Тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та,
Тра-та-та!

Сколько раз на меня стучали
И дивились, что я на воле...
Ну, а если б я гнил в Сучане,
Вам бы легче дышалось, что ли?
И яснее б вам, что ли, было,
Где — по совести, а где — кроме?
И зачем я, как сторож в било,
Сам в себя колочу до крови?!

И какая, к чертям, судьба?
И какая, к чертям, труба?
Мне б частушкой по струнам влёт,
Да гитара, как видно, врёт:

Трень да брень, трень да брень,
трень да брень,
Трень да брень!

А хотелось-то мне в дорогу,
Налегке, при попутном ветре...
Я бы пил молоко, ей-Богу,
Я б в лесу ночевал, поверьте!
И шагал бы, как вольный цыган,
Никого бы нигде не трогал,
Я б во Пскове по-птичьи цыкал
И округло б на Волге окал,

И частушкой по струнам — влёт!..
Да гитара, как видно, врёт.
Лишь, мучительна и странна,
Всё одна дребезжит струна:

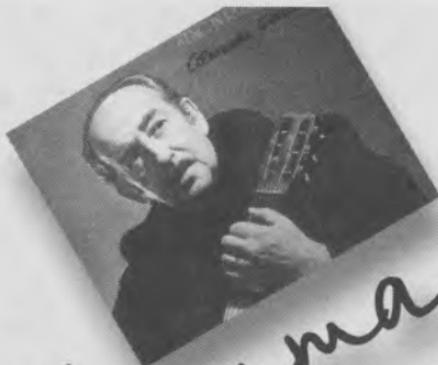
День да день, день да день,
день да день,
День да день!

Понимаю, что просьба тщетна,
Поминают — поименитей!
Ну, не тризною, так хоть чем-то,
Хоть всухую, да помяните!
Хоть за то, что я верил в чудо,
И за песни, что пел без склада...
А про то, что мне было худо,
Никогда вспоминать не надо!

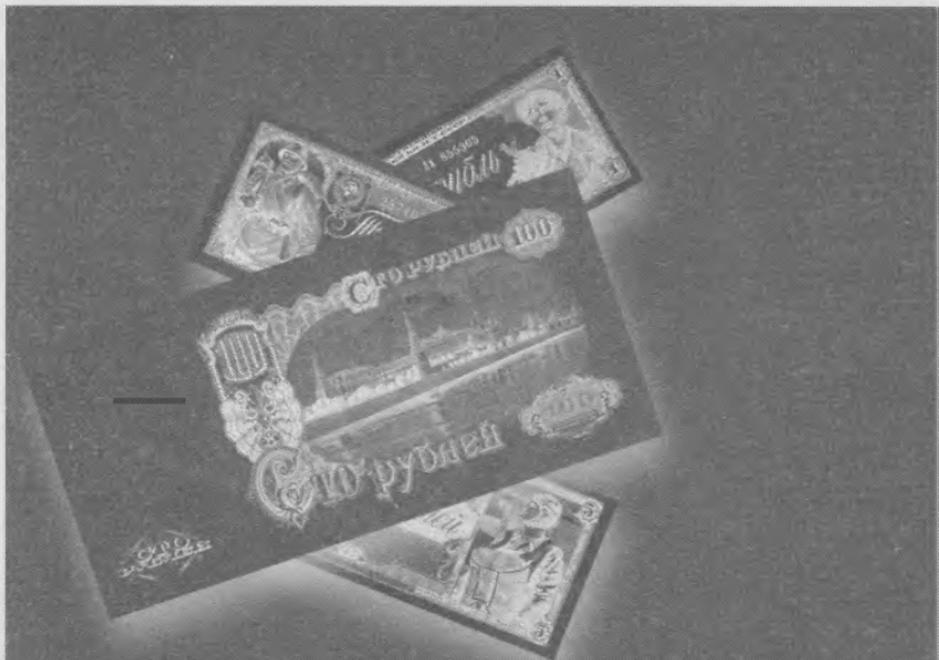
И мучительна, и странна,
Всё одна дребезжит струна,
И приладиться к ней, ничьей,
Пусть попробует, кто ловчей!

А я не мог!

Датмазуня
на русские
мембы



СССР



Бессмертный Кузьмин

...Отечество нам Царское Село!

А. Пушкин

Эх, яблочко, куды котишься?..

Песня

... **Покатились всячины и разности,**

Поднялось неладное со дна!
— Граждане, Отечество в опасности!
Граждане, Отечество в опасности!
Граждане, гражданская война!
Был май без края и конца,
Жестокая весна!
И младший брат, сбежав с крыльца,
Сказал: «Моя вина!»

У Царскосельского дворца
Стояла тишина.
И старший брат, сбежав с крыльца,
Сказал: «Моя вина!»

И камнем в омут ледяной
Упали те слова...
На брата брат идёт войной.
На брата брат идёт войной!..
Но шелестит над их виной
Забвенья трын-трава!

...А Кузьмин Кузьма Кузьмич выпил
рюмку хлебного,
А потом Кузьма Кузьмич закусил
севрюжкой,

А потом Кузьма Кузьмич,
взяв перо с бумагою,
Написал Кузьма Кузьмич буквами
печатными,
Что, как истый патриот,
верный сын Отечества,
Он обязан известить власти предержавшие...

А где вы шли, там дождь свинца,
И смерть, и дело дрянь!
...Летела с тополей пыльца
На бронзовую длань —

Там, в Царскосельской тишине,
У берега сонных вод...
И нет как нет конца войне,
И скоро мой черёд!

...Было небо в голубиной ясности,
Но сердца от холода свело:
— Граждане, Отечество в опасности!
Граждане, Отечество в опасности!
Танки входят в Царское Село!

А чья вина? Ничья вина!
Не верь ничьей вине,
Когда по всей земле война
И вся земля в огне!

Пришла война — моя вина!
И вот за ту вину
Меня песочит старшина,
Чтоб понимал войну.

Меня готовит старшина
В грядущие бои.
И сто смертей сулит война,
Моя война, моя вина, —

А если нет, так чёрт с тобой,
На нет и спроса нет!

Тогда опейся допьяна
Похлёбкою вранья!
И пусть опять — моя вина,
Моя вина, моя война, —
Моя вина, моя война! —
И смерть — опять моя!

...А Кузьмин Кузьма Кузьмич хлопнул
сто молдавского,
А потом Кузьма Кузьмич закусил
селёдкой,
А потом Кузьма Кузьмич,
взяв перо с бумагою,
Написал Кузьма Кузьмич буквами
печатными,
Что, как истый патриот,
верный сын Отечества,
Он обязан известить всех, кому положено...

И не поймёшь, кого казним,
Кому поём хвалу?!
Идёт Кузьма Кузьмич Кузьмин
По Царскому Селу!

Прозрачный вечер. У дворца —
Покой и тишина.
И с тополей летит пыльца
На шляпу Кузьмина...

<1968>

Чтоб не бредить палачам по ночам,


Ходят в гости палачи к палачам,
 И радушно, не жалея харчей,
 Угощают палачи палачей.

На столе у них икра, балычок,
 Не какой-нибудь — «КВ» коньячок,
 А впоследствии — чаёк, пастила,
 Кекс «Гвардейский» и печенье «Салют».
 И сидят заплечных дел мастера
 И тихонько, но душевно поют:
 «О Сталине мудром, родном и любимом...»

— Был порядок! — говорят палачи.
 — Был достаток! — говорят палачи.
 — Дело сделал, — говорят палачи, —
 И пожалуйста — сполна получи!..

Белый хлеб икрой намазан густо,
 Слезы кипяточка горячей...
 Палачам бывает тоже грустно.
 Пожалейте, люди, палачей!

Очень плохо палачам по ночам,
 Если снятся палачи палачам,
 И как в жизни, но ещё половчей,
 Бьют по рылу палачи палачей.
 Как когда-то, как в годах молодых —
 И с оттяжкой, и ногою в поддых.
 И от криков и от слез палачей
 Так и ходят этажи ходуном,

Созывают «неотложных» врачей.
И с тоскою вспоминают о Нём,
«О Сталине мудром, родном и любимом...»

— Мы на страже! — говорят палачи.
— Но когда же?! — говорят палачи.
— Поскорей бы! — говорят палачи. —
Встань, Отец, и вразуми, поучи!

Дышит, дышит кислородом стража,
Крикнуть бы, но голос как ничей...
Палачам бывает тоже страшно.
Пожалейте, люди, палачей!

<1969?>

**Фантазия на русские темы для
балалайки с оркестром и двух
солистов — тенора и баритона**

Тенор

Королевич, да и только!

В сумке пиво и «сучок».
Подрулила птица-тройка,
Сел стукач на облучок.
И — айда, и трали-вали,
Всё белым-бело вокруг,
В леспромхозе на канале
Ждёт меня любезный друг.

Он не цыган, не татарин и не жид,
Он надёжа мой — камаринский мужик!
Он утеха на обиду мою!
Перед ним бутылъ с рябиновою!
Он сидит, винцо покушивает,
Не идёт ли кто, послушивает.

То ли пеший, то ли конный,
То ли «Волги» воркотня...
И сидит мужик законный,
Смотрит в сумрак заоконный,
Пьёт вино и ждёт меня.

Ты жди, жди, жди, обожди,
Не расстраивайся!

Баритон

Значит, так... На Урале
В предрассветную темь
Нас ещё на вокзале
Оглушила метель.
И стояли прищельцы,
Барахлишко сгрузив,
Кулаки да лишенцы —
Самый первый призыв!

Значит, так... На Урале
Холода — не пустяк.
Города вымирали
Как один — под иссяк!
Нежно пальцы на горле
Им сводила зима...
А деревни не мёрли,
Но сходили с ума!

Значит, так... На Урале
Ни к чему лекаря:
Всех непóмерших брали —
И в тайгу, в лагеря!
Четвертак на морозе,
Под охраной, во вшах!..
А теперь в леспромхозе
Я и сам в сторожах.

Нету рая спасённым,
Хоть и мёртвый, а стой.
Вот и шнырю по сёлам
За хурдою-мурдой:
Как ворьё по закону —
Самозванный купец —
Где добуду икону,
Где резной поставец!

А московская наедет сволота —
Отворяю я им, сямкам, воротá:
Заезжайте, гости милые, пожалуйте!

Тенор о к

Славно гукает машина,
Путь-дорожка — в два ряда,
Вьюга снегу накрошила,
Доберёмся — не беда!
Мы своротим на просёлок,
Просигналим: тра-та-та!
Принимай гостей весёлых,
Отворяй нам ворота!

Ты любезный мой, надёжа из надёж!
Всю вселенную проедешь — не найдёшь!
Самый подлинный-расподлинный,
Не носатый, не уродливый,
А что зубы подчистую — тю-тю,
Так, верно, спьяну обломал об кутью!

Не стесняйся, было — спльлю,
Кинь под лавку сапожки,
Прямо с жару, прямо с пылу
Ставь на стол «сучок» и пиво,
Печь лучиной разожги!
Ты жги, жги, жги, говори,
Поворачивайся!..

Баритон

Что ж... За этот, за бранный,
За покой на душе!
Гость с шофёром — по первой,
Я — вторую уже.
Сладок угорь балтийский,
Слаще закуси нет!

Николай Мирликийский
Запелёнут в пакет.

Что ж... Хихикайте, падлы,
Что нашли дурака!
Свесив сальные патлы,
Гость завёл «Ермака».
Пой, легавый, не жалко,
Я и сам поддержу,
Я подвою, как шавка,
Подскулю, подвизжу.

Что ж — попили, попели,
Я постелю стелю.
Гость ворочает еле
Языком во хмелю,
И гогочет, как кочет,
Хоть святых выноси,
И беседовать хочет
О спасенье Руси.

Мне б с тобой не в беседу,
Мне б тебя на рога!
Мне бы зубы, да нету!
Знаешь слово «цинга»?
Вертухаево семя!
Не дразни — согрешу!
Ты заткнись про спасенье,
Спи, я лампу гашу!

...А наутро я гостей разбужу,
Их, похмельных, провожу к гаражу:
Заезжайте, гости милые, наведывайтесь.

<1969?>

Песня про велосипед

О, как мне хотелось, мальчишке,

Проехаться на велосипеде.
Не детском, не трёхколёсном —
Взрослом велосипеде!
И мчаться навстречу солнцу,
Туда, где сосны и ели,
И чтоб из окна глядели,
Завидуя мне, соседи:
— Смотрите, смотрите, смотрите!
Смотрите, мальчишка едет
На взрослом велосипеде!..

...Ехал мальчишка по улице
На взрослом велосипеде.
— Наркомовский Петька, умница, —
Шептались в окне соседи.
Я крикнул: — Дай прокатиться! —
А он ничего не ответил,
Он ехал медленно-медленно,
А я бы летел, как ветер!
А я бы звоночком цокал,
А я бы крутил педали,
Промчался бы мимо окон —
И только б меня видали!..

...Теперь у меня в передней
Пылится велосипед,
Пылится уже, наверно,
С добрый десяток лет.
Но только того мальчишки
Больше на свете нет,

А взрослому мне не нужен
Взрослый велосипед!

О, как мне хочется, взрослому,
Потрогать пальцами книжку
И прочесть на обложке фамилию —
Не чью-нибудь, а мою!..
Нельзя воскресить мальчишку,
Считайте — погиб в бою...
Но если нельзя — мальчишку,
И в прошлое ни на шаг,
То книжку-то можно?! Книжку!
Её почему — никак?!

Величественный, как росчерк,
Он книжки держал под мышкой.
— Привет тебе, друг-доносчик,
Привет тебе, с новой книжкой!
Партийная Илиада!
Подарочный холуяж!
Не надо мне так, не надо.
Пусть тысяча — весь тираж!
Дорого с суперобложкой? —
К чёрту суперобложку!
Но нету суперобложки,
И переплёта нет...

Немножко пройдёт, немножко,
Каких-нибудь тридцать лет.
И вот она, эта книжка, —
Не в будущем, в этом веке!
Снимает её мальчишка
С полки в библиотеке!
А вы говорили — бредни!
А вот — через тридцать лет!..
...Пылится в моей передней
Взрослый велосипед.

Размышления о бегунах на длинные дистанции

поэма в пяти песнях с эпилогом

...Впереди — Иисус Христос.

А. Блок

РОЖДЕСТВО

Всё шло по плану, но немножко наспех.

Спускался вечер, спал Младенец в яслях,
Статисты робко заняли места,
И Матерь Божья наблюдала немо,
Как в каменное небо Вифлеема
Всходила Благовещенья звезда.
Но тут в вертеп ворвались два подпаска
И крикнули, что вышла неувязка,
Что праздник отменяется, увы,
Что римляне не понимают шуток, —
И загремели на пятнадцать суток
Поддавшие на радостях волхвы.

Стало тихо, тихо, тихо,
В крике замерли уста,
Зашипела, как шутиха,
И погасла та звезда.
Стало зябко, зябко, зябко,
И в предчувствии конца
Закудахтала козявка,
Вол заблеял, как овца.
Все завыли, захрипели!..
Но, не внемля той возне,
Спал Младенец в колыбели
И причмокивал во сне.

Уже светало. Розовело небо.
Но тут раздались гулко у вертепа
Намеренно тяжёлые шаги,
И Матерь Божья замерла в тревоге,
Когда открылась дверь и на пороге
Кавказские явились сапоги.

И разом потерявшие значенье
Столетия, лихолетья и мгновенья
Сомкнулись в безначальное кольцо.
А он вошёл и поклонился еле,
И обратил неспешно к колыбели
Забрызганное оспою лицо.

«Значит, вот он — этот самый
Жалкий пасынок земной,
Что и кровью, и осанной
Потягается со мной...
Неужели, неужели
Столько лет и столько дней
Ты, сопящий в колыбели,
Будешь мукою моей?!
И меня с тобою, пешка,
Время бросит на весы?» —
И недобрая усмешка
Чуть приподняла усы.

А три волхва томились в карантине.
Их в карантине быстро укротили:
Лупили и под вздох, и по челу,
И римский опер, жажда награды,
Им говорил: «Сперва колитесь, гады,
А после разберёмся, что к чему».
И, понимая, чем грозит опала,
Пошли волхвы молоть, что ни попало,
Припоминали даты, имена...

И полетели головы. И это
Была вполне весомая примета,
Что новые настали времена.

КЛЯТВА ВОЖДЯ

«Потные, мордастые евреи,
Шайка проходимцев и ворья,
Всякие Иоанны и Матфеи
Наплетут с три короба вранья!
Сколько их посыпет раны солью,
Лишь бы им взобратся на Синай!
Ладно, ладно, я не прекословлю:
Ты был первый — Ты и начинай.
Встань — и в путь по городам и весям,
Чудеса и мудрости твори!
Отчего ж Ты, Господи, невесел?
Где они, соратники Твои?
Бражничали, ели, гостевали,
А пришла беда — и след простыл!
Нет, не зря Ты ночью в Гефсимани
Струсил и пардону запросил.
Где Твоих приспешников орава
В смертный Твой, в последний час земной?
И смеётся над Тобой Варавва...
Он бы посмеялся надо мной!..
Был Ты просто-напросто предтечей,
Не творцом, а жертвою стихий!
Ты не Божий сын, а человеческий,
Если мог воскликнуть: «Не убий!»
Душ ловец, Ты вышел на рассвете
С бедной сетью из расхожих слов —
На исходе двух тысячелетий
Покажи, велик ли Твой улов?
Слаб душою и умом не шибок,
Верил Ты и Богу, и царю...
Я не повторю Твоих ошибок,

Ни одной из них не повторю!
В мире не найдётся святотатца,
Чтобы поднял на м е н я копьё...
Если ж я умру — что может случиться, —
Вечным будет царствие моё!»

ПОДМОСКОВНАЯ НОЧЬ

Он один! А ему неможется,
И уходит окно во мглу...
Он считает шаги, и множится
Счёт шагов — от угла к углу!

От угла до угла потерянно
Он шагает, как заводной!
Сто постелей ему постелено —
Не уснуть ему ни в одной.
По паркетному полу голому —
Шаг. И отдых. И снова шаг.
Ломит голову. Ломит голову,
И противно гудит в ушах.
Будто кто-то струну басовую
Тронул пальцем — и канул прочь.
Что же делать ему в бессонную,
В одинокую эту ночь?

Вином упиться?
Позвать врача?
Но врач — убийца,
Вино — моча...

Вокруг потёмки,
И спят давно
Друзья — подонки,
Друзья — говно!

На целом свете
Лишь сон и снег,
А он — в ответе
Один за всех!

И, как будто стирая оспины,
Вытирает он пот со лба:
Почему, почему, о Господи,
Так жестока к нему судьба?
То предательством, то потерей
Оглушают всю жизнь его!
«Что стоишь ты там, за портьерою?
Ты не бойся меня, Серго!
Эту комнату неказистую
Пусть твоё озарит лицо,
Ты напой мне, Серго, грузинскую,
Ту, любимую мной, кацо!
Ту, что деды певали исстари,
Отправляясь в последний путь...
Спой, Серго, и забудь о выстреле,
Хоть на десять минут забудь!

Но полно, полно,
Молчи, не пой!
Ты предал подло —
И пёс с тобой!

И пёс со всеми —
Повзводно в тлен!
И все их семьи
До ста колен!»

Повсюду злоба,
Везде — враги!
Ледком озноба —
Шаги, шаги!..

Над столицами поседевшими
Ночь и темень — хоть глаз коли.
Президенты спят с президентшами,
Спят министры и короли.
Мир, во славу гремевший маршами,
Спит в снегу с головы до пят,
Спят министры его и маршалы...

Он не знал, что они не спят,
Что, притихшие, сводки утренней
В страхе ждут — и с надеждой ждут.
А ему всё хуже, всё муторней,
Сапоги почему-то жмут...
Неприказанный, неположенный
За окном колокольный звон...
И, упав на колени: «Боже мой! —
Произносит бессвязно он, —

Молю, Всевышний,
Тебя, Творца,
На помощь вышли
Скорей гонца!

О, дай мне, дай же
Не кровь — вино!..
Забыл, как дальше...
Но всё равно!

Не ставь отточий
Конца пути,
Прости мне, Отче!
Спаси!..
Прости...»

НОЧНОЙ РАЗГОВОР В ВАГОНЕ-РЕСТОРАНЕ

Вечер, поезд, огоньки,
Дальняя дорога...
Дай-ка, братец, мне трески
И водочки немного.

Басан, басан, басана*,
Басаната, басаната...

* «Басан, басан, басана» в русский язык пришло из цыганского, в цыганский язык пришло из индийского, в индийский пришло, вероятно, из арабского. Означает это заклинание от нечистой силы» (фонограмма).

Что с вином, что без вина —
Мне на сердце косовато.

Я седой не по годам
И с ногою высохшей.
Ты слышал про Магадан?
Не слышал?! Так выслушай.

А случилось дело так:
Как-то ночью странною
Заявился к нам в барак
Кум со всей охраною.

Я подумал, что — конец.
Распрощался матерно...
Малосольный огурец
Кум жевал внимательно.

Скажет слово — и поест,
Морда вся в апатии.
«Был, — сказал он, — говны, съезд
Славной нашей партии.

Про Китай и про Лаос
Говорились прения,
Но особо встал вопрос
Про Отца и Гения».

Кум докушал огурец
И закончил с мукою:
«Оказался наш Отец
Не отцом, а сукою...»

Полный, братцы, ататуй!
Панихида с танцами!
И приказано статуй
За ночь снять на станции.

Ты представь — метёт метель,
Темень, стужа адская,

А на Нём — одна шинель,
Грубая, солдатская.

И стоит Он напролом,
И летит, как конница!..
Я сапог Его — кайлом,
А сапог не колется...

Огляделся я вокруг —
Дай-ка, мол, помешкаю!
У статуя губы вдруг
Тронулись усмешкою...

Помню, глуп я был и мал,
Слышал от родителя,
Как родитель мой ломал
Храм Христа Спасителя.

Басан, басан, басана,
Чёрт гуляет с опером...
Храм и мне бы — ни хрена:
Опиум как опиум!

А это ж — Гений всех времён,
Лучший друг навеки!
Все стоим — ревмя ревём,
И вохровцы, и зэки.

Я кайлом по сапогу
Бью, как неприкаянный,
И внезапно сквозь пургу
Слышу голос каменный:

«Был я Вождь вам и Отец,
Сколько мук намелено!
Что ж ты делаешь, подлец?!
Брось кайло немедленно!»

Но тут шарахнули запал,
Применили санкции, —

Я упал, и Он упал —
Завалил полстанции...

Ну, скостили нам срока,
Приписали в органы.
Я живой ещё — пока,
Но, как видишь, дёрганый...

Басан, басан, басана,
Басаната, басаната!
Лезут в поезд из окна
Бесенята, бесенята...

Отвяжитесь, мертвяки,
К чёрту, ради Бога!..
Вечер, поезд, огоньки,
Дальняя дорога...

ГЛАВА, НАПИСАННАЯ В СИЛЬНОМ ПОДПИТИИ И ЯВЛЯЮЩАЯСЯ АВТОРСКИМ ОТСТУПЛЕНИЕМ

То-то радости пустомелям!
Темноты своей не стыжусь:
Не могу я быть Птолемеем,
Даже в Энгельсы не гожусь.

Но, от вечного бегства в мыле,
Неустройством земным томим,
Вижу — что-то неладно в мире,
Хорошо бы заняться им.
Только век меня держит цепко,
С ходу гасит любой порыв,
И от горестей нет рецепта,
Все, что были, — сданы в архив.

И всё-таки я, рискуя прослыть
Шутом, дураком, паяцем,
И ночью, и днём твержу об одном:
Ну не надо, люди, бояться!

Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы,
Не бойтесь мора и глада,
А бойтесь единственно только того,
Кто скажет: «Я знаю, как надо!»

Кто скажет: «Идите, люди, за мной,
Я вас научу, как надо!»
И, рассыпавшись мелким бесом
И поклявшись вам всем в любви,
Он пройдёт по земле железом
И затопит её в крови.
И наврёт он такие враки,
И такой наплетёт рассказ,
Что не раз тот рассказ в бараке
Вы помянете в горький час.
Слезы крови не солонее,
Даровой товар, даровой!
Прёт история — Саломея
С Иоанновой головой.

Земля — зола, и вода — смола,
И некуда вроде податься,
Неисповедимы дороги зла.
Но не надо, люди, бояться!
Не бойтесь золы, не бойтесь хулы,
Не бойтесь пекла и ада,
А бойтесь единственно только того,
Кто скажет: «Я знаю, как надо!»
Кто скажет: «Всем, кто пойдёт за мной,
Рай на земле — награда!»

Потолкавшись в отделе винном,
Подойду к друзьям-алкашам,
При участии половинном
Побеседуем по душам.
Алкаши наблюдают строго,
Чтоб ни капли не пролилось.

«Не встречали, — смеются, — Бога?»
— «Ей-же-Богу, не привелось».

Пусть пивнуха не лучший случай
Толковать о добре и зле,
Но видали мы этот «лучший»
В белых тапочках на столе.

Кому «сучок», а кому коньячок,

К начальству — на кой паяться?!
А я всё твержу им, как дурачок:
Да не надо, братцы, бояться!
И это бред, что проезда нет
И нельзя входить без доклада,
А бояться-то надо только того,
Кто скажет: «Я знаю, как надо!»
Не верьте ему!
Гоните его!
Он врёт!
Он не знает — как надо!

ЭПИЛОГ

Аве Мария!..

Дело явно липовое — всё, как на ладони,
Но пятую неделю долбят допрос.
Следователь-хмурик с утра на валидоле,
Как пророк, подследственный бородой оброс.

...А Мадонна шла по Иудее!
В платьице, застиранном до сини,
Шла Она с котомкой за плечами,
С каждым шагом становясь красивей,
С каждым вздохом делаясь печальней,
Шла, платок на голову набросив, —
Всех земных страданий средоточьем.

И уныло брёл за Ней Иосиф,
Убежавший славы Божий отчим...

Аве Мария...

Упекли пророка в республику Коми,
А он и перекинься башкою в лебеду.
А следователь-хмурик получил в местном
Льготную путевку на месяц в Теберду.

... А Мадонна шла по Иудее!
Оскользаясь на размокшей глине,
Обдирая платье о терновник,
Шла Она и думала о Сыне
И о смертных горестях Сыновних.
Ах, как ныли ноги у Мадонны,
Как хотелось всхлипнуть по-ребячьи!..
А вослед Ей ражие долдоны
Отпускали шутки жеребьячи.

Аве Мария...

Грянули впоследствии всякие хренации,
Следователь-хмурик на пенсии в Москве,
А справочку с печатью о реабилитации
Выслали в Калинин пророковой вдове.

...А Мадонна шла по Иудее!
И всё легче, тоньше, всё худее
С каждым шагом становилось тело...
А вокруг шумела Иудея
И о мёртвых помнить не хотела.
Но ложились тени на суглинок,
И таились тени в каждой пяди —
Тени всех бутырок и треблинок,
Всех измен, предательств и распятий...

Аве Мария!..

Рассказ старого конармейца

Когда от скуки дошли лошади

И нас косил под корень тиф,
Собрал людей комдив на площади,
И так людям сказал комдив:

«Плохое дело, братцы-конники,
Позор и трепет не за грош!
А гады лекари-законники
Твердят, что тиф разносит вошь!

Им вша, конечно, незнакомая,
Им, сукам, вша не по душе,
А вша — простая насекомая,
И дело вовсе не во вше.

И надо силой нашей конною
Свести, к чертям, с лица земли,
И надо кончить с этой контрою,
Чтоб смуту сеять не могли».

И только слово было сказано,
Как понял я, что быть тому:
Поймал жида четырехглазого —
И утопил его в Дону.

И было мне признанье дружное,
И был воспет мой героизм,
И мне комдив вручил оружие —
За пролетарский гуманизм.

1970—1971

Ещё раз о чёрте

Я считал слонов и в нечет, и в чёт,

И всё-таки я не уснул.
И тут явился ко мне мой чёрт
И уселся верхом на стул.

И сказал мой чёрт:
— Ну как, старина?
Ну как же мы порешим?
Подпишем союз — и айда в стремяна,
И ещё чуток погрешим!

И ты можешь лгать, и можешь блудить,
И друзей предавать гуртом!
А то, что придётся потом платить,
Так ведь это ж, пойми, — потом!

Аллилуйя, аллилуйя,
Аллилуйя, — потом!

Но зато ты узнаешь, как сладок грех
Этой горькой порой седин,
И что счастье не в том, что один за всех,
А в том, что все — как один!

И ты поймёшь, что нет над тобой суда,
Нет проклятия прошлых лет,
Когда вместе со всеми ты скажешь «да»
И вместе со всеми — «нет»!

И ты будешь волков на земле плодить
И учить их вилять хвостом!

А то, что придётся потом платить,
Так ведь это ж, пойми, — потом!

Аллилуйя, аллилуйя,
Аллилуйя, — потом!

И что душа? — Прошлогодний снег!
А глядишь — пронесёт и так!
В наш атомный век, в наш каменный век
На совесть цена пятак!

И кому оно нужно, это добро,
Если всем дорога — в золу?!
Так давай же, бери, старина, перо
И вот здесь распишись, в углу!

Тут чёрт потрогал мизинцем бровь
И придвинул ко мне флакон...
И я спросил его:
— Это кровь?
— Чернила! — ответил он.

Аллилуйя, аллилуйя!
— Чернила! — ответил он.

<1969>

Новогодняя фантасмагория ^[28]

В новогодний бедлам, как в обрыв

на крутом вираже,
Все ещё только входят, а свечи погасли уже,
И лежит в сельдерее, убитый злодейским ножом,
Поросёнок с бумажною розой, покойник-пижон.

А полковник-пижон, что того поросенка принёс,
Открывает боржом и целует хозяйку в засос.
Он совсем разнуздан, подлец, он отбился от рук!..
И следят за полковником три кандидата наук.

А хозяйка мила, а хозяйка чертовски мила!
И уже за столом, как положено, куча-мала —
Кто-то ест, кто-то пьёт, кто-то ждёт,
что ему подмигнут,
И полковник надрался, как маршал,
за десять минут.

Над его головой произносят заздравную речь
И суют мне гитару, чтоб общество
песней развлечь...

Ну помилуйте, братцы, какие тут песни, пока
Не допили ещё, не доели цыпляют табака!

Вот полковник желает исполнить
романс «Журавли»,

Но его кандидаты куда-то поспать увели.
И опять кто-то ест, кто-то пьёт,
кто-то плачет навзрыд...

— Что за праздник без песни?! —
мне мрачный сосед говорит.

Я хотел бы, товарищ, от имени всех попросить:
Не могли б вы, товарищ,

нам что-нибудь изобразить?..

И тогда я улягусь на стол на торжественный тот
И бумажную розу засуну в оскаленный рот,

И под чей-то напутственный возглас,

в дыму и в жаре, —

Поплыву, потеку, потону в поросящем желе...

Это будет смешно, это вызовет хохот до слез,

И хозяйка лизнёт меня в лоб,

как признательный пёс.

А полковник, проспавшись, возьмётся опять

за своё,

И, отрезав мне ногу, протянет хозяйке её...

...А за окнами снег, а за окнами белый мороз,

Там бредёт чья-то белая тень мимо белых берёз.

Мимо белых берёз, и по белой дороге, и прочь —

Прямо в белую ночь, в петроградскую Белую Ночь,

В ночь, когда по скрипучему снегу,

в трескучий мороз,

Не пришёл, а ушёл — мы потом это поняли —

Белый Христос.

И позёмка, следы замата, мела и мела...

...А хозяйка мила, а хозяйка чертовски мила!

Зазвонил телефон, и хозяйка махнула рукой:

— Подождите, не ешьте, оставьте

кусочек-другой! —

И уже в телефон, отгоняя ладошкой дым:

— Приезжайте скорей, а не то мы его доедем!

И опять все смеются, смеются, смеются до слез...

...А за окнами снег, а за окнами белый мороз,

Там бредёт моя белая тень мимо белых берёз...

Коломийцев в полный рост

Истории из жизни Клим Петровича Коломийцева —
мастера цеха, кавалера многих орденов,
члена бюро парткома и депутата горсовета

О ТОМ, КАК КЛИМ ПЕТРОВИЧ ВЫСТУПАЛ НА МИТИНГЕ В ЗАЩИТУ МИРА

У жене моей спросите, у Даши,

У сестре её спросите, у Клавки:
Ну, ни капельки я не был поддавши,
Разве только что — маленько — с поправки!

Я культурно проводил воскресенье,
Я помылся и попарился в баньке,
А к обеду, как сошла моя семья,
Начались у нас подначки да байки!

Только принял я грамм сто, для почина
(Ну, не более чем сто, чтоб я помер!),
Вижу — к дому подъезжает машина,
И гляжу — на ней обкомовский номер!

Ну, я на крылечко — мол, что за гость,
Кого привезли, не чеха ли?!
А там — порученец, чернильный гвоздь:
«Сидай, — говорит, — поехали!»

Ну, ежели зовут меня,
То — майна-вира!
В ДК идёт заутреня
В защиту мира!
И Первый там, и прочие — из области.

Ну, сажусь я порученцу на ноги,
Он — листок мне, я и тут не перечу.
«Ознакомься, — говорит, — по дороге
Со своею выдающейся речью!»

«Ладно, — мыслю, — набивай себе цену,
Я ж в зачтениях мастак, слава Богу!»
Приезжаем, прохожу я на сцену
И сажусь со всей культурностью сбоку.

Вот моргает мне, гляжу, председатель:
Мол, скажи своё рабочее слово!
Выхожу я
И не дробно, как дятел,
А неспешно говорю и сурово:

«Израильская, — говорю, — военщина
Известна всему свету!
Как мать, — говорю, — и как женщина
Требую их к ответу!

Который год я вдовая,
Всё счастье — мимо,
Но я стоять готовая
За дело мира!
Как мать вам заявляю и как женщина!..»

Тут отвисла у меня прямо челюсть,
Ведь бывают же такие промашки! —
Это сучий сын пижон-порученец
Перепутал в суматохе бумажки!

И не знаю — продолжать или кончить,
В зале вроде ни смешочков, ни вою...
Первый тоже, вижу, рожи не корчит,
А кивает мне своей головою!

Ну, и дал я тут галопом — по фразам
(Слава Богу, завсегда всё и то же!).

А как кончил —
Все захлопали разом,
Первый тоже — лично — сдвинул ладоши.

Опосля зазвал в свою вотчину
И сказал при всём окружении:
«Хорошо, брат, ты им дал, по-рабочему!
Очень верно осветил положение!»

Не хвастаю нисколько я,
Поймите-ка,
Но очень дело тонкое —
П о л и т и к а

<1968—1970>

**О ТОМ, КАК КЛИМ ПЕТРОВИЧ СОЧИНИЛ
НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКУЮ КОЛЫБЕЛЬНУЮ,
УКАЧИВАЯ СВОЕГО ПЛЕМЯННИКА — СЕМЁНА,
КЛАВКИНОГО СЫНА**

Спи, Семён, спи,
Спи, понимаешь, спи!
Спи, а то придёт Кощей,
Растудыть его в качель!
Мент приедет на «козе»,
Зафуячит в КПЗ!
Вот такие, брат, дела —
Мышка кошку родила.
Спи, Семён, спи,
Спи, понимаешь, спи!

В две тысячи семьдесят третьем году
Я вечером, Сеня, в пивную зайду,
И пива спрошу, и услышу в ответ,
Что рижского нет, и московского нет,
Но есть жигулёвское пиво —
И я просияю счастливо!

И робот-топтун, молчалив и мордаст,
Мне пиво с горошком мочёным подаст.

И выскажусь я, так сказать, говоря:
— Не зря ж мы страдали,
И гибли не зря!
Не зря мы, глаза завидущие,
Мечтали увидеть грядущее!

Спи, Семён, спи,
Спи, понимаешь, спи!
Спи, а то придёт Кощей,
Растудыть его в качель!
Мент приедет на «козе»,
Зафуячит в КПЗ!
Вот такие, брат, дела —
Мышка кошку родила.
Спи, Семён, спи,
Спи, понимаешь, спи!
Спи!..

<1971>

**О ТОМ, КАК КЛИМ ПЕТРОВИЧ ДОБИВАЛСЯ,
ЧТОБ ЕГО ЦЕХУ ПРИСВОИЛИ ЗВАНИЕ «ЦЕХА
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА»,
И, НЕ ДОБИВШИСЬ ЭТОГО, — ЗАПИЛ**

...Все смеются на бюро:
— Ты ж как витязь —
И жилплощадь, и получка по-царски!
Ну, а я им:
— Извините, подвиньтесь!
Я ж за правду хлопочу, не за цацки!
Как хотите — на доске ль, на бумаге ль,
Цельным цехом отмечайте, не лично.
Мы ж работаем на весь наш соцлагерь,
Мы ж продукцию даём на «отлично»!
И совсем мне, — говорю, — не до смеху,
Это чьё ж, — говорю, — указанье,
Чтоб такому выдающему цеху
Не присваивать почётное званье?!

А мне говорят
(Все друзья говорят —
И Фрол, и Пахомов с Тонькою):
— Никак, — говорят, — нельзя, — говорят, —
Уж больно тут дело тонкое!

А я говорю (матком говорю!):
— Пойду, — говорю, — в обком! — говорю.

А в обкоме мне всё то же:
— Не суйся!
Не долдонь, как пономарь поминанье.
Ты ж партийный человек, а не зюзя,
Должен, всё ж таки, иметь пониманье!
Мало, что ли, пресса ихняя треплет
Всё, что делается в нашенском доме?
Скажешь — дремлет Пентагон?
Нет, не дремлет!
Он не дремлет, мать его, он на стрёме!

Как завёлся я тут с полоборота:
— Так и будем сачковать?!
Так и будем?!
Мы же в счёт восьмидесятого года
Выдаём свою продукцию людям!

А мне говорят:
— Ты чего, — говорят, —
Орёшь, как пастух на выпасе?!
Давай, — говорят, — молчи, — говорят, —
Сиди, — говорят, — и не рыпайся!

А я говорю, в тоске говорю:
— Продолжим наш спор в Москве! — говорю.

...Проживаюсь я в Москве, как собака.
Отсылает референт к референту.
— Ты и прав, — мне говорят, — но, однако,
Не подходит это дело к моменту.

Ну, а вздумается вашему цеху,
Скажем, — встать на юбилейную вахту?
Представляешь сам, какую оценку
Би-би-си дадут подобному факту?!

Ну, потом — про ордена, про жилплощадь,
А прощаясь, говорят на прощанье:
— Было б в мире положенье попроще,
Мы б охотно вам присвоили званье.
А так, — говорят, — ну, ты прав, — говорят, —
И продукция ваша лучшая!
Но всё ж, — говорят, — не драп, — говорят, —
А проволока колючая!..

«Ну, что ж, — говорю, —
Отбой! — Говорю. —
Пойду, — говорю, —
В запой!» — говорю.

Взял — и запил.

<1969?>

ПЛАЧ ДАРЬИ КОЛОМИЙЦЕВОЙ ПО ПОВОДУ ЗАПОЯ ЕЁ СУПРУГА — КЛИМА ПЕТРОВИЧА

...Ой, доля моя жалкая,
Родиться бы слепой!
Такая лета жаркая —
А он пошёл в запой.

Вернусь я из магазина,
А он уже, блажной,
Поёт про Стеньку Разина
С персидскую княжной.

А жар — ну, прямо, доменный,
Ну, прямо, градом пот.

А он, дурак недоеный,
Сидит и водку пьёт.

Ну, думаю я, думаю,
Болят от мыслей грудь:
«Не будь ты, Дарья, дураком —
Придумай что-нибудь!»

То охаю, то ахаю —
Спокоя нет как нет!
И вот —
Пошла я к знахарю,
И знахарь дал совет.

И в день воскресный, в утречко,
Я тот совет творю:
Вплываю, словно уточка,
И Климу говорю:

— Вставай, любезный-суженый,
Уважь свой родный дом,
Вставай давай, поужинай,
Поправься перед сном!

А что ему до времени?
Ему б нутро мочить!
Он белый свет от темени
Не может отличить!

А я его, как милочка,
Под ручки — под уздцы,
А на столе —
Бутылочка,
Грибочки, огурцы.

Ой, яблочки мочёные
С обкомовской икрой,
Стаканчики гранёные
С хрустальной игрой,

И ножички, и вилочки —
Гуляйте, караси!
Но только в той бутылочке
Не водка:
Ка-ра-син!

Ну, вынула я пробочку —
Поправься, атаман!
Себе — для вида — стопочку,
Ему — большой стакан.

— Давай, поправься, солнышко,
Давай, залей костёр!..
Он выпил всё, до доньшка,
И только нос утёр.

Грибочек — пальцем — выловил,
Завёл туманно взгляд,
Сжевал грибок
И вымолвил:
— Нет, не люблю маслят!

<1970?>

О ТОМ, КАК КЛИМ ПЕТРОВИЧ ВОССТАЛ ПРОТИВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СЛАБОРАЗВИТЫМ СТРАНАМ

История эта очень печальная, Клим Петрович рассказывает её в состоянии крайнего раздражения и позволяет себе поэтому некоторые не вполне парламентские выражения.

...Прямо, думал я одно — быть бы живу,
Прямо, думал — до нутря просолюся!
А мотались мы тогда по Алжиру
С делегацией ЦК профсоюза.

Речи-встречи, то да сё, кроем НАТО,
Но вконец оголодал я, катаясь.
Мне ж лягушек ихних на дух не надо,
Я им, сукиным детям, не китаец!

Тут и Мао, сам-рассам, окосел бы!
Быть бы живу, говорю, не до жира!
И одно моё спасенье —
Консервы,
Что мне Дарья в чемодан положила.

Но случилось, что она, с переляку,
Положила мне одну лишь салаку.
Я в отеле их засратом, в «Паласе»,
Запираюсь, как вернётся, в палате,
Помолюсь, как говорится, Аллаху
И рубаю в маринаде салаку.
А наутро я от жажды мычу,
И хоть воду мне давай, хоть мочу!

Ну, извёлся я!
И как-то, под вечер,
Не стерпел и очутился в продмаге...
Я ж не лысый, мать их так!
Я ж не вечен!
Я ж могу и помереть с той салаки!

Вот стою я, прямо злой, как Малюта,
То мне зябко в пинжаке, то мне жарко.
Хоть дерьмовая, а всё же — валюта,
Всё же тратить исключительно жалко!

И беру я что-то вроде закуски,
Захудаленькую баночку, с краю.
Но написано на ней не по-русски,
А по-ихнему я плохо читаю.

Подхожу я тут к одной синьорите:
— Извините, мол, комбьен,
Битге-дритге,
Подскажите, мол, не с мясом ли банка?..
А она в ответ кивает, засранка!

И пошел я, как в беспамятстве, к кассе,
И очнулся лишь в палате, в «Паласе» —
Вот на койке я сижусь нагишом
И орудую консервным ножом!

И до самого рассветного часа
Матерился я в ту ночь, как собака.
Оказалось в этой банке не мясо,
Оказалась в этой банке салака!

И не где-нибудь в Бразилии «маде»,
А написано ж внизу, на наклейке,
Что, мол, «маде» в ЭсЭсЭр,
В маринаде,
В Ленинграде,
Рупь четыре копейки!

...Нет уж, братцы, надо ездить поближе,
Не на край, расперемать его, света!
Мы ж им — гадам — помогаем,
И мы же
Пропадаем, как клопы, через это!

Я-то думал — как-никак заграница,
Думал, память как-никак сохранится,
Оказалось, что они, голодранцы,
Понимают так, что мы — иностранцы!

И вся жизнь их заграничная — лажа!
Даже хуже — извините — чем наша!

<1970?>

ИЗБРАННЫЕ ОТРЫВКИ ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ КЛИМА ПЕТРОВИЧА

1. Из речи на встрече с интеллигенцией

...Попробуйте в цехе найти чувака,
Который бы мыслил не то!
Мы мыслим, как наше родное ЦК,
И лично...
Вы знаете — кто!

...И пусть кой-чего не хватает пока,
Мы с Лениным в сердце зато!
И мыслим, как наше родное ЦК,
И лично...
Вы знаете — кто!

...Чтоб нашей победы приблизить срока,
Давайте ж трудиться на то!
Давайте же мыслить, как наше ЦК,
И лично...
Вы знаете — кто!..

<1970?>

2. Из беседы с туристами из Западной Германии

...А уж пыль-то вы пускать мастера!
Мастера вы!
Да не те времена!
Мы на проценты сравним, мистера,
Так и нет у вас, пардон, ни хрена!..
Потому что всё у вас —
Напоказ.
А народ для вас — ничто и никто.
А у нас — природный газ,
Это раз.
И ещё — природный газ...





А. Галич (слева в углу) на занятиях в студии К.С. Станиславского



Актриса Валентина Архангельская — первая жена Александра Галича. Москва, лето 1942 г.

А. Галич. Фотография на комсомольском билете



Годовалая Алена и родители



В.Д. Архангельская. Иркутск, 1948 г.



Александр Галич с дочкой Аленой. Прогулка на Патриарших прудах, 1947 г.

Москва / ноябрь

Валюша!

Я несколько дней тому назад вернулся в Москву со с"емок и узнал, что доченька опять больна!

Что с ней?

Чем помочь тебе помочь и что для этого нужно?

Не сердись на меня, но еще дней десять я не сумею послать деньги - очень уж меня выбила из всего предполагающегося бюджета весна и весьма серьезная неудача с "Полетение обязывает".

Сейчас, творческие мои дела относительно поправились - не практически каландится моя жизнь еще не скоро. Во всяком случае, сразу-же, после праздников, я переведу некоторую сумму. Заранее поздравляю тебя с праздниками.

Целуй доченьку!

Саша

Родная моя, золотая доченька!

Ты что-же это опять болешь?

Как тебе не стыдно?! Разве мы с тобой угаривались болеть?

Очень тебя прошу, селешке мое, немедленно поправиться и не огорчать всех. А тут еще праздники скоро! А тут еще в школе надо ходить - пятёрки получать! Ведь ты у меня отличница, правда!

Я крепко-крепко тебя целую и обнимаю, поздравляю тебя с праздниками

Всегда твой Папа Саша

П И С Ь М О

ДОРОГОЙ ДОЧЕНЬКЕ АЛЕНУШКЕ

ОТ ПАПЫ САШИ.

НОЧЬ. УСНУЛА ВСЯ КВАРТИРА.
Я ОДИН НЕ СПЛЮ, ГРУЗИУ.
ВСЕ ПЛЯЖУ НА КАРТУ МИРА,
ВСЕ ИРКУТСК НА НЕД ИДУ.
ТОТ ИРКУТСК НА КАРТЕ-ТОЧЕЧКА.
У МЕНЯ В ИРКУТСКЕ-ДОЧЕЧКА!
ПО ПРОЗВАНИЮ-АЛЕНКА,
ЗОЛОТАЯ ГОЛОВЕНКА!

ГОВОРЯТ, ЧТО ТЫ БОЛЕЛА,
ПРОЛЕЖАЛА ДВЕ НЕДЕЛИ?
ЭТО, ДОЧЕНЬКА, НЕ ДЕЛО
ЧТОБЫ ДОЧЕНЬКИ БОЛЕЛИ!

ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ ЛЕЖАТЬ В ПОСТЕЛИ-
ОЧЕНЬ ПЛОХО!
И НЕ БЕГАТЬ ДВЕ НЕДЕЛИ-
ОЧЕНЬ ПЛОХО!
И НА САНКАХ НЕ КАТАТЬСЯ-
ОЧЕНЬ ПЛОХО!
НЕ ВСТАВАТЬ, НЕ УМЫВАТЬСЯ-
ОЧЕНЬ ПЛОХО!
ПЛОХО-КАШЛЯТЬ И БОЛЕТЬ,
И НА ГРАДУСНИК ГЛЯДЕТЬ!

ЧТО-ЖЕ ДЕЛАТЬ? КАК НАМ БЫТЬ?
КАК НАМ ГОРЮ ПОСОБИТЬ?
КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ГРИППОВ,
КАШЛЕЙ, НАСМОРКОВ И ХРИПОВ,
ОТ АНГИН И ОТ БРОНХИТОВ,
ОТ РАССТРОЙСТВ И ОТ КАЛИТОВ?!
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ... ТОЛЬКО-ЧУ!
ПО СЕКРЕТУ НАУЧУ!



-2-

ЧТОБ ВРАЧЕЙ НЕ ЗВАЛИ СНОВА,
НЕ ДАВАЛИ ПИТЬ МИКСТУР,
ТЫ ЗАПОМНИ, ДОЧКА, СЛЕСВО-
КАРА-КАРА-КАРА-МУРРР!

ТОЛЬКО СКАЖЕШЬ: КАР-КАРРА!
КАР-КАРРА!
ВСЕ БОЛЕЗНИ СО ДВОРА,
СО ДВОРА!
КРИЧЕШЬ ГРОМКО: КАРА-МУРР!
КАРА-МУРР!
И НЕ НАДО ПИТЬ МИКСТУР,
ПИТЬ МИКСТУР!

МОЖНО СНОВА СДЕЛАТЬСЯ-
ХОРОШО!
И НА САНОЧКАХ КАТАТЬСЯ-
ХОРОШО!
И ИГРАТЬ В СНЕЖКИ,
И ГУЛЯТЬ У РЕКИ-
ОЧЕНЬ ХОРОШО!

ЕСЛИ ПРИХВОРНЕШЬ НЕМНОЖКО,
ЕСЛИ ВЕЧЕР СЕР И ХМУР,
ГОВОРИ ВСЕГДА, АЛЕШКА-
КАРА-КАРА-КАРА-МУРРР!

КРЕПКО ЦЕЛЮ ТЕБЯ РОДНАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА-
ТВОЙ ПАПА

Саша.



Заслуженная актриса России Алена Архангельская-Галич с сыном Павликом, внуком Александра Галича (ныне Павел — студент Школы-студии МХАТ). Кстати, родился он, как и дед, в день лицейстов — 19 октября, и это, похоже, уже не совпадение, а семейная мистика!

И опять — природный газ...
И по процентам, как раз,
Отстаёте вы от нас
Лет на сто!

<1970?>

Но образу и подобию, или Как было
написано на воротах Бухенвальда:
«Jedem das Seine» — «Каждому — своё».

Начинается день и дневные дела,

Но треклятая месса уснуть не дала.
Ломит поясницу и ноет бок,
Бесконечной стиркою дом пропах...
— С добрым утром, Бах, — говорит Бог.
— С добрым утром, Бог, — говорит Бах.
С добрым утром!..

...А над нами с утра, а над нами с утра,
Как кричит вороньё на пожарище,
Голосят рупора, голосят рупора:
«С добрым утром! Вставайте, товарищи!»

А потом, досыпая, мы едем в метро,
В электричке, в трамвае, в автобусе,
И орут, выворачивая нутро,
Рупора о победах и доблести.

И спросонья бывает такая пора,
Что готов я в припадке отчаянья
Посшибать рупора, посбивать рупора —
И услышать прекрасность молчания...

Под попреки жены исхитрись-ка изволь
Сочинить переход из це-дура в ха-моль!..

От семейных ссор, от долгов и склок
Никуда не деться, и дело — швах...
— Но не печалься, Бах, — говорит Бог.

— Да уж ладно, Бог, — говорит Бах.
Да уж ладно!..

...А у бабки инсульт, и хворает жена,
И того не хватает, и этого,
И лекарства нужны, и больница нужна,
Только место не светит покедова.

И меня в перерыв вызывают в местком,
Ходит пред по местному присядкою:
«Раз уж дело такое, то мы подмогнём,
Безвозвратною ссудим десяткою».

И кассир мне деньгу отслонит по рублю,
Ухмыльнётся ухмылкой грабительской.
Я пол-литра куплю, валидолу куплю,
Двести сыра и двести «Любительской»...

А пронзительный ветер, предвестник зимы,
Дует в двери капеллы Святого Фомы,

И поёт орган, что всему итог —
Это вечный сон, это тлен и прах!
— Но не кощунствуй, Бах! — говорит Бог.
— А ты дослушай, Бог! — говорит Бах. —
Ты дослушай!..

...А у суки-соседки гулянка в соку,
Девки воют, хихикают хахали.
Я пол-литра открою, нарежу сырку,
Дам жене валидолу на сахаре,

И по первой налью, и налью по второй,
И сырку, и колбаски покушаю,
И о том, что я самый геройский герой,
Передачу охотно послушаю.

И трофейную трубку свою запалю,
Посмеюсь над мыгчащею бабкою,

И ещё раз налью, и ещё раз налью,
И к соседке схожу за добавкою...

Он снимает камзол, он сдирает парик.
Дети шепчутся в детской: «Вернулся старик...»

Что ж, ему за сорок — немалый срок,
Синева, как пыль, на его губах...
— Доброй ночи, Бах, — говорит Бог.
— Доброй ночи, Бог, — говорит Бах. —
Доброй ночи!..

<Декабрь 1970>

История, проливающая свет на некоторые дипломатические тайны, или Про то, как все это было на самом деле

(Рассказ закройщика)

Ну была она жуткою шельмою,

Одевалась в джерси и мохер,
И звалась эта дамочка Шейлоу
На гнилой заграничный манер.

Отличалась упрямством отчаянным:
Что захочет, мол, то и возьмем...
Ее маму за связь с англичанином
Залопатили в сорок восьмом.

Было все: и уютская коечка,
И засъёмочки в профиль и в фас...
А по ней и не скажешь нисколючко —
Прямо дамочка «маде ин Франс»!

Не стирала по знакомым пелёнки,
А служила в ателье на приёмке,
Оформляла исключительно шибко
И очки ещё носила для шика,

И оправка на очках роговая...
Словом, дамочка вполне роковая!
Роковая, говорю, роковая,
Роковая прямо как таковая!

Только сердце ей вроде как заперли.
На признанья смеялась — враньё!
Два закройщика с брючником запили
Исключительно через нее.

Не смеяться бы надо — молиться ей!
Жисть её и прижала за то.
...Вот однажды сержант из милиции
Сдал в пошив ей букле на пальто.

Но совсем не букле тут причиною,
А причиною — пристальный взгляд.
Был сержант этот видным мужчиною:
Рост четвертый, размер пятьдесят.

И начались тут у них трали-вали,
Совершенно то есть стыд потеряли:
Позабыли, что для нашей эпохи
Не подходят эти «ахи» и «охи».

Он трезвонит ей, от дел отвлекает:
Сообщите, мол, как жисть протекает?
Протекает, говорит, протекает...
Мы-то знаем, на чего намекает!

Вот однажды сержант из милиции
У «Динамо» стоял на посту:
Натурально, при всей амуниции,
Со свистком мелодичным во рту.

Вот он видит, идет его Шейлочка,
И, заметьте, идёт не одна!
Он встряхнул головой хорошенечко,
Видит — это и вправду она.

И тогда, как алкаш на посудинку,
Невзирая на свист и гудки,
Он бросается к Шейлину спутнику
И хватает его за грудки!

Ой, сержант, вы пальцем в небо попали!
То ж не хахаль был, а Шейлин папаня:
Он приехал повидаться с дочуркой
И не ждал такой проделки нечуткой!

Всё было пасмурно и серо,
[REDACTED]

И лес стоял, как неживой,
И только гиря говномера
Слегка качала головой.

Не всё напрасно в этом мире
(Хотя и грош ему цена!),
Не всё напрасно в этом мире,
Покуда существуют гири
И виден уровень говна!

<1973?>

О вреде чтения

Я шёл и сбился с верного следа...

Данте

Я долго шёл по дьявольской жаре,

Я шёл и сбился с верного следа.
И вышел к дому с надписью «ЖМ»,
Что по-французски значит «никогда».

Веди меня, Вергилий, в этот ад!
Он неказист, он сумрачен и нем...
Но вдруг, увидев чей-то голый зад,
Я понял, что такое «Ж» и «М».

<1973>

Письмо в семнадцатый век

...По вечерам, написав свои обязательные десять страниц (я писал в Серебряном боре «Генеральную репетицию»), я отправлялся гулять. Со мною неизменно увязывался дворовый беспородный пёс по кличке Герцог. С берега Москвы-реки мы сворачивали в лесную аллею, доходили до троллейбусной остановки, огибали круглую площадь и тем же путём возвращались к реке. Я садился на скамейку, закуривал, Герцог устраивался у моих ног. Мы смотрели на бегущую воду, на противоположный берег. Справа стояла церковь — Лыковская Троица, — превращённая в дровяной склад, а слева расстилались уголья государственной дачи номер пять. Там жил ещё член Политбюро в ту пору, Д. Полянский. Именно его вельможному гневу я был обязан, как выразились бы старинные канцеляристы, «лишением всех прав состояния». Вертеть головой то направо, то налево было чрезвычайно интересно.

Уж так ли безумно намеренье —
Увидеться в жизни земной?!
Читает красотка Вермеера
Письмо, что написано мной.

Она — словно сыграна скрипкою —
Прелестна, нежна и тонка,
Следит, с удивлённой улыбкою,
Как в рифму впадает строка.

А впрочем, мучение адово
Читать эти строчки вразброд!

Как долго из века двадцатого
В семнадцатый — почта идёт!

Я к ней написал погалантнее,
Чем в наши пишу времена...
Смеркается рано в Голландии,
Но падает свет из окна.

Госпожа моя! Триста лет,
Триста лет вас всё нет как нет.
На чепце расплелась тесьма,
Почтальон не несёт письма,
Триста долгих-предолгих лет
Вы всё пишете мне ответ.
Госпожа моя, госпожа,
Просто — режете без ножа!

До кого-то доходят вести,
До меня — только сизый дым.
Мы с дворовой собакой вместе
Над бегучей водой сидим.
Пёс не чистой породы, помесь,
Но премудрый и славный пес...
Как он тащится, этот поезд,
Триста лет на один откос!
И такой он ужасно гордый,
Что ему и гудеть-то лень...
Пёс мне ткнулся в колени мордой,
По воде пробежала тень.

Мы задремлем, но нас разбудит
За рекой громыхнувший джаз...

Скоро, скоро в Москву прибудет
Из Голландии дилижанс!

Вы устали, моя судьба,
От столба пылить до столба?
А у нас теперь на Руси

И троллейбусы, и такси.
Я с надеждой смотрю — а вдруг
Дилижанс ваш придёт на круг?
Дилижанс стоит на кругу...

Дилижанс стоит на кругу —
Я найти его не могу!

Он скоро, скоро, скоро тронется!
Я над водой сижусь опять.
Направо — Лыковская Троица,
Налево — дача номер пять.

На этой даче государственной
Живёт светило из светил,
Кому молебен благодарственный
Я б так охотно посвятил!
За всё его вниманье крайнее,
За тот отеческий звонок,
За то, что муками раскаянья
Его потешить я не мог!
Что славен кличкой подзаборною,
Что наглых не отвёл очей,
Когда он шествовал в уборную
В сопровожденьи стукачей!

А поезд всё никак не тронется!
Какой-то вздор, какой-то бред...

В вечерний дым уходит Троица,
На даче кушают обед.

Меню государственного обеда:

Бламанже.
Суп гороховый с грудинкой и гренками.
Бламанже!
Котлеты свиные отбивные
с зелёным горошком.

Бламанже!!

Мусс клубничный со взбитыми сливками.
Бламанже!!!

— Вы хотите
Бля-ман-же?

— Извините,
Я уже!

У них бламанже сторожат сторожа,
Ключами звеня.
Простите меня, о моя госпожа,
Простите меня!

Я снова стучусь в ваш семнадцатый век
Из этого дня.
Простите меня, дорогой человек,
Простите меня!

Я славлю упавшее в землю зерно
И мудрость огня.
За всё, что мне скрыть от людей не дано, —
Простите меня!

Ах, только бы шаг — за черту рубежа
По зыбкому льду...
Но вы подождите меня, госпожа,
Теперь я решился, моя госпожа,
Теперь уже скоро, моя госпожа,
Теперь я приду!..

Я к Вам написал погалантнее,
Чем в наши пишу времена.

Смеркается рано в Голландии,
Но падает свет из окна.

Воспоминания об Одессе

...Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?

О. Мандельштам

Научили пилить на скрипочке,

Что ж — пили!
Опер Сёма кричит:
— Спасибочки! —
Словно:
— Пли!

Опер Сёма гуляет с дамою,
Весел, пьян.
Что мы скажем про даму данную? —
Не фонтан!

Синий бантик на рыжем хвостике —
Высший шик!
Впрочем, я при Давиде Ойстрахе
Тоже — пшик.

Но под Ойстраха непростительно
Пить портвейн.
Так что в мире всё относительно,
Прав Эйнштейн!

Всё накручено в нашей участи —
Радость, боль.
Ля-диез — это ж тоже, в сущности,
Си-бемоль!

Сколько выдано-перевыдано,
Через край!
Сколько видано-перевидано —
Ад и рай!..

Так давайте ж, Любовь Давыдовна,
Начинайте, Любовь Давыдовна,
Ваше соло, Любовь Давыдовна,
Раз — цвай — драй!..

Над шалманом тоска и запахи,
Сгинь, душа!
Хорошо хоть не как на Западе:
В полночь — ша!

В полночь можно хватить по маленькой,
Боже ж мой!
Снять штиблеты, напялить валенки
И — домой!..

...Я иду домой. Я очень устал и хочу спать. Говорят, когда людям по ночам снится, что они летают, — это значит, что они растут. Мне много лет, но едва ли не каждую ночь мне снится, что я летаю.

... Мои стрекозиные крылья
Под ветром трепещут едва,
И сосен зелёные клинья
Шумят подо мной, как трава.

А дальше —
Таласса, таласса!* —

Вселенной волшебная статья!
Я мальчик из третьего класса,
Но как я умею летать!

* В наши детские годы никто никогда не называл море морем. А бытовало в Крыму греческое слово «таласса».

Смотрите —
Лечу, словно в сказке,
Лечу сквозь предутренный дым
Над лодками в пёстрой оснастке,
Над городом вечно седым,
Над пылью автобусных станций —
И в край приснопамятный тот,
Где снова ахейские старцы
Ладьи снаряжают в поход.

Чужое и глупое горе
Велит им на Трои грести.
А мне —
За Эгейское море,
А мне ещё дальше расти!

Я вырасту смелым и сильным
И мир, как подарок, приму,
И девочка
С бантиком синим
Прижмётся к плечу моему.

И снова в разрушенной Трое
— Елена! —
Труба возвестит.
И снова...

...На углу Садовой какие-то трое остановили меня. Они сбили с меня шапку, засмеялись и спросили:
— Ты еще не в Израйле, старый хрен?!
— Ну что вы, что вы! Я дома. Я — пока — дома.
Я ещё летаю во сне. Я ещё расту!..

* * *

Я, товарищи, скажу помаленьку,

Мы не где-нибудь живём — на Руси.
Кому кепка, а кому — тюбетейка,
Кто что хочет — надевай и носи.
Наше дело — это тонкое дело,
Тёмный лес, любезный друг, тёмный лес,
И обязаны мы ночью и днём
Государственный блюсти интерес.
Мы не в рюхи здесь играем, не в карты,
Здесь не баня, говорят, не вокзал.
Что для нас наиважнейшее? Кадры!
Это знаешь, дорогой, кто сказал?
Тут не с удочкой сидишь, рыболовишь,
Должен помнить, как основу основ:
Рабинович — он и есть Рабинович,
А скажи мне, кто таков Иванов?
Вот он пишет в заявлении — русский,
Истый-чистый, хоть станешь напоказ,
А родился, извиняюсь, в Бобруйске,
И у бабушки фамилия Кац.
Значит, должен ты учесть эту бабку
(Иванову, натурально, молчок!).
Но положи её в отдельную папку
И поставь на ней особый значок,
и т. д.

<1973?>

* * *

*Г*оворят, пошло с Калиты,

А уж дале — из рода в род.
То ли я сопру, то ли ты,
Но один, как часы, сопрёт!
То ли ты сопрёшь, то ли я,
То ли оба мы на щите...
С Калиты идёт колея —
Все воры — и все в нищете!
И псари воры, и князья,
Не за корысть воры, за злость!
Без присмотра на миг нельзя
Ни корону бросать, ни гвоздь!..
Уж такие мы удались,
Хоть всю жизнь живём на гроши.
А который спер — тот делись,
Тут как тут стоят кореш!..
И под скучный скулеж дележа,
У подъездов, дверей и оград,
Вдоль по всей Руси сторожа,
Все сидят сторожа — сторожат!

<1973?>



«Вечный
транзит»





Рассказ, который я услышал в привокзальном шалмане

Нам сосиски и горчицу —

Остальное при себе.
В жизни может всё случиться —
Может «А», а может «Б».

Можно жизнь прожить в покое,
Можно быть всегда в пути...
Но такое, но такое!
Это ж — Господи, прости!

Дядя Лёша, бог рыбачий,
Выпей, скушай бутерброд,
Помяни мои удачи
В тот апрель о прошлый год.

В том апреле, как в купели,
Голубели невода,
А потом — отголубели,
Задубели в холода!

Но когда из той купели
Мы тянули невода,
Так в апреле преуспели,
Как порою за года!

Что нам Репина палитра,
Что нам Пушкина стихи:
Мы на брата — по два литра,
По три порции ухи!

И айда за той, фартовой,
Закусивши удила,
За той самой, за которой
Три деревни, два села!

Что ни вечер — «Кукарача»!
Что ни утро, то аврал!
Но случилась беда —
Я документ потерял!

И пошёл я к Львовой Клавке:
— Будем, Клавка, выручать,
Оформляй мне, Клавка, справки,
Шлёпай круглую печать!

Значит, имя, год рожденья,
Званье, член КПСС... —
Ну, а дальше — наважденье,
Вроде вдруг попутал бес.

В состоянии помятом
Говорю для шутки ей:
— Ты давай, мол, в пункте пятом
Напиши, что я — еврей!

Посмеялись и забыли,
Крутим дальше колесо,
Нам всё это — вроде пыли...
Но совсем не вроде пыли,
Но совсем не вроде пыли
Дело это для ОСО!

Вот прошёл законный отпуск,
Начинается мотня:
Первым делом сразу допуск
Отбирают у меня.

И зовёт меня Особый,
Начинает разговор:
— Значит, вот какой особый,

Прямо скажем, хитрожопый,
Прямо скажем, хитрожопый
Оказался ты, Егор!

Значит, все мы, кровь на рыле,
Топай к светлому концу, —
Ты же будешь в Израиле
Жрать, подлец, свою мацу!

Мы стоим за дело мира,
Мы готовимся к войне!
Ты же хочешь, как Шапиро,
Прохлаждаться в стороне!

Вот зачем ты, вроде вора,
Что желает — вон из пут,
Званье русского майора
Променял на «пятый пункт»!

Я ему, с тоской в желудке,
Отвечаю, еле жив:
— Это ж я за-ради шутки,
На хрена мне Тель-Авив!

Он как гаркнет: — Я не лапоть!
Поищи-ка дурачков!
Ты же явно хочешь драпать!
Это ж видно без очков!

Если ж кто того не видит,
Растолкуем в час-другой!..
Нет, любезный, так не выйдет,
Так не будет, дорогой!

Мы тебя — не то что взгреем,
Мы тебя сотрём в утиль!
Нет, не зря ты стал евреем!
А затем ты стал евреем,
Чтобы смыться в Израиль!

И пошло тут, братцы-друзи,
Хоть ложись и в голос вой!..
Я теперь живу в Калуге,
Беспартийный, рядовой.

Мне теперь одна дорога,
Мне другого нет пути:
Где тут, братцы, синагога?!
Подскажите, как пройти!

<1972?>

Несня исхода

**Галиньке и Виктору —
мой прощальный привет**

...Но Идущий за мной сильнее
меня...

От Матфея 3, 11

Уезжаете?! Уезжайте —

За таможни и облака!
От прощальных рукопожатий
Похудела моя рука.

Я не плакальщик и не стража
И в литавры не стану бить.
Уезжаете? Воля ваша!
Значит, так по сему и быть!

И плевать, что на сердце кисло,
Что прощанье как в горле ком...
Больше нету ни сил, ни смысла
Ставить ставку на этот кон.

Разыграешься только-только,
А уже из колоды — прыг! —
Не семёрка, не туз, не тройка —
Окаянная дама пик!

И от этих усатых шатий,
От анкет и ночных тревог —
Уезжаете? Уезжайте!
Улетайте — и дай вам Бог!

Улетайте к неверной правде
От взаимовраждебных мёрзлых зон...
Только мёртвых своих оставьте —
Не тревожьте их мёртвый сон:

Там, в Понарах и в Бабьем Яре,
Где поныне и следа нет, —
Лишь пронзительный запах гари
Будет жить ещё сотни лет,

В Казахстане и в Магадане,
Среди снега и ковыля, —
Разве есть земля богоданней,
Чем безбожная та земля? —

И под мраморным обелиском
На распутице площадей,
Где, крещённых единым списком,
Превратила их смерть в людей!..

А над ними шумят берёзы —
У деревьев своё родство, —
А над ними звенят морозы
На Крещение и Рождество.

.. Я стою на пороге года —
Ваш сородич и ваш изгой,
Ваш последний певец исхода...
Но за мною придёт Другой!

На глаза нахлобучив шляпу,
Дерзкой рыбой, пробившей лёд,
Он пройдёт не спеша по трапу
В отлетающий самолёт!

Я стою... Велика ли странность?!
Я привычно машу рукой.
Уезжайте! А я останусь.
Я на этой земле останусь.
Кто-то ж должен, презрев усталость,
Наших мёртвых стеречь покой!

* * *
*т*елефон, нишкни, замолкни!

Говорить — охоты нет.
Мы готовимся к зимовке,
Нам прожить на той зимовке
Предстоит немало лет.

Может, десять, может, девять.
Кто подскажет наперёд?!
Что-то вроде надо делать...
А вот то и надо делать,
Что готовиться в поход.

Будем в списке ставить птички,
Проверять по многу раз:
Не забыть бы соль и спички,
Не забыть бы соль и спички,
Взять бы сахар про запас.

Мы и карту нарисуем!
Скоро в путь!
Ничего, перезимуем!
Как-нибудь перезимуем.
Как-нибудь!

Погромьхивает еле
Отгулявшая гроза...
Мы заткнём в палатке щели,
Чтобы люди в эти щели
Не таращили глаза.

Никакого нету толка
Разбираться — чья вина?!
На зимовке очень долго,
На зимовке страшно долго
Длятся ночь и тишина.

Мы потуже стянем пояс —
Порастай, беда, быльём!
Наша льдина не на полюс,
Мы подальше, чем на полюс, —
В одиночество плывём!

Мы плывём и в ус не дуем,
В путь — так в путь!
Ничего, перезимуем!
Как-нибудь! Перезимуем
Как-нибудь!

Годы, месяцы, недели
Держим путь на свой причал,
Но, признаться, в самом деле
Я добравшихся до цели
Почему-то не встречал.

Зажелтит заката охра,
Небо в саже и в золе.
Сквозь зашторенные окна
Строго смотрят окна в окна
Все зимовки на земле.

И не надо переклички,
Понимаем всё и так.
Будем в списке ставить птички:
Не забыть бы соль и спички,
Сахар, мыло и табак.

Мы, ей-Богу, не горюем.
Время — в путь.
Ничего, перезимуем.
Как-нибудь перезимуем,
Как-нибудь.

* * *

Я в путь собирался всегда налегке,

Без долгих прощальных торжеств,
И маршальский жезл не таскал в рюкзаке,
На кой он мне, маршальский жезл!

Я был рядовым и умру рядовым —
Всею щедрой земли рядовой,
Что светом дарила меня даровым,
Поила водой даровой.

До старости лет молоко на губах,
До тьмы гробовой — рядовой.
А маршалы пусть обсуждают в штабах
Военный бюджет годовой!

Пускай заседают за круглым столом
Вселенской охоты псари!
А мудрость их вся заключается в том,
Что два — это меньше, чем три.

Я сам не люблю старичков-ворчунов
И всё-таки — истово рад,
Что я не изведал бесчестья чинов
И низости барских наград.

Земля под ногами и посох в руке
Торжественней всяких божеств,
А маршальский жезл у меня в рюкзаке —
Свирель, а не маршальский жезл!

9 марта 1972

Вечерние прогулки

Маленькая поэма

Владимиру Максимову

1

Бывали ль вы у Спаса на Крови?

Там рядом сад с дорожками.
И кущи.
Не прогуляться ль нам, на сон грядущий,
И поболтать о странностях любви?

Смеркается.
Раздолье для котов.
Плывут косые тени по гардине,
И я вам каюсь, шёпотом, в гордыне,
Я чёрт-те в чём покаяться готов!

Пора сменить — уставших — на кресте,
Пора надеть на свитер эполеты
И хоть под старость выбиться в поэты,
Чтоб ни словечка больше в простоте!

Допустим, этак:
Медленней, чем снег,
Плывёт усталость — каменная птица.
Как сладко всем в такую полночь спится!
Не спит — в часах — песочный человек.

О, этот вечнотающий песок,
Немолчный шелест времени и страха!
О Парка, Парка, сумрачная пряжа,
Повремени, помедли хоть часок!..

А ловко получается, шарман!
О, как же эти «О!» подобны эху...
Но, чёрт возьми, ещё открыт шалман!
Вы видите, ещё открыт шалман!
Давайте, милый друг,
Зайдём в шалман!
Бессмертье подождёт, ему не к спеху!

2

Ах, шалман, гуляй, душа,
Прочь, унынье чёрное!
Два учёных алкаша
Спорят про учёное:
— Взять, к примеру, мю-мезон:
Вычисляй и радуйся!
Но велик ли в нем резон
В рассужденьи градуса?..

Ух, шалман,
Пари, душа!
Лопайтесь, подтяжки!
Работяга не спеша
Пьёт портвейн из чашки.
— Все грешны на свой фасон,
Душу всем изранили!
Но уж если ты мезон,
То живи в Израиле!..

Ну, шалман!
Ликуй, душа!
Света! Света! Светочка!
До чего же хороша,
Как в бутылке веточка!

Света пиво подает
И смеётся тоненько.

Три — пустые — достаёт
Света из-под столика.

— Это, Света, на расчёт,
И вперёд — в начало!..
Работяга, старый чёрт,
Машет ручкой:
— Чао!..

Вот он встал, кудлатый чёрт,
Пальцами шаманя.
Уваженье и почёт
Здесь ему, в шалмане!

3

Он, подлец, — мудрец и стоик,
Он прекрасен во хмелю!
Вот он сел за крайний столик
К одинокому хмырю.

— Вы, прошу простить, партийный?
Подтвердите головой!..

Хмырь кивает.
Работяга улыбается:

— Так и знал, что вы партийный.
Но заходите в питейный —
И по линии идейной
Получаетесь как свой!

Эй, начальство!
Света, брызни!
Дай поярче колорит!..

— Наблюдение из жизни! —
Работяга говорит.

И, окинув взглядом тесный
Зал на сто семнадцать душ,
Он, уже почти что трезвый,
Вдруг понёс такую чушь!..

4

— На троллейбусной остановке
Все толпятся у самой бровки,
И невесело, как в столовке,
На троллейбусной остановке.
Хоть и улица — а накурено,
И похожи все на Никулина —
Ну, того, что из цирка, клоуна, —
Так же держатся люди скованно.
Но попробуй у них спроси:
«Где тут очередь на такси?!»

А где очередь на такси,
Там одни «пардон» и «мерси».
Там грузины стоят с корзинками
И евреи стоят с грузинками,
И глядят они вслед хитро
Тем, кто ехать решил в метро.
И вдогонку шипят: «Ай-вай!..»
Тем, кто топает на трамвай.

А трамвайная остановка —
Там особая обстановка:
«Эй, ты — в брючках, пшено, дешёвка,
Ты отчаливай, не форси!
Тут трамвайная остановка,
А не очередь на такси!..»

И, платком заместо флага
Сложный выразив сюжет,
Наш прелестный работяга
Вдруг пропел такой куплет:

— А по шоссе, на Калуги и Луги,
В дачные царства, в казённый уют,
Мчатся в машинах народные слуги,
Мчатся — и грязью народ обдают!..

5

У хмыря — лицо, как тесто,
И трясётся голова.
Но приятный гром оркестра
Заглушил его слова.

Был оркестр из настоящих
Трёх евреев, первый сорт!
А теперь упрятан в ящик
Под названием «Аккорд».

И ведёт хозяйство это
Ослепительная Света.

И пускает, в цвет моменту,
Отобрав из сотни лент,
Соответственную ленту
В соответственный момент.

Вот сперва завыли трубы:
Всё, мол, в жизни трын-трава!..
У хмыря трясутся губы
И трясётся голова.

Вот — поддал ударник жару,
Показал, бродяга, класс!
А уж после — под гитару
Произнёс нахальный бас:

— Доля, доля, злая доля,
Протрубила б ты отбой!
Сверху небо, снизу поле,
Посередке — мы с тобой.

Мы с тобою посередке,
Ты — невеста,
Я — жених.
Нам на личность по селёдке
И пол-литра на двоих.

Мы культурно свет не застим,
Взять судьбу не можем в толк.
И поёт нам: «С новым счастьем!»
Наш парторг — тамбовский волк.
Он поёт — один в гордыне,
Как свидетель на суде:

«С новым счастьем, молодые,
И с успехами в труде!..
И чтоб первенец загукал,
Как положено в семье,
Вам партком отводит угол
В обще...»

...Тут, увы, заело ленту —
Отслужила, видно, срок.
Но, опять же в цвет моменту,
Грянул бойкий тенорок:

— Чтобы очи мои повылазили,
Чтоб не видеть мне белого дня!
Напридумали Лазари лазеры
И стараются кончить меня!..

И шалман зашёлся смехом,
Загудел, завыл шалман.
И, частушке вторя эхом,
Об стакан гремит стакан.

6

Света, Света, добрый друг, —
Что же ты замолкла вдруг?
Где твой Лазарь, где твой милый,

Завбуфетом в цвете лет?!
Он убит — и взят могилой,
Как сказал один поэт.

Брал он скромно, брал по праву,
Брал не с верхом, а в очко:
Было — заму,
Было — заву,
Было всем на молочко...

Уносите, дети, ноги,
Не ходите, дети, в лес —
В том лесу живет в берлоге
Лютый зверь — Обэхаэс!..*

Всем вlepили мелочишку,
Всё равно что за прогул.
Только Лазарь принял «вышку»,
Даже глазом не моргнул...

Точно так же, как когда-то
Не моргнул и глазом он,
Когда гнал его, солдата,
Дезертир из школы вон —

Мол, не так он учит деток,
Подозрительный еврей,
Мол, не славит пятилеток,
А долдонит про царей.

Заседанье педсовета
Подвело всему итог...
С ним ушла тогда и Света —
Физкультурный педагог.

Что ты, что ты, что ты, что ты,
Что ты видишь сквозь туман?

* ОБХСС — отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности. (Прим. сост.)

Как мотались без работы?
Как устроились в шалман?
Как, без голоса, кричала
В кислом зале горсуда?..

Эй, не надо всё сначала,
Было — сплыло навсегда!
Было — сплыло...

Тут линияет гром оркестра —
Мал в шалмане габарит.
И опять, оркестра вместо,
Работяга говорит
(А в руке гуляет кружка,
И смеётся левый глаз):
— Это всё была петрушка,
А теперь пойдёт рассказ!

7

Мы гибли на фронте,
Мы хрипли в комбеде.
А вы нас вели
От победы к победе!
Нам бабы кричали:
«Водицы попейте!
Умойтесь, поешьте,
Поспите хоть ночку!»
А вы нас вели
От победы к победе,
И пуля свинцовая
Ставила точку!
Мы землю долбили,
Мы грызли железо,
Мы грудь подставляли
Под дуло обреза.
А вы, проезжая

В машине «Победе»,
В окно нам кричали:
«Достройте!.. Добейте!..»
И мы забывали
О сне и обеде,
И вы нас вели
От победы к победе!

А вы:
«Победы» меняли на «Волги»,
А после:
«Волги» меняли на «ЗИМы»,
А после:
«ЗИМы» меняли на «Чайки»,
А после:
«Чайки» меняли на «ЗИЛы»...

А мы надрывались,
Долбили, грузили!
И вот уже руки
Повисли, как плети,
И ноги не ходят,
И волосы седы.
А вы нас вели
От победы к победе.
И тосты кричали
Во славу победы:
«Ну, пусть не сегодня,
Так — завтра, так — в среду!
Достройте!.. Добейте!..
Дождём!.. Приурочим!..»
А мы, между прочим,
А мы, между прочим,
Давно — положили —
На вашу победу!..

8

Хмырь зажал рукою печень,
Хмырь смертельно побледнел.
Даже хмырь — и тот не вечен,
Есть для каждого предел.

Работяга (в кружке пена),
Что ж ты, дьявол, совершил?
Ты ж действительного члена
Нашу партию лишил!

И пленительная Света,
Сандалетами стуча,
Срочно стала из буфета
Вызывать в шалман врача...

9

Какая ночь! Как улицы тихи!
Двенадцать на часах Аэрофлота.
И кажется — дойдёшь до поворота
И потекут бессмертные стихи!

<1973?>

* * *

Шёл дождь, скрипело мироздание,
В дожде светало на Руси,
Но ровно в семь — без опоздания —
За ним приехало такси.

И он в сердцах подумал: «Вымокну!» —
И усмехнулся, и достал
Блокнот, чтоб снова сделать вымарку,
И тот блокнот перелистал.

О, номера поминовения
Друзей и близких — А да Я!
О, номеров исчезновение,
Его печаль — от А до Я:

От А трусливого молчания
До Я лукавой похвалы,
И от надежды до отчаянья,
И от Ачана до Яйлы.

Здесь всё, что им навек просрочено,
Здесь номера — как имена,
И Знак Почёта — как пощёчина,
И Шестидневная война.

И облизнул он губы синие,
И сел он, наконец, в такси...
Давно вперёд по красной линии
Промчались пасынки тоски.

Им не нужна его отметина —
Он им и так давно знаком, —

В аэропорте «Шереметьево»
Он — как в Бутырках под замком.

От контражура законного
Ещё темней, чем от стыда.
Его случайная знакомая
Прошла наверх и — в никуда.

Ведь погорельцем на пожарище,
Для всех чужой, и всем ничей,
Стоял последний провожающий
В кругу бессменных стукачей.

<1973>

Кумачовый вальс

Хоть на месяц сбежать в редколесье

Подмосковной условной глуши,
Где в колодце воды — хоть залейся
И порою весь день ни души!

Там отлипнет язык от гортани,
И не страшно, а просто смешно,
Что калитка, по-птичьи картавая,
Дребезжать заставляет окно.

Там не страшно, что хрустнула ветка
Поутру под чужим каблуком.
Что с того?!
Это ж просто соседка
Принесла нам кувшин с молоком.

Но, увы — но и здесь — над платформой,
Над антеннами сгорбленных дач,
Над берёзовой рощей покорной
Торжествует всё тот же кумач!

Он таращит метровые буквы,
Он вопит и качает права...
Только буквы, расчёртовы куклы,
Не хотят сочетаться в слова.
— Миру — мир!
— Мыру — мыр!
— Муре — мура!
— Мира — миг, мира — миф, в мире — мер.
И вникает в бессмыслицу хмуро
Участковый милиционер.

Удостоенный важной задачей,
Он — и ночью, и утром, и днём —
Наблюдает за некою дачей,
За калиткой, крыльцом и окном.
Может, там куролесят с достатка,
Может, контра и полный блядѣж?!

Кумачовый блюстителъ порядка,
Для кого ты порядок блюдёшь?!
И, себя выдавая за знамя,
Но древко наклонив, как копьё,
Маскировочной сетью над нами
Кумачовое реет тряпьё!

Так неужто и с берега Леты
Мы увидим, как в звѣздный простор
Поплывут кумачовые ленты:

- Мира — миф!
- Мира — миг!
- Миру — мор!

<1974?>

Мы по глобусу ползаем

Там шумят чужие города
И чужая плещется вода.

А. Вертинский

Мы по глобусу ползаем —

Полная блажь.
Что нам Новый Свет?
Что нам Старый Свет?
Всё давно подсчитано
Баш на баш.
И ставок больше нет.

А ставок больше нет как нет,
А ставок больше нет,
И нам не светит Новый Свет,
И нам не светит Старый Свет.
А сколько нам осталось лет?
А ставок больше нет.

Там шумят чужие города
И чужое плещется вино...
Всё равно мы едем в никуда,
Так не всё ль равно?

Ничего — это гурнышт*, и здесь и там,
И пора идти покупать билет.
Я бы отдал всё... Только что я отдам,
Если ставок больше нет?

А ставок больше нет как нет,
А ставок больше нет,

*Гурнышт — ничего (иди). (Прим. сост.).

И нам не светит Новый Свет,
И нам не светит Старый Свет.
А сколько нам осталось лет?
А ставок больше нет.

Тишина сомкнётся, как вода,
Только ветер постучит в окно.
Всё равно мы едем в никуда,
Так не всё ль равно?

Вот шарик запрыгал, вертлявый бес.
Угадать бы — какой он выберет цвет?
Только мы не играем на интерес,
Ибо ставок больше нет.

А ставок больше нет как нет,
А ставок больше нет,
И нам не светит Новый Свет,
И нам не светит Старый Свет.

А сколько нам осталось лет?
А ставок больше нет.

Понесут, как лошади, года.
Кто предскажет, что нам суждено?
Всё равно мы едем в никуда,
Так не всё ль равно?

<1974>

Заклинание добра и зла

Здесь в окне, по утрам, просыпается свет,

Здесь мне все, как слепому, на ощупь знакомо.
Уезжаю из дома!
Уезжаю из дома!
Уезжаю из дома, которого нет.

Это дом и не дом. Это дым без огня.
Это пыльный мираж или Фата-Моргана.
Здесь Добро в сапогах рукояткой нагана
В дверь стучало мою, надзирая меня.

А со мной кочевало беспечное Зло,
Отражало вторженья любые попытки,
И кофейник с кастрюлькой на газовой плитке
Не дурили и знали своё ремесло.

Всё смешалось — Добро, Равнодушие, Зло.
Пел сверчок деревенский в московской квартире.
Целый год благодати в безрадостном мире —
Кто из смертных не скажет, что мне повезло?!

И пою, что хочу, и кричу, что хочу,
И хожу в благодати, как нищий в обновке.
Пусть движенья мои в этом платье неловки —
Я себе его сам выбирал по плечу!

Но Добро, как известно, на то и Добро,
Чтоб уметь притвориться и добрым, и смелым,
И назначить, при случае, чёрное — белым,
И весёлую ртуть превращать в серебро.

Всё причастно Добру,
Всё подвластно Добру.
Только с этим Добрынею взятки не гладки.
И готов я бежать от него без оглядки
И забиться, зарыться в любую нору!..

Первым сдался кофейник:
Его разнесло,
Заливая конфорки и воздух поганя...
И Добро прокричало, гремя сапогами,
Что во всём виновато беспечное Зло!

Представитель Добра к нам пришёл поутру,
В милицейской (почудилось мне) плащ-палатке..
От такого попробуй — сбеги без оглядки,
От такого поди-ка заройся в нору!

И сказал Представитель, почтительно-строг,
Что дела выездные решают в ОВИРе,
Но что Зло не прописано в нашей квартире
И что сутки на сборы — достаточный срок!

Что ж, прощай, моё Зло!
Моё доброе Зло!
Ярым воском закапаны строчки в псалтыри.
Целый год благодати в безрадостном мире —
Кто из смертных не скажет, что мне повезло!
Что ж, прощай и — прости!

Набухает зерно.
Корабельщики ладят смолёные доски.
И страницы псалтыри — в слезах, а не в воске,
И прощальное в кружках гуляет вино!

Я растил эту ниву две тысячи лет —
Не пора ль поспешить к своему урожаю?!
Не грусти!
Я всего лишь навек уезжаю
От Добра и из дома —
Которого нет!

* * *

В этой странной стране Манекении

Есть свои недотёпы и гении,
Есть могучие, есть увечные,
Джентльмены есть и убийцы...
Только сердца нет человеческого,
Что однажды может разбиться.

<1974>

Исидор пришел на седер,

Принёс он мацу и сидр.
Но был у хозяйки сеттер —
И его боялся Исидор.

Хозяйка пропела:
— Иси-и-и-дор!

И сеттер понял:
— Иси!
Пропали маца и сидр,
А Исидор сказал:
— Мерси!

А сидр вылакал сеттер,
И, узнав по запаху сидр,
Сказала хозяйка:
— На седер
Не приносят сидр, Исидор!

<1975?>

Вечный транзит

*Н*осошок напоследок

Всё равно, что вода.
То ли — так,
То ли — этак,
Мы уйдём в никуда.
Закружим суховеем
Над распутицей шпал.
Оглянуться не смеем,
Оглянулся — пропал!

И всё мы себя подгоняем — скорее!
Всё путаем Ветхий и Новый Завет.
А может быть, хватит мотаться, евреи,
И так уж мотались две тысячи лет?!

Мы теперь иностранцы.
Нас бессмертьем казнит
Пересадочных станций
Бесконечный транзит.
И как воинский рапорт —
Предотъездный свисток...
Кое-кто — на Восток,
Остальные — на Запад!

Под небом Австралий, Италий, Германый
Одно не забудь
(И сегодня, и впредь!),
Что тысячу тысяч пустых оправданий —
Бумаге — и той — надоело терпеть!

Паровозные встречи —
Наша боль про запас.
Те, кто стали далече, —
Вспоминают ли нас?
Ты взгляни — как тоскует
Колесо на весу...
А кукушка кукует
В подмосковном лесу!

Ну что ж, волоки чемодан, не вздыхая,
И плакать не смей, как солдат на посту.
И власть обнимай своего вертухая
Под вопли сирен на Бруклинском мосту.

Вот и канули в Лету
Оскорбленье и вой.
Мы гуляем по свету,
Словно нам не впервой!
Друг на друга похожи,
Мимо нас — города...
Но Венеция дождей —
Это всё-таки да!

В каналах вода зелена нестерпимо,
И ветер с лагуны пронзительно сер.
— Вы, братцы, из Рима?
— Из Рима, вестимо!
— А я из-под Орши! — сказал гондольер.

О, душевные травмы,
Горечь горьких минут!
Мы-то думали:
Там вы.
Оказались — и тут.

И живём мы, не смея
Оценить благодать:
До холмов Иудеи
Как рукою подать!

А может, и впрямь мы, как те лицедеи,
Что с ролью своей навсегда не в ладах?!
И были нам ближе холмы Иудеи —
На Старом Арбате, на Чистых прудах!

Мы, как мудрые совы,
Зорко смотрим во тьму.
Даже сдаться готовы —
Да не знаем кому!
С горя вывесим за борт
Перемирья платок,
Скажем:
Запад есть Запад,
А Восток есть Восток!

И всё мы себя подгоняем:
— Скорее!
Всё ищем такой очевидный ответ,
А может быть, хватит мотаться, евреи,
И так уж мотались две тысячи лет?!

<1975>

* * *

Какие нас ветры сюда занесли,

Какая попутала бестия?!
Шел крымский татарин
По рю Риволи,
Читая газету «Известия»!

<1976?>

Песенка о Диком Западе, или Письмецо в Москву, переправленное с оказией

Вы на письма слез не капайте,

И без них — душа враздрыг!
Мы живём на Диком Западе,
Что и впрямь изрядно дик!

Но не дикостью ковбойскою.
Здесь иную ткут игру:
Пьют, со смыслом, водку польскую
Под московскую икру.

Здесь, на Западе,
Распроданном
И распятом на пари,
По Парижам и по Лондонам,
Словно бесы, —
Дикари!

Околдованные стартами
Небывалых скоростей,
Оболваненные Сартрами
Всех размеров и мастей!

От безделья, от бессилия
Им всего любезней — шум!
И чтоб вновь была Бастилия,
И чтоб им идти на штурм!

Убеждать их глупо —
Тени же!

Разве что спросить тайком:
— А не били ль вас, почтеннейший,
По причинным — каблуком?!

Так что вы уж слез не капайте,
И без них —
Душа враздрыг!
Мы живём на Диком Западе,
Что — и впрямь — изрядно дик!

<1976?>

После вечеринки

Под утро, когда устанут

Влюбленность, и грусть, и зависть,
И гости опохмелятся
И выпьют воды со льдом,
Скажет хозяйка: — Хотите
Послушать старую запись? —
И мой глуховатый голос
Войдет в незнакомый дом.

И кубики льда в стакане
Звякнут легко и ломко,
И странный узор на скатерти
Начнет рисовать рука,
И будет брэнчать гитара,
И будет крутиться пленка,
И в дальний путь к Абакану
Отправятся облака.

И гость какой-нибудь скажет:
— От шуточек этих зябко,
И автор напрасно думает,
Что сам ему чёрт не брат!
— Ну, что вы, Иван Петрович, —
Ответит ему хозяйка, —
Бояться автору нечего,
Он умер лет сто назад...

<1970?>



Бас ыргызбаем
Таймыр [30]





Комедия-шутка в трех действиях

Действующие лица:

ТОВАРИЦ ДЮЖИКОВ — приезжий с Таймыра
ИВАН ИВАНОВИЧ КИРПИЧНИКОВ — директор Чер-
номорской филармонии
ДЕДУШКА БАБУРИН
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ГРИШКО — геолог
ДУНЯ БАБУРИНА
ЛЮБА ПОПОВА
ЕЛИЗАВЕТА МИХАЙЛОВНА КИРПИЧНИКОВА

В эпизодах заняты:

ПЕВИЦА
АККОМПАНИАТОР
ДЕЖУРНАЯ ПО ТРИНАДЦАТОМУ ЭТАЖУ
МАТЬ ЛЮБЫ ПОПОВОЙ
АШОТ МИСЬЯН — радист первого класса
ЧЕЛОВЕК В КЛЕТЧАТОМ ПАЛЬТО
ТЕТЯ ГАЛИ САВЕЛЬЕВОЙ
МУЖ СВОЕЙ ЖЕНЫ
ЧЕЛОВЕК ИЗ ГАРДЕРОБА
ЧЕЛОВЕК С БОРОДОЙ
УЗБЕК
МОРЯК
МИЛИЦИОНЕР
ПРОФЕССОР СИНИЦЫН — маг и волшебник из Ми-
нистерства народного хозяйства
НЕКАЯ ГАЛЯ САВЕЛЬЕВА
РАДИСТ ФЕДОРЧЕНКО
ТЕНОР ЮНАКОВСКИЙ

Действие первое

Негромкая музыка. Перед закрытым занавесом, с совком и метелкой в руках, появляется Дежурная. Она смотрит в зрительный зал, улыбается, произносит шепотом:

Начинаем, начинаем, пора!
Но пока еще смеяться нельзя...
Тише, тише. Люди спят.
Семь утра.
Не шумите в коридорах, друзья!..

Приложив палец к губам, Дежурная уходит.

Открывается занавес.

Гостиница «Москва». Тринадцатый этаж. Нелепый общий номер, который, вероятно, был приемной или гостиной, а теперь, на время летней горячки, стал общежитием на четыре кровати. Письменный стол. Рояль. Огромная ваза, разрисованная оранжевыми драконами. Закутавшись с головой в одеяла, спят четыре человека. На письменном столе — телефон, папки с делами, свертки, пакеты в газетной бумаге.

Семь часов утра. Тишина. Только где-то поблизости, очевидно, в коридоре, передают по радио утреннюю зарядку.

Продолжительный телефонный звонок. Над кроватями приподнимаются четыре встрепанные головы. Телефон продолжает звонить. Долгая пауза, и наконец Дюжиков, приезжий с Таймыра, высокий широкоплечий парень, прыгает на пол и, кутаясь в одеяло, шлепает босыми ногами к письменному столу.

Дюжиков. Вас слушают... Междугородная? Да, Москва... Да, гостиница... Кто? Таймыр? Нет?.. Не понимаю, повторите по буквам... Ага! (С сожалением положил трубку на стол, обернулся к соседям.) Товарищи, кого тут могут из Черноморска вызывать, а?

Медленно поднимается Иван Иванович Кирпичников, полный пожилой человек в полосатой пижаме, в круглых роговых очках на румянном детском лице, тяжело вздохнув, подходит к телефону, берет трубку.

Кирпичников. Да... Я... Жду... Да, да!

Тишина. Дюжиков ложится и мгновенно засыпает. Кирпичников зевает, зябко ежится, переминается с ноги на ногу.

Да... Ну, слушаю... Лизанька? Здравствуй, Лизанька... Сегодня ночью... Ничего... Я хорошо доехал... Не слышишь? Я хорошо доехал. Опять не слышишь? Я хо-ро-шо до-е-хал... Лизанька, я не могу громче, я не один в номере... Что — начинается? Ну, родная моя, ну, как тебе, ей-богу, не стыдно... Да... Со мной три товарища — мужчины, мужчины... Я еще не успел с ними познакомиться... Мне не холодно — я сплю в пижаме... Клянусь тебе, что я сплю в пижаме... Лизанька... Хорошо... Сейчас я кого-нибудь позову — тебе скажут! Сейчас! *(Прикрывая рукой телефонную трубку.)* Товарищи... Большая просьба... товарищи...

Тишина. Из-под одеяла доносится мирное посвистывание.

Лизанька, они спят... Что? Лизанька... Подожди, Лизанька. Лизанька... Алло... алло... *(Сокрушенно повесил трубку на рычаг, покачал головой.)* Плохо! *(Ложится, закрывает голову подушкой, засыпает.)*

Тишина. Диктор по радио объявляет: «Начинаем бег на месте! И-и — раз». Музыка играет галоп. В дверь осторожно просовывается голова Дежурной по 13-му этажу.

Дежурная *(шепотом)*. Вы спите, граждане?

Снова поднимаются над кроватями четыре встрепанные головы.

Кирпичников. Что такое? А?

Дежурная. Уборочку у вас рано еще производить?

К и р п и ч н и к о в (*натягивая на себя одеяло*). Ра-
но — это не то слово!

Г р и ш к о, человек с загорелым лицом и белой шеей, подымает го-
лову и щурит близорукие глаза.

Г р и ш к о. А к-который с-сейчас час?
Д е ж у р н а я. Восьмой. (*Уходит.*)

Несколько мгновений — тишина. Потом Гришко встает, подходит к телефону, оглядывается, решительно снимает трубку, набирает номер и, не дождавшись соединения, быстро кладет трубку на рычаг. Стоит у телефона в мучительном раздумье. В дверь тихонько стучат. Гришко на цыпочках подходит к двери, приоткрывает.
В коридоре стоит Дуня.

Д у н я (*тихо и растерянно*). Простите... Я... Это
тринадцатый этаж?

Г р и ш к о (*шепотом*). Да.

Д у н я. Общий номер?

Г р и ш к о. Да.

Д у н я. Тут, понимаете, должен быть мой дедуш-
ка. Бабурин. Он просил, чтоб я его разбудила, — бо-
ялся опоздать на конференцию. Вы скажите ему, что
пора. И потом, я еще коржиков ему принесла, пускай
он чаю попьет. Хорошо?

Г р и ш к о. Хорошо.

Д у н я. Вы разбудите его?

Г р и ш к о. Разбужу. Он где спит?

Д у н я. Здесь.

Г р и ш к о. Я п-понимаю, что здесь, а на какой
кровати?

Д у н я. Не знаю. Мы с ним сегодня ночью приеха-
ли, отдельных номеров не было, меня временно вниз
поместили, а его сюда. Неужели вы не заметили?

Г р и ш к о. К с-сожалению, нет. Я, очевидно,
приехал еще позже. Здесь уже все спали... И вдоба-
вок у меня страшная неприятность, я забыл где-то
свои очки.

Дуня. Наверное, он спит у окна! Он и дома у окна любит, и здесь, наверное.

Гришко. У окна? Х-хорошо! *(Подходит к кровати, стоящей у окна, наклоняется, трясет спящего за плечо.)*

Дюжиков *(вскакивает)*. Что? В чем дело?

Гришко. Внучка пришла.

Дюжиков. Какая внучка? Дайте спать, граждане! Спать дайте...

Гришко *(сконфуженный, отходит)*. И-извините.

Дуня. Ну?

Гришко. Нет, это не бабушка!

Дуня *(соображая)*. У вас в номере одно окно?

Гришко *(оглянулся)*. Два.

Дуня. Значит, очень просто, он спит у второго окна.

Гришко. Ну, конечно, вы совершенно правы! *(Решительно подходит к кровати, на которой спит Кирпичников.)* Вставайте!

Кирпичников *(испуганно)*. Зачем?

Гришко. Вам пора на конференцию.

Кирпичников. На какую конференцию?

Дуня *(шепотом)*. На конференцию передовиков сельского хозяйства.

Гришко. Вам пора на конференцию передовиков сельского хозяйства!

Кирпичников *(все еще ничего не соображая со сна)*. Я не пойду.

Гришко. А я вам говорю — вставайте! *(Пытается сдернуть с Кирпичникова одеяло.)* Вставайте, товарищ, внучка пришла...

Кирпичников. Какая внучка?

Гришко. В-ваша.

Кирпичников. Послушайте, молодой человек...

Гришко. Уверяю вас, к вам действительно пришла внучка.

К и р п и ч н и к о в (разозлился). Ах, действительно?! Тогда пошлите ее ко всем чертям! (Заворачивается в одеяло.)

Г р и ш к о (очень огорченный, возвращается к двери). Он сказал — ко всем ч-чертям!

Д у н я. Кого?

Г р и ш к о (помолчав). Может быть, конференцию! А может быть, извините, в-вас...

Д у н я. Меня? Он так не мог сказать.

Г р и ш к о. Мне просто у-ужасно неприятно, но он сказал именно так!

Д у н я (вспыхнула). Я не думала... Я вас просила помочь... А вы... Очень с вашей стороны глупо и неостроумно! (Рассерженная, быстро уходит.)

Гришко посмотрел ей вслед, пожал плечами и направился в ванную. Слышно, как он там возится и насвистывает. С шумом полилась вода. Кирпичников и Дюжиков разом приподнялись на своих кроватях, сели, с интересом уставились друг на друга.

Д ю ж и к о в. С добрым утром.

К и р п и ч н и к о в (разглядывая Дюжикова). Здравствуйте, товарищ! Удивительно знакомое у вас лицо. Вы случайно не с берегов Черного моря?

Д ю ж и к о в (весело). Нет. Я с берегов моря Лаптевых.

Проснулся д е д у ш к а Б а б у р и н, прислушался к разговору.

К и р п и ч н и к о в. С моря — каких?

Д ю ж и к о в. Лаптевых.

К и р п и ч н и к о в. Любопытно! Давайте знакомиться — Иван Иванович Кирпичников.

Д ю ж и к о в. Моя фамилия — Дюжиков.

Д е д у ш к а (решил вмешаться). Доброго здоровья, товарищи!

К и р п и ч н и к о в. Спасибо. С кем имею честь?

Д е д у ш к а (коротко). Бабурин.

Кирпичников (*припоминая*). Бабурин, Бабурин... Вы из Киева?

Дедушка. Нет. Мы тамбовские.

Кирпичников. Так. Любопытно. Иван Иванович Кирпичников — не слышали?

Дедушка (*вежливо*). Слышать вроде слышал... А может, и нет, не помню.

Кирпичников. Я из Черноморска. Директор филармонии.

Дедушка (*заулыбался, предвкушая удовольствие*). Артист?

Кирпичников (*с тяжелым вздохом*). Начальник.

Дедушка. Вот как? Приятно. Кстати сказать, тут внучка моя не навевывалась еще?

Кирпичников. Так это была ваша внучка?

Дедушка. А что? Никак она заходила уже?

Кирпичников. Да. Заходила. И требовала почему-то, чтобы разбудили меня.

Дедушка. Вас?

Кирпичников. Меня.

Дедушка (*горестно*). Ясно! Как это все сразу углядела, товарищ Кирпичников, прямо я даже не понимаю?!

Гришко (*выходит из ванной комнаты*). Товарищи, ванна свободна, кто следующий?..

Дюжиков, обмотавшись полотенцем, скрывается в ванной. Гришко снимает телефонную трубку, набирает номер и сразу же вешает трубку на рычаг.

Дедушка (*задумчиво*). Ох, товарищ Кирпичников, дойдет она вас теперь!

Кирпичников. Кто именно?

Дедушка. Внучка.

Кирпичников. Да? Зачем?

Дедушка (*уклончиво*). Так... Молодая еще!

Кирпичников (*заинтересовался*). Нет, нет, вы

уж объясните, будьте добры. Это же просто любопытно. Зачем?

Дедушка (*зловещим шепотом*). Петь желает учиться — вот какое будет объяснение. У человека специальность в руках, а он вздор всякий выдумывает. В Москву со мной увязалась. Я ей говорю — нечего тебе в Москве делать, сиди дома, а она — в слезы. Тебя, дескать, посылают, и я с тобой. А я ей опять же говорю — мне семьдесят лет, я известная личность, ученый-пчеловод и прочее, меня, говорю, как передовика посылают, а ты кто такая? А она слушать ничего не хочет, вещи укладывает. Желает, говорит, ехать в Москву и выяснить со специалистами насчет своих способностей... А у нее, товарищ Кирпичников, к пчелам способности, и ни к чему больше... у нее, откровенно вам говорю, голос резкий и несимпатичный... Так вот, если она к вам привяжется, вы как — примете ее или нет?

Кирпичников. Могу прослушать.

Дедушка (*обрадовался*). Вот-вот, прослушайте, значит, и отвергните! Втолкуйте ей, одним словом, чтоб она это бросила, ладно?

Кирпичников. С удовольствием! Должен вам признаться, что я вообще не люблю, когда люди поют. Нормальный человек должен разговаривать, а не петь.

Дедушка. Правильно.

Гришко по-прежнему производит какие-то странные манипуляции с телефоном.

Дедушка. Товарищ, дорогой, занято у вас? Дозвольте мне тогда протелефонировать.

Гришко. Пожалуйста.

Дедушка (*снимая трубку, старательно дует в нее, затем произносит неестественно напряженным голосом*). Сто пятнадцатый номер прошу... Это сто пятнадцатый номер? Дуню Бабурину прошу. Это

Дуня Бабурина? Это дедушка говорит. Дуня, ты сейчас как чаю попьешь, так подымись ко мне... Это что такое значит — не хочешь? А я говорю — подымись... А я говорю — не спорь, подымись! Тут человек один желает прослушать тебя... Ну да... Отбой прошу! *(Повесил трубку, усмехнулся.)* Сейчас прибежит!

Гришко снова принялся колдовать у телефона.

Кирпичников. Все еще занято у вас?

Гришко *(нехотя)*. Нет... н-наоборот.

Кирпичников. Как — наоборот?

Гришко. Н-не занято.

Кирпичников. Телефон испорчен?

Гришко. Н-нет, телефон в порядке.

Кирпичников. Любопытно!

Дедушка *(с видом знатока)*. Это, конечно, бывает иногда, что телефон нормальный, а гудки — не то.

Гришко. Нет, гудки обыкновенные, длинные.

Кирпичников. Очень любопытно, очень.

Гришко *(решительно)*. З-знаете что — я сейчас н-наберу номер...

Кирпичников *(с вежливой иронией)*. А потом повесите трубку, так?

Гришко. Нет, нет! *(Хватает трубку, набирает номер, секунду колеблется и хочет положить трубку на рычаг.)*

Кирпичников. Стойте! *(Подбежал, выхватил у Гришко из рук трубку.)*

Гришко *(умоляюще)*. Положите... положите... положите т-трубку!

Кирпичников *(протянул трубку Гришко)*. Тогда говорите сами.

Гришко. Я н-не б-буду...

Кирпичников. Да говорите же, несчастный вы человек, там подошли уже...

Гришко. Кто п-подошел?

Кирпичников. Я не знаю.

Гришко (*в отчаянии*). Спросите... с-спросите Л-любу... Но если это она сама — ради бога, повесьте трубку!

Кирпичников. Сейчас мы выясним точно — кто это?! Алло... Кто со мной говорит?.. Люба? Отлично. А фамилия?.. Попова? Прекрасно! Очень рад, товарищ Люба Попова... Одну минуточку... (*Шепотом, к Гришко.*) Ну, живей, кто такая эта Люба Попова и что я ей должен сказать?

Гришко (*торопливо и сбивчиво*). Это... одна девушка... геолог... я в прошлый раз, когда приезжал в Москву, год назад, читал у них в институте сообщение — о работе нашей разведывательной партии... А потом она ко мне подошла и спросила — не знаю ли я такого Сергея Семушкина? А Семушкин был как раз у меня коллектором, и я ей сказал, что я его знаю...

Кирпичников (*иронически*). Превосходно сказал! (*В трубку.*) Минуточку, товарищ Люба Попова, сейчас мы с вами поговорим... (*К Гришко.*) Скорей, что было дальше?

Гришко. А потом как-то так само собой получилось, что я пошел ее провожать... А потом мы условились в-встретиться и не встретились...

Дедушка. Почему?

Гришко. Потому что мне пришлось срочно у-улететь в район Гудермеса... Но я ей писал... честно... Правда, не про главное, а про... вообще...

Кирпичников. Все ясно! (*В трубку.*) Так вот, слушайте меня внимательно, товарищ Люба Попова. Вы сейчас наденете самое красивое платье и приедете сюда: гостиница «Москва», тринадцатый этаж, об-об-щий номер... вам покажут... Кто говорит? Иван Иванович Кирпичников... Кир-пич-ников... Близкий друг... (*Шепотом, к Гришко.*) Как вас зовут?

Гришко. Андрей Николаевич... Но т-только...

Кирпичников (*перебил*). Близкий друг известного вам Андрея Николаевича! Да, он приехал... Почему говорю я? А вот вы придете, и мы вам все объясним! Да! Спешите! Я не прощаюсь. (*Вешает трубку и торжествующе смотрит на Гришко.*)

Гришко (*в ужасе*). Что вы наделали?!

Кирпичников (*гордо*). Нет, нет, не благодарите меня! Каждый раз, когда я уезжаю в командировку, я даю слово жене, что не буду вмешиваться в чужие дела... Но скажите — могу ли я оставаться спокойным, когда я вижу, как рядом со мной гибнет человек, потому что он тряпка? Нет, нет, нет... Ведь это же надо додуматься: сам уехал в Гудермес, а девушку оставил в Москве... В Москве, вы понимаете! В Москве, где по каждой улице толпами ходят красавцы! Где на каждом шагу стоят красавцы, и держат в руках букеты цветов, и дожидаются вашу Любу Попову.

Гришко (*в отчаянии*). Что вы наделали?

Кирпичников. Не волнуйтесь — она скоро придет!

Гришко. Как же н-не в-волноваться, когда я должен бежать р-ровно через пятнадцать минут!

Кирпичников. Куда?

Гришко. На прием к начальнику управления.

Кирпичников (*чуть озадаченный*). Вот как? И нельзя отложить?

Гришко. Не-н-невозможно!

Из ванной, приплясывая и растирая голову полотенцем, выходит Дюжиков.

Дюжиков. Ох, хорошо! Дедушка, идите мойтесь.

Дедушка направляется в ванную. Дюжиков останавливается у окна, смотрит. Кирпичников подошел к подавленному Гришко, дружески положил ему руку на плечо.

Кирпичников *(ободряюще)*. Не волнуйтесь, ничего страшного! Ваша Люба Попова вас подождет.

Гришко. Она не станет меня ждать.

Кирпичников. Нет, нет, это чудовищно, почему не станет?

Дюжиков. Как отсюда удобнее всего добраться до Крымской площади?

Кирпичников. На метро.

Дюжиков. Доходит?

Кирпичников. Да.

Дюжиков *(вытащил из чемодана толстую записную книжку, раскрыл ее, отчеркнул что-то карандашом)*. Так... есть... благодарю!

Кирпичников *(тихо, к Гришко)*. Почему она не станет вас ждать? Если уж вы надеялись, что она вас ждала целый год, то каких-нибудь два часа ровным счетом ничего не значат... А в крайнем случае, знаете что: любой из нас с удовольствием окажет вам дружескую услугу и все ей объяснит!

Гришко. Что вы н-наделали?!

Дюжиков. А к заводу имени Лихачева я попаду на метро?

Кирпичников. Попадете.

Дюжиков *(отмечая в книжке)*. Так, благодарю!

Дедушка *(выходит из ванной)*. Товарищ Кирпичников, идите.

Кирпичников. Иду! А вы не волнуйтесь, мой дорогой друг! Не волнуйтесь — все будет в полном порядке! *(Скрывается в ванной.)*

Дюжиков с трудом застегивает разбухший от бумаг пакетов портфель, встает и направляется к выходу.

Дюжиков. Если меня будут спрашивать, скажите, что вернусь поздно вечером.

Дедушка. Уходите уже, товарищ?

Дюжиков *(улыбаясь)*. Да, хочу, понимаете, до

всех дел успеть пробежаться по Москве. Хочу наконец-то взглянуть на нее — какая она!

Дедушка. Вы что же, никак тут в первый раз?

Дюжиков. В том-то и штука, что самый первый раз! Родился я в Сибири, а учился в Свердловске... когда кончил, хотели всем выпуском в Москву ехать — на экскурсию... Ну а тут как раз комсомольский призыв — все на целину! Вот я и уехал вместо Москвы совсем в другую сторону... Четыре года там проработал, получил медаль, премию... Опять собрался в Москву, и опять — в газетах письмо дальстроевцев: нужны люди! *(Засмеялся.)* И опять я в другую сторону укатил — на Крайний Север. Так что Москву я до сих пор только на картинках видел да в кино!

Дедушка. Прямо чудно!

Дюжиков. Чудно, не спорю. А невтерпеж до того, что ночью еще хотел в город бежать, да уж больно в дороге замучился... Трое суток просидел на Енисее с вынужденной посадкой... Я уж, откровенно говоря, думал — опять у меня сорвалось! *(Тряхнул головой.)* Ну, будьте здоровы! *(Быстро идет к дверям.)*

Продолжительный междугородный звонок. Дюжиков останавливается. Из ванной выбегает испуганный Кирпичников.

Кирпичников. Междугородный звонок... Это опять меня... Товарищи, возьмите кто-нибудь трубочку — у меня руки мокрые.

Дюжиков *(подбежал, снял трубку)*. Слушаю. Ждать и не отходить от телефона? Кто вызывает? Таймыр? Предупреждение? Да я... хорошо... жду и не отхожу. *(Повесил трубку, мрачно посмотрел на своих сожителей, швырнул на стол портфель, сел.)*

Гришко. Это в-вас?

Дюжиков. Да... Вот тебе и пробежался по Москве! Черт побери, интересно: скоро они хоть меня соединят? Как вы думаете?

Кирпичников. Не хочется вас огорчать, но должен сказать откровенно, что это единственная вещь, которую не знает никто! Никто решительно. Вас могут соединить через пять минут. Через полчаса. Через двадцать четыре часа. Я, например, просидел однажды целые сутки...

Дюжиков (в ужасе). Так ведь это же полная катастрофа, товарищи!

Кирпичников (роясь в чемодане). Очень может быть.

Дюжиков. Я и так всего на два дня в Москву...

Кирпичников. Ну-ну-ну, голубчик! Все командированные говорят, что они приехали всего на два дня! Святая традиция!

Дюжиков. Да, но я действительно всего на два дня.

Кирпичников. Задержитесь.

Дюжиков. Легко сказать! Я-то задержаться могу, а вы попробуйте задержите навигацию! Ведь тут каждый час дорог! Опоздаешь с грузами на день, а потом торчи полгода на Большой земле. А люди будут ждать, волноваться, нервничать! Кого станут ругать на зимовках в полярную ночь? Дюжикова. На всех островах, от Малой до Большой гряды, будут ругать Дюжикова! Слушайте, товарищи, может, кто-нибудь из вас поговорит за меня? А то ведь я, честное слово, окончательно пропадаю! Они, главное, думают, наверное, что я все дела уже сделать успел, а я, как дурак, торчал на Енисее с этой вынужденной посадкой... Правда, товарищи, может, кто поговорит за меня? А?

Молчание.

Кирпичников. Видите ли, голубчик, во-первых, они же вызывают вас, а не нас. Им, как я догадываюсь, интересно с вами поговорить, а не с нами! Это — во-первых! Во-вторых, голубчик, каждый из

нас тоже приехал в Москву всего на два дня. И приехал не развлекаться. И у каждого тоже сто тысяч дел... Нет, нет, нет, кто же это в состоянии сидеть до ночи у телефона?

Дедушка. Да-а, положеньице!

Дюжиков (с робкой надеждой). А вы, дедушка?

Дедушка. Конференция у меня, молодой человек, конференция.

Дюжиков (со спокойствием отчаяния). Вопрос ясен.

Гришко. А вы попытайтесь отменить разговор.

Дюжиков (грубовато). Да что они, по-вашему, доброго утра мне хотят пожелать, что ли? Таймыру связаться с Москвой — это, как говорится, не ближний свет! Раз уж вызывают, значит, важные новости...

Мрачное молчание. Гришко нервно встал, быстро надел пальто и снова сел. Кирпичников, сердито посапывая, вывернул на кровать все содержимое своего чемодана.

Кирпичников. Ничего не понимаю! Куда могла деваться моя пижама?

Гришко. Вы поверх нее надели пиджак... Товарищи!

Дедушка. Это вы нам?

Гришко. Да, товарищи, мне кажется, что мы все-таки обязаны что-то придумать... Ведь Таймыр же!

Дюжиков (умоляюще). Таймыр, товарищи, а?

Кирпичников (резко, к Гришко). Вы можете остаться?

Гришко. Нет, я просто никак.

Кирпичников. Я тоже не могу.

Дедушка. А у меня конференция.

Кирпичников. Так что как это ни грустно, но остаться в номере не может никто. Понятно?

Дюжиков. Чего уж понятнее!

Кирпичников (задумчиво запел). Не может

никто... Не может никто... Не может... ах, не может решительно никто!.. А вообще-то, конечно, что-нибудь придумать надо.

Дю ж и к о в. Надо! Ей-богу, надо, товарищи! Я ведь не для себя прошу. Ну, Дюжиков, черт с ним, опять не посмотрит Москву. В другой раз посмотрит. Но Таймыр-то ведь ждет. Люди ждут. Полиметаллический комбинат ждет. Будущий город ждет! Замечательный будущий город, честное слово!

К и р п и ч н и к о в. Можете нам не давать честного слова! Мы сами знаем, что замечательный.

Дю ж и к о в (*пылко*). Ах, какой это будет город, товарищи! О нем песни петь надо! Вот вы приезжайте к нам, посмотрите — что за край! У нас все есть! Руды, нефть, зверье, птицы, рыба. А ночь! Знаете ли вы, товарищи, полярную ночь? Нет, черт возьми, вы не знаете полярной ночи. Северное сияние горит, по снегу дикий олень бежит, песец, волк, медведь! А в реках стерлядь плывет, омуль, сиг, муксус, нельма, осетр...

Д е д у ш к а. Ай-яй-яй...

К и р п и ч н и к о в (*после паузы*). Нет, нет, нет, — я чувствую, что должен вмешаться. Какие у вас дела намечены на сегодня?

Дю ж и к о в (*раскрыл записную книжку, читает*). Стальконструкция. Главлес. Северопроект. Главное управление портов. Отдел кадров Геолого-разведочного управления. Архитектурный комитет. Министерство народного хозяйства. Центральная бухгалтерия Главсевморпути... И все!

К и р п и ч н и к о в. Да, любопытный списочек. Песня. Боевая — командировочная. Так вот что я вам хочу предложить. Сидеть у телефона я, разумеется, не могу. Но между двенадцатью и половиной второго у меня в делах окно. И ежели вам угодно, то в какой-нибудь этакий Северопроект я с удовольствием забегу и сделаю все, что вам там от них нужно.

Дю ж и к о в (*хмуро*). Да нет, спасибо. Один Северопроект меня все равно не спасет.

Г р и ш к о (*с внезапным энтузиазмом*). Почему не спасет? Вы в Геолого-разведочное управление с-собирались?

Дю ж и к о в. Да, собирался.

Г р и ш к о. Так ведь я там знаю буквально всех и каждого. Буду говорить в отделе кадров за себя — могу и насчет вас поговорить.

К и р п и ч н и к о в. Товарищи, это гениальная идея!

Д е д у ш к а (*меланхолично*). Я полагаю, что конференция моя часов, скажем, до трех. Стало быть, с половины четвертого вы очень даже свободно можете рассчитывать на меня. Скажите, куда пойти, — я пойду!

К и р п и ч н и к о в. Честное слово, это гениальная идея! Причем я считаю, товарищи, что каждый из нас должен взять по два объекта. Например, я могу отправиться в Северопроект и в Министерство народного хозяйства.

Г р и ш к о. Я в-возьму на себя Геолого-разведочное управление и Центральную бухгалтерию Главсевморпути.

К и р п и ч н и к о в. Превосходно! Дедушке мы поручим Стальконструкцию и Главлес... Таким образом, вам на завтра останется сушная чепуха и вы великолепно уложите!

Дю ж и к о в (*все еще недоверчиво*). Вы это серьезно?

К и р п и ч н и к о в. Совершенно серьезно.

Дю ж и к о в. Как-то не верится!

К и р п и ч н и к о в (*рассердился*). Послушайте, голубчик, вы, кажется, считаете, что наш остров Таймыр...

Дю ж и к о в. Полуостров...

К и р п и ч н и к о в. Тем более! Вы считаете, что

наш полуостров Таймыр ваша личная собственность и никого, кроме вас, не может интересовать?

Дедушка (*грозно*). Как-то это прямо даже неудобно получается.

Дюжиков (*улыбнулся*). Извините!

Кирпичников. То-то! Давайте быстренько: с кем я должен увидеться и по какому вопросу?

Дюжиков (*растегнул портфель, вытащил папки с делами, положил на стол*). Смотрите, вот эту докладную записку надо сдать в расчетный отдел Северопроекта и попросить их не позже чем к завтрашнему дню составить примерную смету...

Кирпичников. Будет исполнено. Что еще?

Дюжиков. У них там есть типовые проектные альбомы инженеров Яковлева и Полторацкого. Надо постараться выпросить у них комплектов десять-пятнадцать...

Кирпичников. Двадцать вынем! Что в Министерстве народного хозяйства?

Дюжиков (*начинает понемногу увлекаться*). Там есть некий Николай Николаевич Сеницын. Крупнейший специалист по морозоустойчивым культурам. Маг и волшебник. Его надо уговорить приехать к нам. Непременно! Хотя бы на полтора-два месяца...

Кирпичников. А на что брать?

Дюжиков. В каком смысле?

Кирпичников. Деньги или романтика?

Дюжиков. Романтика.

Кирпичников. Ладно. Попытаемся. Все?

Дюжиков. Все.

Кирпичников. Так. Товарищи, подходите, получайте задание. Кто следующий?

Гришко. Я. П-пожалуйста. Я очень с-спешу...

Дюжиков (*просматривает бумаги*). Минуточку... Так... Ага... вот она! Эту бумажку вы вручите под расписку в Центральную бухгалтерию Главсевморпути. Ни в коем случае не забудьте взять расписку!

Потом вам нужно будет узнать, когда переведены деньги по госдотации и номер авизо...

Гришко. Есть.

Дюжиков. У Геолого-разведочного управления постарайтесь вырвать двух человек.

Кирпичников. Просите трех!

Дюжиков. А зачем трех?

Кирпичников *(снисходительно улыбнулся)*. Просить надо трех, а соглашаться на двух. Ясно?

Гришко. Ясно! А кого и-именно?

Дюжиков. Одного инженера-нефтяника и одного консультанта по черным рудам. Напомните, что они нам обещали. Передайте привет Полякову от Талалая.

Гришко. Все?

Дюжиков. Все.

Гришко. Ладно. Я, в таком случае, бегу... Да, кстати...

Дюжиков. Что такое?

Гришко *(взяв Дюжикова под руку, отвел в сторону)*. Тут с-скоро зайдет одна моя знакомая... Люба Попова...

Дюжиков *(кивнул головой)*. Так. И что же?

Гришко *(растерянно)*. Она зайдет, а м-меня не б-будет... Впрочем, может быть, это и х-хорошо, что меня не б-будет! Вы п-понимаете, я н-не виделся с нею целый год... Только п-письма п-писал... Но зато я очень часто представлял себе, как мы встретимся с нею и я ей скажу... Ну, вы сами понимаете... о чем... скажу ей все, а она вдруг засмеется... Что тогда?

Дюжиков. Тогда скверно.

Гришко. И вот я х-хочу в-вас просить — скажите ей! Скажите ей, что ее очень любит о-один человек. Можете не называть моего имени — она с-сама догадается... Скажите ей, что он, этот человек, постарается на этот раз остаться в Москве... Потому что она живет здесь, и он хочет быть... Ну, вы пони-

маете? Вы не с-серди-тесь н-на меня з-за эту идиот-скую просьбу, но ведь мне больше н-некого...

Дю ж и к о в (*серьезно*). Все понимаю. Поговорю с нею обязательно. Счастливого вам пути, и не волнуйтесь! Товарищи, кто следующий?

Д е д у ш к а. Я.

Дю ж и к о в. У вас что?

Д е д у ш к а. У меня эти... как их... Главлес и Стальконструкции!

Г р и ш к о. Я ушел. До свидания, товарищи!

Дю ж и к о в. Не забудьте расписку!

Г р и ш к о. Не з-забуду... Вы тоже не забудете, да?

Дю ж и к о в. И я не забуду!

Г р и ш к о. До свидания. (*Уходит.*)

К и р п и ч н и к о в (*вздыхнул*). Нервничает! Любобы! Нет, нет, нет, он очень хороший человек! Кто следующий?

Д е д у ш к а. Я, что ли?

Дю ж и к о в (*командирским тоном*). Значит, с вами, товарищ!

Д е д у ш к а. Слушаю.

Дю ж и к о в. В Главлесе, в отделе заготовок, необходимо устроить скандал.

Д е д у ш к а (*записывает*). «Устроить скан-дал...»

Дю ж и к о в. Сможете?

Д е д у ш к а. А что ж тут такого особенного?

Дю ж и к о в. Сначала вы им заявите, что до тех пор, пока они нам не пришлют механизированных установок по сплотке, выгрузке и погрузке, — ни одного кубометра древесины сверх плана они от нас не получат! Заявите?

Д е д у ш к а. Будьте покойны! Ничего они от нас не получат.

Дю ж и к о в. Ну, по плану-то получают.

Д е д у ш к а. А я говорю — ничего не получают! Ни по плану, ни сверх плана! Дальше.

Дюжигов. А дальше так: когда они начнут извиняться — вы им покажете это письмо...

Дедушка. Оно про что?

Дюжигов. Про то, что мы теперь сами освоили производство перегружателей и в их благодеяниях не нуждаемся!

Дедушка. Освоили! Молодцы, хвалю! Еще что?

Дюжигов. Самое важное — получить в Стальконструкции наряд на подшипники. Наряд дело нехитрое, чернильное — выписать его, и все! Но у них там путаница с очередями, и они бессовестно тянут...

Дедушка *(записывает)*. «Бессовестно...» Все?

Дюжигов. Все. Учтите, что это не так просто.

Дедушка *(высокомерно)*. Это смотря для кого! Дозвольте откланяться — побежал на конференцию! *(Уходит.)*

Кирпичников *(осторожно покашлял)*. Между прочим, товарищ Дюжигов, у меня к вам тоже будет одна небольшая просьба...

Дюжигов. Пожалуйста! Все, что угодно!

Кирпичников. Видите ли, я обычно езжу в командировки с моим заместителем. Я хозяйственными вопросами занимаюсь, а переговоры с артистами ведет он... Я, знаете, не люблю, когда весь день поют... Не выдерживаю... Час или два — ничего, а больше не могу. В голове шумит, в глазах темнеет, и подташнивать начинает... А между прочим, артисты к нам так и рвутся! К сожалению, главным образом плохие! За хорошими мы сами бегаем, а плохие за нами бегают. Так вот, поскольку я сейчас ухожу по делам, а они уже наверняка разузнали, что я в Москве, и в скором времени начнут появляться, так вы им всем объясните, что прием артистов на этот раз крайне ограничен.

Дюжигов. Так они же все равно не поверят мне, станут дожидаться вас.

Кирпичников. Нет, нет, нет, почему не пове-

рят?! Они меня в лицо не знают. Только по фамилии. Они ведь с моим заместителем дело имели. Вы скажите им, что вы — Кирпичников, и точка!

Дю ж и к о в (*засмеялся*). Ладно, попробую. Хоть бы не запутаться — что за кого говорить...

К и р п и ч н и к о в. Ничего, ничего, вы человек молодой, оперативный, разберетесь. Так, значит, условились?

Дю ж и к о в. Условились.

К и р п и ч н и к о в. Желаю удачи!

Кирпичников уходит, и Дюжиков остается один. Долго покачивает головой и с ненавистью смотрит на телефон. Снизу, с улицы, доносится шум проснувшегося города. Снова появляется в дверях
Дежурная горничная.

Д е ж у р н а я. Уборочку у вас можно произвести?

Дю ж и к о в. Пожалуйста. Я вам не помешаю?

Д е ж у р н а я. Разве гость может помешать? (*Принимается за уборку номера, искоса с интересом поглядывая на Дюжикова.*) А что это вы — такой день замечательный, а вы в номере сидите? Не заболели случайно?

Дю ж и к о в. Да нет, я телефонного звонка жду. Междугородного.

Д е ж у р н а я. Издалека?

Дю ж и к о в. С Таймыра.

Д е ж у р н а я. Откуда?

Дю ж и к о в. С Таймыра.

Д е ж у р н а я (*неопределенно и сочувственно*). Да-а, это конечно... И вы что же, сами оттуда?

Дю ж и к о в. Вот именно.

Д е ж у р н а я. Нравится?

Дю ж и к о в. Да. Очень!

Д е ж у р н а я. Бывает... Вот, знаете, мне Кашкин Никодим Спиридонович тоже предлагал на подсобное хозяйство перейти. Потом еще меня в нижний буфет звали. А я отказалась. Из принципа. Я со своего этажа никуда не уйду. Про меня даже директор

на общем собрании сказал: ну, товарищ Пуговкина, она энтузиастка тринадцатого этажа. Это правда! Я действительно энтузиастка. И работа мне нравится. По одним номерам пройдешь, и все равно как в путешествие съездила, честное слово! Вот вы, например, с Таймыра. А другой — из еще того пуще. А третий такое скажет, что и не выговоришь. Два раза так вот зайдешь, а на третий тебя уж и в гости приезжать приглашают... Приезжайте к нам, товарищ Пуговкина, в Бююк-Кирасу, честное слово... А я потом иду с работы домой и думаю: а ведь, может, и вправду я когда-нибудь поеду в это самое Бююк-Кирасу. Нет, я очень за свой этаж болею душой...

В дверь стучат.

Дю ж и к о в. Прошу.

Входит Маленький человечек в клетчатом пальто и зеленой шляпе.

Человек в клетчатом пальто (*бойко*). Товарищу Кирпичникову — пламенный привет! Синтетический номер — икарийские игры с пением! Будете смотреть?

Дю ж и к о в (*испуганно*). Нет, нет, не надо!

Человек в клетчатом пальто. Как — не надо? Вы — Кирпичников?

Дю ж и к о в. Да.

Человек в клетчатом пальто. Вы Кирпичников и вам не нужны икарийские игры с пением? Смешно! А чем же вы разбавляете классику?

Дю ж и к о в. А я ее ничем не разбавляю.

Человек в клетчатом пальто (*опешил*). Вот как. Ну, хорошо! Мы будем работать характерный танец. Это почти классика. Я не прощаюсь! Привет! (*Поклонился и исчез.*)

Де жур н а я. Симпатичный... Вот, знаете, тут в номере, до вас, на прошлой неделе один молодой человек жил. Тоже очень симпатичный. Между про-

чим, на вас похожий... Верно, верно... Все крыжовником меня угощал... Как-то его было звать чудно... Не то Шпинатов... не то Салатов... Нет, не помню! Я в понедельник утром прихожу на работу, а на Ольге Николаевне прямо лица нет... Этот, говорит, который крыжовником угощал, так он, говорит, уехал и за номер не заплатил... Придется нам за него рассчитываться! Так я даже заплакала, честное слово! Мне не денег жалко, а мне обидно, что на наш этаж такое пятно...

В дверь просовывается голова Кирпичникова.

Кирпичников (*шепотом*). Внимание!

Дюжиков. Что такое?

Кирпичников. По коридору идет Люба Попова!

Дюжиков. Кто?

Кирпичников. Люба Попова! Девушка нашего... этого — из Гудермеса! Я ее сразу узнал. Не забудьте ей сказать, что он ее полюбил с первого взгляда... Приготовьтесь! Желаю удачи! Прощайте! (*Исчезает.*)

Пауза.

Дежурная. Симпатичный! Ну, теперь у вас чистенько — сидите себе на здоровье.

Дюжиков. Спасибо.

Дежурная. Так откуда, значит, вы приехали?

Дюжиков. С Таймыра.

Дежурная (*запоминая*). С Тай-мыра.

В дверь стучат.

Дюжиков. Да?

Дежурная. Не беспокойтесь — я отворю. (*Открывает дверь, пропускает в номер Дуню Бабурину и выходит.*)

Дуня. Здравствуйте.

Дюжиков (*внимательно смотрит на Дуню*).
Здравствуйте. Входите, пожалуйста.

Дуня (*нервно*). Спасибо... Мне звонили от вас...
Сказали, что я могу зайти...

Дюжиков. Да, да. Совершенно верно...

Телефонный звонок. Дюжиков хватается трубку.

Алло?.. Сижу, сижу... Сижу и не отхожу... Когда вы соедините меня? Алло... Алло... Ах, будьте вы там неладны. (*Положил трубку и снова внимательно посмотрел на Дуню.*)

Пауза.

Дуня (*смутилась*). Ну, что вы так смотрите на меня?

Дюжиков (*тоже смутился*). Извините...

Дуня. Ой, нет, что вы! Это вы извините...

Дюжиков. Нам тут рассказывали про вас.

Дуня. Ругали, наверное?

Дюжиков. Нет, наоборот.

Дуня (*усмехнулась*). Странно.

Дюжиков. Ну, почему — странно? А за что вас ругать?

Дуня (*махнула рукой*). Меня-то? Ох, меня есть за что! Я сама иногда так ругаю... Впрочем, это не важно!

Дюжиков. Да, конечно. Так, значит, я вам должен сказать...

Дуня. Да, непременно. Только честно скажите, ладно? Да или нет? Если — нет, плюну на все и уеду!

Дюжиков. Хорошо. Садитесь.

Дуня. Спасибо... Я ужасно волнуюсь, так что уж лучше сразу! Хорошо?

Дюжиков. Хорошо.

Дюжиков приготовился говорить, но, к его великому удивлению, Дуня быстро подходит к роялю, поднимает крышку и придвигает стул.

Дуня. Что вам спеть?

Дюжиков (очень удивленно). Спеть?

Дуня. Да.

Дюжиков (робко). А, собственно, зачем?

Дуня (теперь она удивилась). Вы разве не хотите, чтоб я вам спела?

Дюжиков (в замешательстве). Нет... почему же... Я с большим удовольствием. Пожалуйста!

Дуня (волнуясь). Так вот, я вам спою песенку про поезда... можно?

Дюжиков. Конечно.

Дуня садится к роялю, берет несколько вступительных аккордов. Счастье, что она не видит горестного и восторженного лица Дюжикова.

Песенка про поезда

...Прогремят мимо тихих станций,
Встречают гудком рассвет,
Днем и ночью из дальних странствий
Мчат и мчат поезда к Москве!

И везут хлопкоробы хлопок,
Шлет Урал боевых гонцов,
Едут парни с Амурских сопок,
Едут гости со всех концов!

Сколько дальних перегонов, перегонов,
перегонов...

Под вагонами колеса — стук да стук!
Сколько было у вагонов, у вагонов, у вагонов,
Сколько было у вагонов ожиданий и разлук.

Оседают дыма клочья
На песок, на листву!
Мчится поезд днем и ночью
На Москву, на Москву!

Приглядятся сосед к соседу,
Отведут для порядка взгляд,
И начнут не спеша беседу
Этак суток на семь подряд!

Вам ли дружба, друзья, в обузу?!
По стаканам вино разлей!
Поезда по всему Союзу
Закадычных везут друзей!

Сколько дальних перегонов, перегонов,
перегонов...

Под вагонами колеса — стук да стук!
Сколько было у вагонов, у вагонов, у вагонов,
Сколько было у вагонов ожиданий и разлук!

Оседают дыма клочья
На песок, на листву.
Мчится поезд днем и ночью
На Москву, на Москву!

По Москве, вдоль московских улиц
Нам бродить до утра не лень.
Слышишь, птицы уже проснулись.
Скоро шумный наступит день.

Так шагай же, шагай прилежней!
Слушай птиц перелетных клич.
Выше голову, друг приезжий!
В это утро и ты — москвич!

Сколько дальних перегонов, перегонов,
перегонов...

Под вагонами колеса — стук да стук!
Сколько было у вагонов, у вагонов, у вагонов,
Сколько было у вагонов ожиданий и разлук!

Оседают дыма клочья
На песок, на листву.
Мчится поезд днем и ночью
На Москву, на Москву.

Пауза.

Дю ж и к о в (*искренне*). Замечательно! Просто великолепно!

Дуня. Вам нравится? Правда?

Дю ж и к о в (*неожиданно хмуро*). Очень! У вас чудесный голос, и вы превосходно поете... Короче, вот что я вам должен сказать. Вас любит один человек... Черт побери, я думал, это шутка — насчет любви с первого взгляда, но теперь я понял... Я хочу сказать, что я понял, что он мог полюбить вас с первого взгляда... Это немудрено... И он решил остаться в Москве, чтобы только быть вместе с вами! Вы понимаете?

Дуня (*тихо*). Не понимаю... То есть понимаю... Нет, не знаю!

Дю ж и к о в (*не глядя на Дуню*). Идите к себе... Идите и ждите его — он к вам придет... Идите!

Дуня (*встает*). Хорошо... Странно как, честное слово. (*Нерешительно направляется к двери, оглядывается на Дюжикова.*)

Стучат.

Дю ж и к о в. Кто там?

Входит Муж своей жены, останавливается на пороге, смотрит в упор на Дюжикова.

Муж своей жены. Это вы — Фортунатов?

Дю ж и к о в. Кто?

Муж своей жены. Фортунатов?

Дю ж и к о в (*мучительно припоминая*). Кажется, я.

Муж своей жены (*иронически*). Мне тоже кажется, что это вы. И номер, и приметы сходятся! С вас тридцать рублей, гражданин Фортунатов!

Дю ж и к о в. Каких тридцать рублей?

Муж своей жены. Обыкновенных. Советских. Новых!

Пауза.

Дуня (*чуть слышно*). Так я, пожалуй, пойду, да?
Дюжиков. Да... Идите, идите!

Дуня. До свидания. (*Растерянная и подавленная, уходит.*)

Дюжиков. Простите, а когда Фортунатов... То есть я хочу сказать — когда я одалживал у вас эти тридцать рублей?

Муж своей жены. Не у меня одалживали. У жены. Она в гостинице, в вестибюле работает. На прошлой неделе. Обещались через полчаса вернуть, и вот — до сих пор...

Дюжиков (*радостно*). На прошлой неделе? В таком случае — это ошибка! Мы все приехали только сегодня ночью...

Муж своей жены. Значит, отказываетесь?

Дюжиков. Наотрез!

Муж своей жены. Понятно! Это мы предвидели, гражданин Фортунатов!

Дюжиков. Да я вовсе не Фортунатов! Я просто думал, что это кто-нибудь из наших.

Муж своей жены (*усмехнулся*). Понятно, понятно! Ладно, гражданин Фортунатов, не прощаюсь! (*Снова внимательно взглянул на Дюжикова, пошел к двери, обернулся. С нескрываемым презрением.*) Жулик! Ну с какой стороны ни взгляни — жулик и точка!..

Занавес.

Действие второе

Музыка.

Перед занавесом — Дежурная. Она улыбается, говорит:

Обойти наш этаж — недолог путь,
Но пройдешь — и перед тобою целый мир.
Может, вправду я, друзья, когда-нибудь
Попаду на этот самый Таймыр?

Дежурная разводит руками и уходит. Занавес открывается. Тот же номер. Четыре часа дня. Приближаются прославленные московские «часы пик». Шум за окнами с каждой минутой становится все громче и громче. В кресле, за маленьким столиком, с покаянным и опущенным видом сидит Ашот Мисьян — радист, могучий парень со сросшимися бровями, в великолепных белых штанах. У рояля, нервно теребя свернутые в трубку ноты, стоит Певица. Аккомпаниатор, рыженький мальчик, надменный и равнодушный, читает поставленный на попирт журнал.

Дюжиков (*стоит у телефона, взволнованно прижимая к уху телефонную трубку.*) Алло... Да... Что, Таймыр? Нет?.. Ждать и не отходить от телефона? Так... Вы не пробовали подсчитать, сколько уж раз за сегодняшний день вы меня об этом предупреждаете?.. Ах, вы только что приняли смену?! Понятно... Вам повезло... Я, например, не отхожу от телефона, и смены у меня нет! Ладно! Есть! (*Повесил трубку, подошел к Мисьяну, сел, вытащил из кармана платок, с тяжелым вздохом вытер вспотевший лоб.*)

Мисьян. Ну?

Дюжиков (*мрачно*). Все то же.

Мисьян. Зазимовал, дорогой?!

Дюжиков. Выходит, что так!

Певица (*нервно*). Товарищ Кирпичников...

Дюжиков. Да?

Певица. Извините, пожалуйста. Вы понимаете, я хотела дождаться моего партнера... Тенора Юнаковского... Но его все нет и нет. И я решила попробовать спеть соло...

Дюжиков. Очень приятно.

Певица. Но только я хочу, чтобы Леонид Михайлович проверил партию рояля... Еще пять минут... Мы вас не очень задерживаем?

Дюжиков. Да нет, ничего.

Певица. Спасибо!

Мисьян (*негромко*). Страшное ты дело взял на себя, дорогой! Не знаю этого товарища Кирпичникова, но полагаю, что он — железный человек!

Дю ж и к о в. Он оказал мне огромную товарищескую услугу.

М и с ь я н (*бросая мрачный взгляд на певицу*). Тогда молчу! Если друг — то жизни не жалко!

П е в и ц а (*аккомпаниатору*). Леонид Михайлович, пожалуйста.

Аккомпаниатор, нехотя оторвавшись от чтения, берет первый попавшийся под руку аккорд.

Дю ж и к о в (*обернулся к Мисьяну*). Ну, так я слушаю вас, товарищ Мисьян.

М и с ь я н (*виновато*). Дюжиков, дорогой, ну зачем ты мне говоришь «вы»? Я даю тебе честное слово, что это был просто несчастный случай. Ты же сам знаешь, как это получается! В один прекрасный день тебе вдруг приходит в голову, что уже целых три года ты не надевал белые брюки и не нюхал персидскую сирень...

Дю ж и к о в (*грубовато*). Это все лирика, Мисьян! Чего ты конкретно хочешь?

М и с ь я н. Хочу ехать с тобой обратно.

Дю ж и к о в. Много хочешь!

М и с ь я н. Прошу тебя, дорогой, не говорить со мной как с чужим человеком. Лучше дай мне по морде! Я нанюхался этой сирени и понял, что для взрослого человека это еще не самое главное.

Дю ж и к о в (*горячо*). В том-то и беда, Ашот, что ни черта ты не понял! Нам было стыдно, а не тебе! Нам было смертельно стыдно, когда приехала маленькая, худенькая девчужка из Ворошиловска, и пришла к Васе Федорченко, и сказала, что ее прислали вместо радиста Мисьяна...

Молчание. Рыженький мальчик бушует над клавиатурой.

П е в и ц а (*робко*). Леонид Михайлович, извините... Здесь я делаю паузу.

А к к о м п а н и а т о р (*не глядя*). Здесь нет паузы.

Певица. Да, но я...

Аккомпаниатор. Здесь нет паузы!

Отгрыш рояля. Дюжиков быстро взглянул на сконфуженное лицо Мисьяна, усмехнулся.

Дюжиков. Ты в Дальстрое говорил с кем-нибудь? Мисьян (*хмуро*). Говорил, с Ивановским говорил.

Дюжиков. Ну и что он тебе ответил?

Мисьян. Ответил, что надо дожидаться тебя! Он лично не возражает... Слушай, дорогой, я же все-таки радист первого класса!

Дюжиков. Это мне известно.

Мисьян. Ты когда едешь?

Дюжиков. Хочу завтра. Конец навигации на носу, а я с грузами зашиваюсь!

Мисьян (*почувствовал, что интонация меняется, ожил*). Надо, надо, дорогой, торопиться!

Дюжиков. То-то и оно!

Певица. Товарищ Кирпичников...

Дюжиков. Да?

Мисьян (*тихо*). Этот псевдоним меня убивает!

Певица. Мы, кажется, готовы, товарищ Кирпичников!

Дюжиков. Готовы? Очень хорошо — давайте!

Мисьян (*торопливо поднимаясь*). Я пойду. Потом к тебе загляну, попозже...

Дюжиков. Сиди, сиди!

Певица (*становится в позу*). «Я тебе ничего не скажу...»

Дюжиков (*вежливо*). Простите, это вы мне?

Певица. Нет-нет. Это такой романс. На слова поэта Фета.

Дюжиков. А-а-а! Ну, давайте, давайте!

Певица (*делает шаг вперед и прижимает ноты к груди*).

Я тебе ничего не скажу.

Аккомпаниатор играет вступление.

(Поет.)

Я тебе ничего не скажу,
Я тебя...

(Замолчала и жалобно взглянула на аккомпаниатора. Тихо.) Леонид Михайлович, но ведь здесь фермата!

Аккомпаниатор (равнодушно). Я в этом не уверен.

Певица. Уверю вас, что здесь фермата...

Певица и Аккомпаниатор о чем-то тихо и горячо заспорили. Дюжиков поглядел на них, покачал головой, быстро вырвал из блокнота лист бумаги, написал записку, засунул ее в конверт, заклеил, протянул Мисьяну.

Дюжиков. Держи!

Мисьян. Что это?

Дюжиков. Передашь Ивановскому. Скажешь, что я к нему завтра зайду.

Мисьян. А как же будет со мной, а?

Дюжиков. Я пишу здесь. Прошу, чтоб он тебя оформил.

Мисьян (очень взволнованно). Дорогой, слушай... Ой, дорогой... Нет, я сейчас тебя не буду благодарить!

Дюжиков. И не надо.

Мисьян. Когда мы с тобой приедем домой — я в первый день соберу всех ребят и скажу им речь. Она будет называться — «Плач полярника, или Долой белые брюки!» На слова поэта Фета...

Дюжиков (фыркнул). Потише!

Без стука распахивается дверь. Быстро входит Гришко.

Гришко (в дверях). Все с-сидите?

Дюжиков (развел руками). Сижу! А что у вас?

Гришко. Вот расписка Центральной бухгалтерии

рии Главсевморпути. Деньги по госдотации переведены пятнадцатого прошлого месяца. Номер авизо я здесь з-запи-сал.

Дю ж и к о в. Большущее вам спасибо! Что в управлении Геологоразведки?

Гри ш к о. Там х-хуже. Все опытные инженеры-практики уже з-законтрактованы. Речь может идти только о молодежи...

Пе в и ца. Товарищ Кирпичников...

Дю ж и к о в. Извините, минуточку...

Гри ш к о (удивленно). Г-где Кирпичников?

Дю ж и к о в (тихо). Да это я... А молодежь — это очень хорошо! Край у нас молодой, и работники нам нужны молодые. У нас для стариков неподходящая параллель.

Гри ш к о. Так я и условился. Они обещали кое с кем переговорить и направить к вам сюда, в гостиницу. Я о-объяснил.

Дю ж и к о в. Превосходно! Теперь вот что. Была у меня ваша знакомая...

Гри ш к о. Б-была?

Дю ж и к о в. Да.

Гри ш к о (после паузы). Ну?

Дю ж и к о в (сдержанно). Я все ей сказал. И о том, что вы любите ее. И о том, что вы остаетесь в Москве.

Гри ш к о. Она не с-смеялась?

Дю ж и к о в. Нет. Напротив, она была очень серьезна и даже, как мне показалось, взволнованна и удивлена!

Гри ш к о. А куда она пошла?

Дю ж и к о в. Домой. Я ей велел сидеть дома и ждать вас.

Гри ш к о (тихо). Спасибо... А вот о том, чтобы остаться в Москве, у меня, кажется, ничего не выходит! Предлагают ряд мест, но только не Москву... Впрочем, мы еще повоюем!

Дю ж и к о в (хмуро). Воюйте, воюйте.

Гришко. А что она о-ответила вам?

Дюжиков *(грустно)*. Ответила, что будет вас ждать.

Гришко. Да? Ну, так я побегу тогда... Большое вам спасибо! За все!

Дюжиков. Торопитесь и кланяйтесь ей, счастливый человек!

Гришко *(решительно)*. Х-хорошо! И-иду! *(Поклонившись, быстро уходит.)*

Дюжиков *(задумчиво)*. Та-а-ак!.. Ашот!

Мисьян. Да, дорогой!

Дюжиков. Ты, пожалуйста, не теряй времени — иди. Кстати, взгляни по дороге в Главсевморпуть, узнай насчет сметы. Толкни их еще разок. Лишний раз — не помешает. Сделаешь?

Мисьян *(протягивает руку)*. Сделаю, дорогой. Значит, друзья?

Дюжиков *(пожал протянутую руку)*. Друзья. Ты собратья-то успеешь?

Мисьян. А что мне собираться?! Я уже полгода назад упаковал чемодан! *(Вздыхнув с облегчением, уходит.)*

Но в это время распахивается дверь, и в номер, гневно потрясая кулаками, вбегает дедушка Бабурин. Сталкивается с Мисьяном и даже не замечает этого. Тот пожимает плечами, подмигивает Дюжикову, показывает на голову и выходит.

Дедушка. Что же это получается, товарищи, а? Форменные надсмешки?!

Дюжиков. Что случилось?

Дедушка. Прихожу в Главлес. Иду в отдел заготовок, стыжу их, а они отвечают — некогда. Я их ругаю, маленько ногами на них топаю, а они отвечают — некогда! Я к ним по-сурьезному, на совесть беру, доказываю, что у меня навигация кончается, а они...

Дюжиков. Вы письмо им отдали?

Дедушка. Нет.

Дю ж и к о в. Как — нет?

Д е д у ш к а (*азартно*). А вот так — нет, и все тут! Не стану я им письмо отдавать. Я теперь из них душу выну...

Дю ж и к о в. Погодите, но ведь мы же условились, что вы им отдадите письмо.

Д е д у ш к а. Мало ли чего мы условились! Я к шести часам к самому начальнику Главка на прием записался. Вот пускай он ответит мне — правильно они поступают или неправильно?! Вы не сомневайтесь — я эти безобразия на чистую воду выведу. Я из этого Главлеса главщепок понаделаю...

Дю ж и к о в. Ох, честное слово, зря вы все это затеяли.

Д е д у ш к а. Как зря. Это вам тут сидя так легко рассуждать. А что люди на Таймыре ждут не дождутся — вы об этом подумали или как? Вы меня, молодой человек, не разубеждайте! Кто он ему, Главлесу этому, Таймыр? Чужой, что ли?..

Дю ж и к о в (*внимательно посмотрел на бабушку, встал*). Спасибо вам.

Д е д у ш к а (*остывая*). Ладно, ладно. Я не за спасибо... Я за правду.

П е в и ц а. Товарищ Кирпичников...

Дю ж и к о в. Простите, сейчас.

Д е д у ш к а. Где Кирпичников?

Дю ж и к о в (*тихо*). Я, я.

Д е д у ш к а. Вот как? Замещаете? Мы — туда, а вы — сюда! Внучка-то моя прослушивалась уже?

Дю ж и к о в. Какая внучка?

Д е д у ш к а (*усмехнулся*). Робеет! Вот публика! Ничего, сейчас я ее к вам подошлю.

Дю ж и к о в. Для чего?

Д е д у ш к а. Пускай она вам исполнит чего полагается. А вы, значит, отругаете ее и велите ей ехать в Тамбов. Чтоб людям голову не морочила! Сейчас я ее подошлю.

Дю ж и к о в (*безнадежно*). Может быть, попозже?
Д е д у ш к а. А что ж тянуть? Отругайте — и с плеч
долой! (*Энергично топая, уходит.*)

Секундное молчание.

Дю ж и к о в (*к певице*). Так на чем же мы с вами
остановились?

П е в и ц а. Я все-таки хотела попробовать спеть
соло. Можно?

Дю ж и к о в. Да, да, да. Прошу.

П е в и ц а (*становится в позу*). «Я тебе ничего не
скажу».

Отыгрыш рояля.

(*Поет.*)

Я тебе ничего не скажу,
Я тебя не встревожу ничуть.
И о том....

Сильный стук в дверь.

Дю ж и к о в. Простите... Кто там?

Входит Д е ж у р н а я. В руках у нее метелка и совок.

Д е ж у р н а я. Граждане, что это вы тут с теле-
фончиком делаете? Все занят он у вас да занят!

Дю ж и к о в. Он не занят. Он включен на между-
городную линию.

Д е ж у р н а я. Вон что! То-то, я гляжу, к нам в ни-
шу звонить начали. Один сейчас прямо криком кри-
чит. Подавайте мне, говорит, этого, который с Тай-
мыра! Я, говорит, везу ему... а чего везу, я так и не
разобрала! Вы уж ему ответьте, гражданин, а то он
обижается!

Дю ж и к о в. Я не могу уйти из номера — меня ка-
ждую секунду могут соединить.

Дежурная. Да ведь она рядом, ниша-то! Вы ступайте, а я покараулю пока... Ступайте!

Дю ж и к о в (*подумав*). Ладно. Извините, сейчас! (*Быстро уходит.*)

Дежурная, опершись на метелку, с интересом разглядывает певицу.

Дежурная. Поете?

Певица. Да. Пою.

Дежурная. Хорошее дело. А вы сами откуда будете?

Певица. Я из филармонии.

Дежурная. Откуда?

Певица. Из филармонии.

Дежурная (*с сочувствием*). Да-с, это бывает! И нравится?

Певица. Ничего.

Дежурная. Это конечно. Человек, он ко всему привыкает! Вот знаете, мне тоже предлагали на подсобное хозяйство перейти. Потом еще меня в нижний буфет звали...

Возвращается Дю ж и к о в.

Дю ж и к о в (*в дверях*). Не было звонка?

Дежурная. Нет. А вы поговорили уже?

Дю ж и к о в. Разъединили нас. Слушайте, товарищ дежурная, у меня к вам огромная просьба: покараульте у телефона, и если мне позвонят, спросите: кто везет и кого везут?! Есть?

Дежурная (*растерялась*). Ой, да как же это?.. Да ведь у меня и времени нет... И в трех номерах еще не убрано... Вы лучше администратора попросите, он скоро придет...

Дю ж и к о в (*с жаром*). Администратор придет — мы для него тоже дело найдем, вы не беспокойтесь! Вы же мне сами говорили, что вы энтузиаст тринадцатого этажа!

Дежурная. Я и не отказываюсь.

Дюжиков (*постучал себя кулаком в грудь*).
А кому везут — мне! Одним словом, Таймыру везут!
А где Таймыр? Вот он — Таймыр! У вас на тринадцатом этаже! Так сражайтесь же за него, если вы энтузиастка!

Дежурная (*нерешительно*). Попробовать разве?

Дюжиков. Конечно.

Дежурная (*с сомнением покачала головой*). Ох, ладно... Попробую. (*Уходит.*)

Дюжиков захлопнул за ней дверь, тяжело перевел дух, обернулся к Певице.

Дюжиков (*искренно и смущенно*). Еще раз — мои извинения! Мы вас перебили...

Певица. Да нет, нет, ничего... Просто не понимаю, куда мог пропасть мой партнер — тенор Юнаковский! Просто не понимаю. И потом, Леонид Михайлович не хочет делать фермато...

Дюжиков. А вы попробуйте без фермато, а?

Певица. Так ведь сейчас к вам все равно придет девушка, которую вы должны прослушать и отправить в Тамбов...

Дюжиков (*схватился за голову*). Совершенно верно! Дедушкина внучка! Я про нее совсем забыл... Впрочем, я думаю, мы успеем до ее прихода. Пока она соберется, пока что...

Певица. Хорошо, товарищ Кирпичников.

Дюжиков. Пойте. Я вас слушаю.

Певица (*становится в позу*). «Я тебе ничего не скажу».

Аккомпаниатор играет вступление.

(*Поет.*)

Я тебе ничего не скажу,
Я тебя....

(Остановилась, посмотрела на Дюжикова.)

Дю ж и к о в. Что такое?

П е в и ц а *(удивленно и радостно)*. Вы совершенно правы, товарищ Кирпичников, здесь действительно можно обойтись без фермато... Сейчас мы повторим!

В дверь стучат.

Дю ж и к о в *(в отчаянии всплеснул руками)*. Честное слово, можно сойти с ума.

П е в и ц а. Это, наверно, она!

Дю ж и к о в. Да!

Входит Люба Попова, нерешительно останавливается на пороге.

Л ю б а. Извините... я помешала, кажется?

Дю ж и к о в *(свирепо)*. Да уж заходите, заходите! Помешала, но что ж теперь подделаешь — заходите!

Л ю б а. Здравствуйте. Очевидно, вы и есть товарищ Кирпичников?

Дю ж и к о в. Да! Только, пожалуйста, давайте быстренько, у меня решительно ни одной свободной минуты... Пойте!

Л ю б а *(удивленно)*. Что?

Дю ж и к о в. Что-нибудь. Мне все равно. Что покороче.

Л ю б а *(помолчав)*. Извините, но я не понимаю.

Дю ж и к о в. А вот когда споете, тогда и поймете. Давайте! Пойте!

Люба хочет что-то возразить, но в это мгновение, запыхавшись и размахивая руками, вбегает раскрасневшийся Кирпичников.

К и р п и ч н и к о в. Скорей! Он сидит у меня внизу, в машине!

Дю ж и к о в. Кто?

К и р п и ч н и к о в. Профессор Синицын! Из Министерства народного хозяйства. Я два часа вожу его по городу — уговариваю... Скорей, он хочет повидаться с вами!

Дю ж и к о в. Он согласен?

К и р п и ч н и к о в. Не знаю. Насчет согласия пока туманно...

Дю ж и к о в. Так это вы звонили мне в нишу?

К и р п и ч н и к о в. Да, да. Бегите, я здесь подежурю... *(Шепотом.)* Это что за женщины?

Дю ж и к о в *(шепотом)*. Постарше — это певица, к вам. А молодая — дедушкина внучка. Пришла прослушиваться. Постарайтесь ее побыстрее спроводить.

К и р п и ч н и к о в. Хорошо, хорошо, бегите!

Дю ж и к о в. Бегу. *(Убегает.)*

К и р п и ч н и к о в *(приятно улыбаясь, обращается к Любе)*. Здравствуйте.

Л ю б а. Здравствуйте.

К и р п и ч н и к о в. Так чем же вы нас порадуете, а?

Л ю б а. Я?.. Я не понимаю...

К и р п и ч н и к о в. Мне товарищ... этот... товарищ Кирпичников поручил вас прослушать.

Л ю б а. Меня?

К и р п и ч н и к о в. Да, да... Что вы будете петь?

Л ю б а. Зачем петь? Товарищ Кирпичников обещал мне сказать...

К и р п и ч н и к о в. Вы чудачка! Какая вам разница, кто вам скажет — он или я? Важно ведь не кто, а что?! Правда?

Л ю б а. Да...

К и р п и ч н и к о в. Ну, ну, вот и пойте.

Л ю б а *(в отчаянии)*. Ничего не понимаю! Я ведь не певица, не артистка...

К и р п и ч н и к о в *(язвительно перебил)*. Это нам, дорогой товарищ, прекрасно известно!

Л ю б а. Я пришла...

К и р п и ч н и к о в *(внезапно)*. Он уже, наверное, внизу. *(Не слушая Любу, подбежал к открытому окну, лег животом на подоконник, свесился вниз.)*

П е в и ц а *(вскрикнула)*. Осторожно!

К и р п и ч н и к о в. Где же они, а? Ага, так, так, знакомятся... Очень хорошо... Правильно... Взял под руку... Говорит... Очень хорошо... Правильно... Давай, давай, милый друг, давай!

Л ю б а. Вы упадете!

К и р п и ч н и к о в (*обернулся, задумчиво спросил*). Вы думаете? Нет, нет, нет, зачем же я буду падать?! Это же все-таки тринадцатый этаж!

Л ю б а. Я вам хотела сказать...

К и р п и ч н и к о в (*слезая с подоконника*). Голубушка, сначала спойте, потом поговорим. Условились?

Л ю б а (*дрожащим голосом*). Я не буду петь.

К и р п и ч н и к о в. Не будете?

Л ю б а. Не буду.

К и р п и ч н и к о в (*обиделся*). Как уютно! В таком случае не смею вас задерживать.

Л ю б а. До свидания.

К и р п и ч н и к о в. Странно вы себя ведете, голубушка! Мы к вам по-дружески, а вы...

Л ю б а (*гневно, со слезами в голосе*). Вы... по-дружески? И это вы называете по-дружески? Это отвратительно, а не по-дружески. Я со всех ног бежала сюда, а вы устраиваете какую-то дурацкую комедию! Как вам не стыдно? Как вам... (*Неожиданно отвернулась, закрыла лицо руками, плечи ее вздрогнули.*)

К и р п и ч н и к о в (*растерянно*). Ну вот, как нехорошо... Сами заупрямились, накричали на меня, а теперь...

Врывается Д ю ж и к о в.

Д ю ж и к о в (*задыхаясь*). Таймыр не звонил?

К и р п и ч н и к о в. Нет. А вы с Синицыным договорились?

Д ю ж и к о в. Не совсем. Его надо еще немного покатать. Идите, он ждет. А что с ней?

К и р п и ч н и к о в (*виновато*). Плачет.

Дю ж и к о в (*почесал голову*). Бедняга! Ладно, я сам займусь. Идите. Желаю успеха, Кирпичников! Благодарю. (*Убегает.*)

Дюжиков подходит к Любе, неловко и сокрушенно потоптался на месте.

Дю ж и к о в (*сочувственно*). Не плачьте... Честное слово, не нужно расстраиваться! Ведь вы еще очень молоды, у вас все образуется, поверьте мне!

Лю б а (*всхлипывая*). Я сейчас... уйду...

Дю ж и к о в. Да я вас вовсе не гоню! Я просто хочу, чтобы вы поняли: лучше сразу узнать правду и отказаться, раз и навсегда, чем всю жизнь себя обманывать!

От этих слов Люба расплакалась еще горше.

Лю б а (*сквозь слезы*). Это он... это он просил мне так сказать?

Дю ж и к о в. Мы все так считаем!.. Ну, успокойтесь, пожалуйста... Уверяю вас, что не пройдет и полугода, как вы сами будете смеяться над этим своим увлечением! Поедете в Тамбов...

Лю б а. Куда?

Дю ж и к о в. В Тамбов.

Лю б а. А зачем в Тамбов?

Дю ж и к о в. Ну, знаете, это, по-моему, само собой разумеется!

Лю б а (*встала, решительно вытерла слезы*). Какая чепуха! Я не хочу ехать в Тамбов! Зачем я должна ехать в какой-то Тамбов?!

Дю ж и к о в. А вы что же, рассчитываете остаться в Москве?

Лю б а. Нет. Мне давали путевку в Ишим, но я сначала не соглашалась, потому что думала... Теперь завтра же поеду оформляться.

Дю ж и к о в. Ну, это совсем уже глупо! Чем Ишим лучше Тамбова?

Люба. Там есть нефть...

Дюжиков. Нефть? А зачем вам нефть?

Люба. Как — зачем? Я инженер-нефтяник! Честное слово, мне кажется, что я сплю и вижу все это во сне... До свидания... Извините, закатали истерику, как девчонка!

Дюжиков *(ошеломленно)*. Стойте, стойте! Вы инженер-нефтяник?

Люба. Да.

Дюжиков. Вы не шутите?

Люба. Нет, конечно.

Дюжиков. И у вас есть диплом?

Люба *(усмехнулась)*. Есть. Даже с отличием. Должна была в будущем году кончать, а подогнала и кончила в этом!

Дюжиков. У кого вы учились?

Люба. У профессора Старицкого.

Певица. Товарищ Кирпичников...

Дюжиков. Минуточку... Черт побери, действительно получается сплошная ерунда! Старик все напутал! Вы совершенно правы, зачем вам ехать в Тамбов! Стало быть, вы не давали еще пока согласия на Ишим?

Люба. Пока нет.

Дюжиков. В таком случае у меня к вам будет вполне конкретное деловое предложение... *(Быстро вытащил из своего чемодана большую географическую карту, положил ее на стол, развернул.)*

Люба *(разглядывает карту)*. Что это?

Дюжиков. Заполярье. Помните, как у Некрасова:

Да, страшный край!
Оттуда прочь
Бежит и зверь лесной,
Когда стосуточная ночь
Нависнет над страной...

Страшно, правда? Но это, так сказать, дела давно минувших дней. А вот теперь глядите сюда. Вот — между Енисейским и Хатангским заливами находится полуостров Таймыр. Если вас будут уверять, что это самое гиблое место на земле, — не верьте! Конечно, это, может быть, и не Гагры, но я знаю не одну сотню людей, которые никогда в жизни не променяют этот край на какие-нибудь Гагры! Да оно и понятно! Стоит один только раз увидеть, чтобы навсегда влюбиться в эту тишину, в эту ночь, в северное сияние, в удивительный необъятный простор... А когда после этой самой пресловутой стосуточной ночи появляется солнце и видишь при белом свете все, что сделано тобою и твоими товарищами за эту самую стосуточную ночь, то, клянусь вам... Впрочем, об этом и не расскажешь! И только одна беда — мало людей! Вернее, людей много, да все не хватает. Вот, понимаете, нашли в районе реки Хатанги нефть. А специалистов — раз, два и обчелся... Простите, как вас зовут?

Люба. Люба.

Дюжиков. Люба? Мне сегодня везло на это имя... Так вот, Люба, надеюсь, вам ясно, к чему я клоню?

Люба. Ясно.

Пауза. Аккомпаниатор дочитал журнал, засунул его в карман пиджака, с огромным стуком захлопнул крышку рояля и встал.

Аккомпаниатор (холодно). Хватит!

Певица (испугалась). Что с вами, Леонид Михайлович?

Аккомпаниатор. Хватит! Из-за того, что у вас нет артистического самолюбия, я не желаю пропускать концертмейстерские занятия! Я ушел! Прощайте!

Певица. Подождите, Леонид Михайлович, подождите, я с вами! До свидания, товарищ Кирпичников.

Дю ж и к о в. До свидания. Извините, что все так получилось...

П е в и ц а. Вы не виноваты... Но я хочу сказать вам, товарищ Кирпичников, что я к вам не поеду в Черноморск.

Дю ж и к о в. Да?

П е в и ц а. Да. Теперь я знаю, куда я поеду. До свидания, товарищ Кирпичников. Леонид Михайлович, идемте!

Певица и Аккомпаниатор уходят. Дюжиков недоуменно посмотрел им вслед, усмехнулся.

Дю ж и к о в. Странные люди... Так вот, Люба, что вы мне можете на все это сказать?

Л ю б а. А что я должна вам сказать?

Дю ж и к о в. Конечно, на ходу такие вопросы обычно не решаются, это я понимаю. Но вся беда в том, что завтра я должен улететь обратно. В управлении Геологоразведки моя заявка есть, так что с их стороны возражений не будет и все дело только за вами. Соглашайтесь, а? Даю вам слово — не пожалеете! Сегодня же вас оформят в отделе кадров, и вместе полетим! А?

Л ю б а. Куда? В Черноморск?

Дю ж и к о в. Да нет, я же с Таймыра!

Л ю б а. А почему она...

Дю ж и к о в (*перебил*). Недоразумение!.. Понимаете, Люба, для начала мы, скажем, законтрактуем вас всего на год, и если вам что-нибудь не понравится... хотя я совершенно убежден в том, что через год вы сами заболаете Таймыром, не хуже нас, грешных!

Л ю б а (*задумчиво*). Так, значит, на Таймыр?

Дю ж и к о в. Ага!

Л ю б а (*решительно потрянула головой*). Ну что же! Мне теперь все равно... А Таймыр — это даже заманчиво!

Дю ж и к о в (*недоверчиво*). Вы согласны?

Люба. Согласна.

Дюжиков (после паузы). Знаете что, подумайте еще три минуты. Пусть вам потом не кажется, что я вам просто не дал опомниться. Я засекаю время...

Люба. Не надо. Я согласна.

Дюжиков. Слово?

Люба. Слово.

Дюжиков. Вашу руку!.. А может быть, вы все-таки подумаете?

Люба. Нет. Я решила уже.

Дюжиков. Вы молодчина! Я сразу понял, что вы настоящая молодчина! Недаром вас зовут Люба.

Люба (улыбнулась). Разве это какое-нибудь особое имя?

Дюжиков. Мне оно нравится...

Открывается дверь, и быстро входит очень взволнованная Дуня.

(Радостно.) А вот и еще одна Люба!

Дуня (гневно и торопливо). Происходит какое-то непонятное недоразумение...

Дюжиков. Что случилось?

Дуня. Скажите мне честно: я у вас была?

Дюжиков. Были.

Дуня. Вы говорили со мной?

Дюжиков. Говорил.

Дуня. Я так и знала! Нет, вы понимаете, какой вредный, пускается теперь на всякие хитрости, чтоб только заставить меня ехать с ним! А я не поеду! Все равно не поеду! Я так и сказала ему...

В дверь просовывается голова Дежурной.

Дежурная. Гражданин...

Дюжиков. Да?

Дежурная. Опять звонит этот... Ну, который профессора возит...

Дюжиков (мгновенно забывая обо всем на свете). Что у него?

Дежурная. Не пойму... Вы сами с ним потолкуйте — он ждет!

Дюжиков. Ждет? Ладно, бегу... Девушки, вы не уходите никуда, я скоро вернусь!

Дюжиков и Дежурная убегают.

Люба (помолчав). Какой он странный, этот Кирпичников, правда?

Дуня (хмуро). Он не Кирпичников.

Люба. Как — не Кирпичников? А кто же он?

Дуня. Fortunатов. Я сама сначала думала, что Кирпичников, а потом выяснилось, что он Fortunатов. Наверное, это его псевдоним.

Люба. Почему — псевдоним? Разве он артист?

Дуня. Да... А в общем, я сама толком не знаю! До того все непонятно, что прямо хоть садись да реви!

Люба (усмехнулась). А я уже наревелась!

Дуня (участливо). У вас беда какая-нибудь?

Люба. Да... Не знаю... Нет, не беда! Просто была душой, верила, надеялась на что-то и ждала напрасно...

Дуня (сурово). Я тоже напрасно ждала. Три часа.

Люба. Я целый год.

Дуня. Целый год. Ой-ой-ой! Ну а он?

Люба. Он? Он со мною и встретиться не захотел. Попросил своих друзей поговорить...

Дуня (возмущенно). Неужели друзей попросил?

Люба. Да. Они мне все сказали. Сказали, чтобы я перестала себя обманывать...

Дуня. Подлец!

Люба. Нет, он не подлец. Он, в конце концов, ни при чем. Это я сама выдумала бог знает что, вот и каюсь!.. Не хочу больше об этом... Вас зовут Люба?

Дуня. Нет, Дуня.

Люба. А мне показалось, что он вас назвал Любой... У вас, Дунечка, тоже неприятности, да?

Дуня. Да... Только сначала я не думала, что это

неприятности. Сначала я думала, что это наоборот... А потом все стали со мной хитрить, путать... Ну и все равно... все равно я не поеду в Тамбов!

Люба. Куда?

Дуня. В Тамбов.

Люба. И вы тоже?

Дуня. Что?

Люба (*яростно*). Ну что это за глупый, что это за отвратительный розыгрыш! Ну почему они все хотят, чтобы мы ехали в Тамбов!

Дуня (*всхлипнула*). Я не знаю...

Люба (*всхлипнула*). И я не знаю... Вы только не плачьте, Дуня.

Дуня. Не буду.

Люба. Не плачьте, не плачьте. Погодите, сейчас мы сообща найдем и для вас какой-нибудь выход.

Дуня. А для себя вы нашли?

Люба. Нашла. Собственно, не яшла, а Кирпичников...

Дуня (*поправляет*). Ну да, да, Фортунатов!

Люба. Он предложил мне ехать работать на Таймыр...

Дуня. Куда?

Люба. На Таймыр.

Дуня. Ой, это ведь очень далеко?

Люба. И пускай далеко! Вот и хорошо, что далеко! Но мне чем дальше, тем лучше!

Дуня. А он?.. Он тоже едет?!

Люба. Конечно.

Дуня (*помолчав, упавшим голосом*). А сперва сказал... Когда он едет?

Люба. Завтра.

Дуня (*едва не вскрикнула*). Завтра?

Молчание. Люба встает, подходит к Дуне, старается заглянуть ей в лицо. Дуня отворачивается.

Люба (*тихо*). Дунечка...

Дуня молчит.

Дунечка, ну хотите, сейчас он вернется, я с ним поговорю, чтобы всем вместе.

Дуня (*резко*). Ни за что!

В номер вбегает Дюжиков.

Дюжиков. Можете себе представить — он согласен!

Люба. Кто?

Дюжиков. Профессор Синицын! Таймыр не звонил?

Люба. Нет.

Дюжиков (*подошел к Любе, взял ее за руку*). Идемте!

Люба. Куда?

Дюжиков (*оглядел номер*). Куда? На балкон! Нам надо еще поговорить, а здесь мы будем мешать!

Люба (*пожимая плечами*). Ладно.

Дуня. А я...

Дюжиков (*значительно*). А вы сидите, пожалуйста, и ждите! (*Берет два стула, папку с делами и, еще раз значительно и загадочно кивнув Дуне, уходит с Любой на балкон.*)

Пауза. Входит Гришко. Близоруко всматривается, узнает Дуню и останавливается перед ней в полном недоумении.

Гришко. Это в-вы?

Дуня. Да, я.

Гришко (*растерянно*). Очень п-приятно... Очевидно, я не так п-понял...

Дуня (*сердито*). Очевидно.

Гришко. Я з-задержался... дозванивался из вестибюля одной з-знакомой, а он наскочил на меня и з-заставил идти сюда... Впрочем, я понимаю! Вероятно, он хотел, чтобы я перед вами извинился... Да, конечно!

Дуня. Кто хотел? За что извинились?

Гришко. Ну, за то, что произошло утром, когда

вы приходили будить дедушку. Действительно, вы совершенно правы: я все напутал, вел себя недопустимо развязно, и мне до сих пор стыдно... Я вполне разделяю его в-возмущение... Вполне!

Дуня. Чье возмущение?

Гришко. Дюжикова.

Дуня. Понятия не имею, о чем вы толкуете. Если вы насчет утра, так я про это уж и думать забыла...

Гришко. Правда?

Дуня. Правда, правда.

В дверь стучат.

Гришко. Да-да!

Входит пожилая женщина — Тетя Гали Савельевой.

Вам к-кого?

Тетя Гали Савельевой. Мне нужно повидать гражданина Фортунатова.

Дуня. Он здесь. Подождите.

Тетя Гали Савельевой. Хорошо. *(Садится в кресло, в углу. Застывает в позе напряженного ожидания.)*

Гришко *(Дуне)*. Какой это Фортунатов? Г-где он?

Дуня. На балконе.

Гришко *(ничего не поняв, на всякий случай кивнул головой)*. Ага! А вы почему такая с-сердитая? Кто вас обидел?

Дуня. Никто.

Гришко. А все-таки?

Дуня. Никто меня не обидел.

Гришко *(улыбаясь)*. Никто не обидел, а сердитесь! З-зна-чит, просто характер плохой, да?

Дуня *(злость придает ей решимость)*. Ну при чем здесь мой характер? Вот вы сами рассудите: обидно это или нет?! Сперва человек говорит... Говорит, что решил остаться из-за меня... А на самом де-

ле — все неправда! На самом деле — он уезжает на Таймыр...

Гришко. Вот как? Он вам это все сказал?

Дуня. Да.

Гришко. Не может быть!

Дуня (серьезно). Я не вру.

Гришко. Слушайте, так ведь это ж з-замечательно! Ведь он же вам тоже нравится, да? П-признавайтесь!

Дуня. Не понимаю, чему вы радуетесь?

С балкона выглянул Дюжиков. Дуня быстро отвернулась.

Дюжиков (с видом заговорщика). Ну как? Не кончили еще?

Гришко. Нет, кончили. Можно вас на одну с-секунду?

Дюжиков. Слушаю.

Гришко (ответ Дюжикова в сторону, тихо). Поглядите на эту девушку...

Дюжиков (угрюмо). Я уже глядел.

Гришко (шепотом). Я, правда, не очень хорошо разбираюсь в подобных делах, но, по-моему, вы ей нравитесь... И даже, может быть, больше чем нравитесь!

Дюжиков (в ужасе). Что?

Гришко. Да, да, да!

Дюжиков. Я? А вы?

Гришко. Я?..

Дюжиков внимательно посмотрел на Гришко, внезапно резко повернулся, подошел к окну, несколько секунд постоял молча.

Тетя Гали Савельевой (тихо, Дуне). Это и есть Фортунатов?

Дуня. Да.

Гришко. Так я пойду.

Дюжиков (протянул руку Гришко, взволнованно сказал). Вы настоящий человек. Я сейчас никак не могу собраться с мыслями, это все так неожиданно

но и... Но вы настоящий человек!.. Понимаю, как вам должно быть горько... Извините...

Гришко. Н-ничего! Желаю счастья... Кстати, кто это сидит с вами на балконе?

Дюжиков *(рассеянно)*. Один товарищ. По делу.

Гришко *(кивает на Тетю Гали Савельевой)*. Его, кажется, ждут. Еще раз желаю счастья! До свидания! *(Вежливо поклонившись, быстро уходит.)*

Дюжиков продолжает стоять у окна, словно не решаясь взглянуть на Дуню.

Тетя Гали Савельевой *(Дуне)*. Вы давно знакомы с этим Фортунатовым?

Дуня. Нет.

Тетя Гали Савельевой *(взволнованно)*. Вам не следует здесь оставаться, вы понимаете? Вам ни в коем случае не следует здесь оставаться!

Дуня. Почему?

Дюжиков *(наконец решившись, обернулся к Дуне)*. Вот как все получилось! Вы ушли, а я все время о вас думал... И злился на себя за то, что я думаю! И не мог... Вернее, не хотел понять...

Тетя Гали Савельевой *(встала)*. Извините, пожалуйста...

Дюжиков. Что такое?

Тетя Гали Савельевой. Я хочу узнать... Меня просили узнать... В общем, вам известна такая Галя Савельева?

Дюжиков. В первый раз слышу!

Тетя Гали Савельевой. В первый раз слышите? А как же... Нет, это вы говорите неправду! Я тетя Гали Савельевой, и она... Я все знаю... Она со мною всегда советуется, и я... Она просила меня... Вот, возьмите, гражданин Фортунатов, ваши письма... Все!.. *(Швырнула под ноги Дюжинову пачку смятых писем и быстро ушла.)*

Молчание.

Дю ж и к о в (*растерянно*). Вот чудачка. Вы знаете, Люба...

Д у н я (*тихо*). Я не Люба! И я не Галя Савельева. Вы ошиблись, гражданин Фортунатов! Прощайте! (*Быстро уходит.*)

Дю ж и к о в. Люба! Подождите, Люба!.. Все сошли с ума... Люба!

С балкона быстро выходит Люба.

Л ю б а. Вы звали меня?

Дю ж и к о в. Вас? Нет... Нет, не звал...

Л ю б а. А мне послышалось. Что с вами?

Дю ж и к о в. Ничего... Не знаю... Подождите! (*Размашисто наливает из графина воду, жадно пьет.*)

Люба в недоумении смотрит на него.

(*С трудом.*) Вот что, вы сейчас отправляйтесь в Геолого-разведочное управление, в отдел кадров... Скажите, что мы с вами договорились и что больше ко мне никого посылать не надо. Пусть они вас оформят. Не возражаете?

Л ю б а. Хорошо, товарищ Фортунатов.

Дю ж и к о в (*яростно*). Я не Фортунатов. Не смейте меня называть Фортунатовым!

Л ю б а. Извините. Я сама думала, что это ошибка. Хорошо, товарищ Кирпичников!

Дю ж и к о в. Я не Кирпичников! И я не Фортунатов! Я... этот, как его... Я — Дюжиков, черт возьми, Дю-жи-ков. Ясно?

В номер без стука входит Муж своей жены. Рядом с ним чрезвычайно угрюмого вида Человек из гардероба.

Муж своей жены (*указывая на Дюжикова*). Он?

Человек из гардероба неопределенно пожимает плечами.

Дю ж и к о в (*резко*). В чем дело?

Муж своей жены. Уличить вас, гражданин Фортунатов, пришли! Вот, человек в гардеробе работает, видел, как вы у жены тридцать рублей брали!..

Дюжиков. Послушайте...

Муж своей жены. А нам вас, гражданин Фортунатов, слушать неинтересно! Нам, гражданин Фортунатов, деньги нужны!..

Распахивается дверь, и в номер бойко вбегает Человек в клетчатом пальто.

Человек в клетчатом пальто. Товарищу Кирпичникову привет еще раз!

Дюжиков. Что?

Человек в клетчатом пальто. Я говорю: приветствую вас еще раз, дорогой товарищ Кирпичников! Вы хотели иметь классику, будьте любезны, мы работаем классику. Внимание.

Человек в клетчатом пальто высовывается в коридор, и оттуда по его зову в номер влывает странная компания — два гитариста, старая женщина с бубном, вихрастый паренек в голубой косоворотке и в смазанных сапогах. Люба в испуге медленно пятится к дверям.

Цыганская-концертная! Чавелы, друзья мои, поехали!

Занавес.

Действие третье

Музыка.

Перед закрытым занавесом проходит Дежурная, останавливается, произносит негромко и загадочно:

— Дальше было... А впрочем, увидите сами! Только очень прошу соблюдать тишину!.. (Взглянула на часы, вздохнула.)

До чего ж неохота расставаться с друзьями, может, смену еще отдежурить одну?.. (Уходит.)

Открывается занавес.

Ранние сумерки. Дюжиков задумчиво стоит у открытого настежь окна и слушает шум вечернего города. В дверь стучат, Дюжиков молчит. Снова стучат. Дюжиков осторожно, бесшумно подходит к дверям, спрашивает нарочито тонким голосом.

Дюжиков. Кто там?

За дверью слышен голос дедушки Бабурина.

Дедушка. Да ну я это! Я! Открывайте!

Дюжиков отпирает дверь.

Дедушка (входя). Это вы от кого же тут прячетесь, а?

Дюжиков (мрачно). Да так... Замучили... Что у вас?

Дедушка (торжественно). У меня — пошла писать губерния! Я начальнику Главлеса пожаловался, он совещание созвал, распушил их всех! За бесчувственное, говорит, отношение к Таймыру! Прощения у меня просили... Ну смех, и только!

Дюжиков. Письма вы им отдали?

Дедушка. Отдал. Не хотелось, да уж, думаю, ладно. А вот с подшипниками у нас тю-тю!

Дюжиков. Как — тю-тю! Наряда не дают?

Дедушка. Наряд-то дают, да на будущий месяц! У них на август лимит исчерпан. Я им говорю: мне, говорю, будущий месяц не подходит. У меня навигация кончается. Не убедил! Может, Кирпичников чего-нибудь там добьется?

Дюжиков. А он как туда попал?

Дедушка. Я по ноль девять позвонил, узнал номерок филармонии и вызвал товарища Кирпичникова на подмогу! Подшипники же нужны!

Дюжиков (задумчиво). Да, неприятно.

Дедушка. Подождем, товарищ Дюжиков, Кирпичникова.

Дюжиков. Подождем Кирпичникова.

Дедушка (*тяжело вздохнул*). Ох-хо-хо! Беспокоюсь я за этот участок... Да, к слову, товарищ Дюжиков, за внучку — нижайшая вам моя благодарность!

Дюжиков. А что?

Дедушка. Все в порядке. Лежит у себя в номере, плачет, на вопросы не отвечает.

Дюжиков. Погодите, как — лежит у себя в номере и плачет? Мы с ней договорились, что она идет оформляться.

Дедушка. Куда оформляться? Ей в Тамбов оформляться не надо. Она и так самая что ни на есть коренная тамбовская.

Дюжиков. Не понимаю я вашего упорства, ей-богу!

Дедушка. В каком смысле?

Дюжиков. В самом прямом! У вашей внучки золотая специальность...

Дедушка. Правильно.

Дюжиков. А что ей делать в Тамбове?

Дедушка. По специальности и работать.

Дюжиков. Убейте — не понимаю! Да откуда взялась в Тамбове нефть?

Дедушка (*подозрительно*). Нефть? Не знаю, откуда она взялась.

Дюжиков. А если нету нефти, то за каким лешим вы принуждаете специалиста-геолога ехать в Тамбов?

Дедушка. Это какого еще геолога?

Дюжиков. Внучку.

Дедушка. Чью внучку? Мою, что ли?

Дюжиков. Вашу.

Дедушка. А кто вам сказал, извините, что она геолог?

Дюжиков. Да она сама. Только недавно.

Дедушка. Свят, свят, свят! Ведь вот предупредал я ее: нечего тебе в Москву ездить! Москва — го-

род шумный, беспокойный, тут у старых людей глаза разбегаются... Вы уж не сердитесь на нее, товарищ Дюжиков, мало ли чего в жару наболтаешь?! Ох, побегу, может, к ней доктора звать надо...

В дверь стучат.

Дю ж и к о в (вздыхнул). Войдите.

Входит толстая, веселая, еще не старая женщина — мать Любы Поповой — Елена Николаевна Попова. Она останавливается в дверях и с интересом смотрит на Дюжикова.

Попова. Здравствуйте, мне нужен товарищ Кирпичников.

Дю ж и к о в (скорбно). Это я.

Попова. Вы?

Дю ж и к о в. Да, я.

Дедушка. Так я побежал, товарищ Дюжиков!

Дю ж и к о в (неестественно засмеялся, грозно посмотрел на дедушку). Шутите, дедушка... Что это вы меня все Дюжиковым да Дюжиковым дразните?

Дедушка сконфузился, искося быстро взглянул на Попову и вышел.

Дю ж и к о в (Поповой). Садитесь. Вы по какому вопросу?

Попова. Я — Елена Николаевна Попова. Мать Любы.

Дю ж и к о в (тихо). Вы?

Попова. Да. Может показаться странным то, что я пришла к вам. Но вы должны меня понять... У нас с Любой никогда не было тайн друг от друга! И сейчас я тоже все знаю... Знаю, что она прибежала сюда повидаться с Андреем Николаевичем... Знаю, что говорили с нею вы, и знаю, что она приняла решение ехать с вами на Таймыр...

Дю ж и к о в. На Таймыр?

Попова. Нет, нет, вы только не поймите меня неверно! Я ведь не против того, чтобы она ехала...

Меня просто взволновала и, честно вам скажу, немножко испугала та внезапность, с которой это все произошло... (Улыбнулась.) Очевидно, вы были настолько убедительны...

Дю ж и к о в (медленно). Я с нею не говорил о Таймыре.

П о п о в а. Вот как?

Дю ж и к о в. Да. Я говорил об этом с другой Любой, но не с ней. Решила ехать она сама. И вы первая, от кого я это слышу... Я ужасно рад тому, что вы сюда пришли, Елена Николаевна!

П о п о в а (после паузы). Почему?

Дю ж и к о в (просто). Я люблю Любу.

П о п о в а (с шутиливой серьезностью). И давно?

Дю ж и к о в. Очевидно, с самой первой минуты нашего знакомства.

П о п о в а. А когда это приключилось?

Дю ж и к о в. Только сегодня. Не смейтесь! Я понимаю, что это звучит нелепо и я, вероятно, кажусь мальчишкой и чудаком, но это действительно так... Поверьте, я вовсе не из той породы людей, которые, что ни день, теряют голову... На Севере, в долгие зимние ночи, когда ребята рассказывали о своих невестах и женах, они часто приставали ко мне, чтобы я рассказал тоже! А я молчал! У меня никогда не было ни жены, ни невесты... Я только представлял себе — какой бы я хотел ее видеть! А словами я об этом сказать не мог!

П о п о в а. А теперь можете?

Дю ж и к о в (подумав). Нет, пожалуй, и теперь не могу. Но теперь я знаю хоть — какая она. И теперь, после того как она решила ехать вместе со мной, я уже не боюсь в этом признаться! Впрочем, она оказалась отважней меня... Ох, как это удивительно хорошо, Елена Николаевна, то, что Люба едет к нам на Таймыр!

П о п о в а. И вы думаете, ей не придется об этом жалеть?

Дю ж и к о в (*твердо*). Нет. Никогда.

П о п о в а (*задумчиво улыбаясь, смотрит на Дюжикова*). Да... удивительно! Когда Люба позвонила мне на работу, я уже по одному ее тону поняла, что случилось нечто необычное... А впрочем, и со мною когда-то все произошло примерно так. Любишь сразу. И не любишь тоже сразу. А вы, по-моему, славный... Я, кажется, понимаю Любу... Правда, немножко сумасшедший!

Дю ж и к о в. Это плохо, что сумасшедший?

П о п о в а. Нет. Ничего. Мне даже нравится.

В дверь просовывается голова Человека в клетчатом пальто.

Человек в клетчатом пальто. Товарищ Кирпичников...

Дю ж и к о в (*коротко*). Уйдите, пожалуйста!

Человек в клетчатом пальто (*не обижаясь*). Хорошо, Иван Иванович! Я в коридоре буду! (*Исчезает.*)

П о п о в а. Вы свободны сегодня вечером?

Дю ж и к о в (*злбно кивнул на телефон*). Да вот, жду телефонного звонка. Если меня наконец соединят — буду свободен.

П о п о в а. Приходите к нам. Приходите, посидим запросто, поговорим. Записывайте адрес... Ведь вы, разумеется, не знаете нашего адреса?

Дю ж и к о в (*смеется*). Не знаю.

П о п о в а. Так я и предполагала! Записывайте!

В дверь стучат.

Дю ж и к о в. Пожалуйста.

Входит еще одна женщина — маленькая, решительная, в пенсне.
В руках у нее кожаный докторский чемоданчик.

Ж е н щ и н а. Здравствуйте! Мне сказал портье, что Иван Иванович Кирпичников находится в этом номере...

Дюжиков. Да.

Женщина. Где он?

Дюжиков *(после паузы)*. Сейчас...

Женщина. Что — сейчас?

Дюжиков. Сейчас.

Попова. Так вы пишете, Иван Иванович.

Дюжиков. Да, да.

Попова *(диктует)*. Метростроевская улица...

Женщина. Где Иван Иванович?

Дюжиков *(от растерянности приятно улыбаясь и подмигивая женщине)*. Сейчас, сейчас...

Женщина *(рассердилась)*. Что вы мне подмигиваете? Я требую, чтоб вы немедленно мне ответили: где Иван Иванович Кирпичников?

Дюжиков. Ну, я, я, я Кирпичников!

Женщина. Вы?

Дюжиков. Да.

Женщина. Иван Иванович Кирпичников?

Дюжиков. Да.

Женщина. Директор Черноморской филармонии?

Дюжиков. Да. У вас что, простите, сопрано или что-нибудь другое?

Женщина *(с загадочной и зловещей улыбкой)*. У меня другое. Совсем другое. Дело в том, дорогой Иван Иванович Кирпичников, что я ваша жена!

Дюжиков *(остолбенев)*. Кто?

Женщина. Жена.

Попова с интересом и удивлением смотрит то на Дюжикова, то на Кирпичникову.

Дюжиков *(заплетающимся языком)*. Какая?

Кирпичникова. Законная! Мы с вами, Иван Иванович, уже двадцать пять лет состоим в законном зарегистрированном браке. Вы какого года рождения?

Дюжиков. Двадцать девятого.

Кирпичникова (*меланхолично*). Значит, вы женились на мне десяти лет от роду. Рано!

Дюжиков. Товарищ Кирпичникова!

Кирпичникова. Ну а теперь шутки в сторону, и извольте отвечать: что здесь происходит? Где Ваня?

Дюжиков. Сейчас я вам все расскажу... Дайте мне только...

Кирпичникова (*великодушно*). Пожалуйста.

Попова. Да, да... Мне тоже будет интересно послушать!

Дюжиков вытер платком вспотевший лоб, налил в стакан воды, выпил.

Дюжиков. Уже! Видите ли, я весь день как проклятый сижу в этом номере и дожидаясь телефонного разговора с Таймыром... А у меня сто тысяч дел в городе, а меня вызывает Таймыр... И я не могу уйти. Понимаете?

Кирпичникова. Нет. (*Поповой.*) А вы?

Попова. Я тоже нет.

Дюжиков (*терпеливо*). Меня вызывает Таймыр...

В номер врывается Дедушка, подступает к Дюжинову. Дедушка настроен воинственно.

Дедушка. Что же это получается такое, любезный друг? Выходит, что не она вам голову морочила, а вы ей голову морочили? Вот ведь какая история! Она мне все сейчас рассказала!

Дюжиков. Погодите... О чем вы?

Дедушка. А все о том же, любезный друг, все о том же! Интересуюсь, зачем вы внучку мою обманываете, это раз! Интересуюсь, кто такая Галя Савельева, которой вы письма писали, это два-с!..

Попова (*резко встала*). Ну, это уж слишком!

Дюжиков (*беспомощно*). Елена Николаевна... Я вам клянусь — это какое-то дикое недоразумение...

Попова, не слушая Дюжикова и не прощаясь, уходит.

Дюжиков хочет броситься за нею вслед, но его останавливает телефонный звонок.

Дюжиков (хватает трубку.) Алло... Да... Слушаю... Междугородная?.. Что, что?? Ждать и не отходить от телефона? Знаете что, междугородная, сейчас я приду к вам, на вашу междугородную, и... ладно! Жду и не отхожу! *(Безнадёжно махнул рукой, повесил трубку, непонимающими глазами посмотрел на Кирпичникову и дедушку, потом, словно о чём-то вспомнив, стремительно побежал к дверям.)*
Елена Николаевна!

Молчание. Раскланиваясь и улыбаясь, появляется Человек в клетчатом пальто.

Человек в клетчатом пальто. Вы меня, Иван Иванович?!

Дюжиков *(страшным голосом)*. Уйдите!!!

Человек в клетчатом пальто исчезает. Молчание.

Дедушка *(горестно)*. А я-то слушаю, я-то слушаю — про какую он мне нефть толкует?.. Понятно теперь, какая нефть!

Дюжиков. Даю вам честное слово...

Дедушка. Отрицаете, значит?

Дюжиков *(отчаянно)*. Отрицаю... Стойте, вы же сами говорили, что у нее жар...

Дедушка. Я говорил, потому как я ей дедушка — мне можно! А вам, гражданин, я не позволю! Вот сейчас я схожу за ней, тогда поглядим. *(Уходит.)*

Молчание.

Кирпичникова. И все-таки мне бы очень хотелось узнать: где находится Иван Иванович?

Дюжиков. Он в Стальконструкции.

Кирпичникова. Да? Ну хорошо, если вам угодно начать все сначала — начнем. Значит, он в Стальконструкции. Бегает по чужим делам, вместо

того чтобы заниматься своими. Это мне ясно. А вас вызывает Таймыр...

Дю ж и к о в. Да.

К и р п и ч н и к о в а. Пока еще не улавливаю связи.

Дю ж и к о в. Тут, в двух словах, такая история...

К и р п и ч н и к о в а. Ничего, ничего, не торопитесь. Я человек терпеливый — мы разберемся...

Входит Г р и ш к о. Угрюмо и молча, ни на кого не глядя, подходит к своей кровати, достает чемодан.

Дю ж и к о в. Андрей Николаевич...

Гришко молчит.

Андрей Николаевич, вы не заходили больше в Геолого-разведочное управление?

Г р и ш к о. Заходил.

Дю ж и к о в. Что с вами?

Г р и ш к о. Ничего.

Дю ж и к о в. Да нет, я же вижу... Андрей Николаевич!

Г р и ш к о. Очень вас прошу не обращаться ко мне. Мне это н-неприятно...

Молчание. Гришко сумрачно и сосредоточенно занимается укладкой своего чемодана.

Дю ж и к о в (*мягко*). Слушай, Андрей Николаевич, дружище, пойми, что теперь никто из нас не в силах уже ни переделать, ни изменить того, что произошло... Разумеется, тебе тяжело, обидно, горько... Иначе и быть не может! Сейчас ко мне заходила Елена Николаевна...

Г р и ш к о (*насторожившись*). К-кто?

Дю ж и к о в. Ну, Андрей Николаевич, ну, успокойся! Ты пойми, что для меня это тоже вовсе не так просто... Я, как мальчишка, полюбил ее с первого взгляда и...

Г р и ш к о (*не выдержал, крикнул*). К-кого, к-кого вы п-по-любил-ли?!

Дюжиков. Любу.

Гришко. Л-Любу?

Дюжиков. Да.

Гришко. А она?

Дюжиков (*сдержанно*). Об этом следует спросить у нее.

Молчание.

Кирпичникова. Молодые люди, прошу прощения, это гостиница «Москва»?

Дюжиков. Да. А что?

Кирпичникова (*пожала плечами*). Нет. Ничего. Знаете что, молодые люди, давайте сядем и попробуем спокойно разобраться — кто же кого любит...

Нагруженный кулками, свертками и пакетами, в номер вваливается Кирпичников.

Кирпичников. Товарищ Дюжиков, наряда на подшипники не дают! Сейчас закусим и соберем военный совет...

Кирпичникова (*спокойно*). Здравствуй, Ваня!

Кирпичников (*роняя пакет*). Здравствуй, Лизочка!..

Кирпичникова. Чуяло мое сердце, что нужно спешить.

Кирпичников. Как ты? Откуда ты?..

Кирпичникова. Меня взял на самолет один мой пациент. Директор завода. Это что, последняя московская мода — носить пижаму вместо рубашки?

Кирпичников (*сконфуженно оглядывает себя*). Нет, нет, нет... Ну почему вдруг — вместо рубашки?.. Да, действительно... Чудовищно!..

Кирпичникова (*покачала головой*). Ах, Ваня, Ваня! А зачем тебе понадобились подшипники?

Кирпичников. Не мне, Лизочка, Таймыру.

Кирпичникова. Кто он такой? Твой друг?

Кирпичников. Нет... полуостров.

Кирпичникова. Твой?

Кирпичников. Наш, Лизочка.

Кирпичникова. Я не знала.

Кирпичников. Это замечательный полуостров! Там есть все! Руда, нефть, зверье, птица... А ночь? Знаешь ли ты полярную ночь, Лизочка? Нет, нет, нет — это чудовищно, но ты не знаешь полярной ночи! Северное сияние горит, по снегу дикий олень бежит... Да, между прочим, товарищ Дюжиков, есть у меня для вас сюрприз.

Дюжиков. Какой?

Кирпичников. Был я Главконсерве, получал там для себя кое-что, замолвил и за вас словечко. Завтра забегите — они вам устроят. Превосходнейшая, знаете ли, продукция. Оленье рагу. Вот образец! *(Достал из портфеля какую-то банку, протянул Дюжикову.)*

Дюжиков *(повертел банку в руках, усмехнулся)*. Да, продукция превосходнейшая!

Кирпичников. Нравится? Нет, нет, не благодарите...

Дюжиков. А вы не поинтересовались, где изготавливается это рагу? На заводе «Северянин». А находится этот завод на Таймыре. И это мы, с вашего позволения, поставляем консервы всему Северу...

Кирпичников *(растерянно)*. Вот как? На Таймыре?

Кирпичникова *(неожиданно рассердилась)*. Знаете что, дорогие товарищи, мне, наконец, надоело слушать про ваше северное сияние! Да, да, да. Я прямо с аэродрома заехала в филармонию, и там тоже все кричат про северное сияние...

Кирпичников. Почему, Лизочка?

Кирпичникова. А потому, что туда приезжала какая-то певица Захарова и раскричала всем —

какой ты замечательный, как ты удивительно рассказываешь про Таймыр и что теперь она поедет только на Север... Кажется, она еще сказала, что чуть ли не влюбилась в тебя... Не понимаю, что ей могло в тебе понравиться?

Кирпичников (*самодовольно*). А почему, Лизочка, я не могу ей понравиться?

Быстро входит Люба, Гришко, увидев ее, вздрагивает и снова бросается к своему чемодану.

Люба (*протягивает Дюжикову бумагу*). Вот. Все оформлено.

Дюжиков. Хорошо,

Люба (*тихо и сдержанно*). А теперь я хочу узнать: кто же здесь все-таки товарищ Кирпичников? Вы?

Дюжиков. Да нет, я Дюжиков, Дюжиков я.

Люба. А кто же Кирпичников?

Дюжиков (*показывает на Кирпичникова*). Вот.

Люба. Вы?

Кирпичников. Да, я.

Люба (*гневно*). Как вам не стыдно! Пожилой человек!

Кирпичникова. Позвольте, позвольте, это любопытно! Что такое?

Люба. Ну, я допускаю, что у вас были основания смеяться надо мной и даже... не обо мне речь! Но маме... Смеяться над мамой вы не имели никакого права! Решительно никакого!

Дюжиков (*мучительно соображая*). Погодите...

Люба (*не слушая*). Как вы ей смели говорить о том, что любите меня?

Кирпичников. Я?

Люба. Вы! Вы! Да как вы смели шутить такими вещами? Как вы смели делать из нас обеих посмешище? Как вы смели...

Кирпичникова. Ваня!..

Кирпичников. Лизочка...

Кирпичникова. Молчи!

Дюжиков. Погодите, как зовут вашу маму?

Люба (*по-прежнему не слушая*). Она очень чуткий человек! И она мне сразу так и сказала, что сначала вы ей понравились, а потом она возненавидела вас. Да, да, просто возненавидела! Потому что она поняла, что все это — издевательство и глупая шутка...

Дюжиков. Ее зовут Елена Николаевна?

Люба. Ну да!

Дюжиков (*схватился за голову*). Боже мой!

Отворяется дверь. Спиной входит Дедушка, старается втащить в номер Дуню.

Дедушка. Я тебе говорю — заходи... А я тебе говорю — не спорь, заходи... А я говорю — слушайся деда, заходи... Сейчас мы его — на чистую воду. (*Втаскивает Дуню, подходит к Дюжинову, который по-прежнему стоит схватившись руками за голову.*) (Дуне.) Он?

Дуня (*шепотом*). Он.

Дюжиков. Что?

Дедушка (*торжествуя*). Все!

Дюжиков (*кричит*). Кого вы привели?

Дедушка. Свят, свят, свят! Второй тронулся! Это ж внучка моя — Дуня.

Дюжиков (*обернулся к Любе*). А вы? Кто вы такая?

Люба. Я — Попова.

Дюжиков (*после паузы, безжизненным голосом*). Товарищи, все ясно!

Недоуменное молчание. Сильный стук в дверь. Все испуганно обернулись. Входит Милиционер. Рядом с ним Муж своей жены и Человек из гардероба. Воспользовавшись случаем, вместе с ними проскальзывает в номер Человек в клетчатом пальто. Милиционер подходит прямо к Гришко.

Милиционер. Вы будете гражданин Фортунатов?

Гришко. Н-нет.

Муж своей жены (*указывая на Дюжикова*). Да вот же он, Fortunatov! Вот он, голубчик этот, гражданин милиционер! Собственной персоной!

Дуня. Он не Fortunatov!

Милиционер (*решительно подходит к Дюжикову*). Ваша фамилия?

Человек в клетчатом пальто раньше, чем кто-либо, успевает ответить, стремительно подсказывает к Дюжикову.

Человек в клетчатом пальто. Ах, это милиция! Фамилия этого товарища — Кирпичников. Иван Иванович Кирпичников! Всем нам известный, уважаемый Иван Иванович Кирпичников!

Кирпичников. Минуточку...

Милиционер (*строго*). Попрошу посторонних граждан не вмешиваться и не скопляться. (*Дюжикову*.) Ваша фамилия?

Дюжиков. Дюжиков моя фамилия. Дюжиков!

Дуня. Как — Дюжиков?!

Милиционер. Значит, кроме фамилии Fortunatov имеются еще фамилии Кирпичников и Дюжиков...

Муж своей жены (*с восхищением*). Вот жулик!

Дюжиков. Позвольте, я объясню...

Милиционер. В районном отделении милиции объясните. Пожалуйста, гражданин.

Дюжиков. Я не могу... Я жду телефонного звонка. Поймите...

Милиционер. Все понимаю, гражданин, не в первый раз. Прошу.

Дюжиков. Я... Дуня. Дедушка, да что же это?

Дедушка. Милиция разберет.

Милиционер. Гражданин, культурно пойдете?

Дюжиков (*с неожиданной яростью*). Ну, вот что, да, черт побери, я пойду! Мне самому, черт побе-

ри, это все надоело. Мы еще посмотрим, кто из нас Фортунатов! Пошли!

Дюжиков, Милиционер, Муж своей жены и Человек из гардероба уходят.

Дюжиков (*задержался на пороге, обернулся*). И все равно, товарищи... Все равно, что вы — она, а она — вы... Но вы замечательно поете, Дуня... И еще, то, что я говорил вам, — это тоже правда... А вы, Люба Попова, вы не пожалевте, что решили ехать на Таймыр... Вот и все! Прощайте!

Дверь захлопнулась. Минута молчания.

Кирпичникова (*негромко*). Ваня, твой чемодан на месте?

Кирпичников. Да, Лизочка.

Кирпичникова. Проверь. Мало ли что! Живешь-живешь в одном номере с таким Фортунатовым, а потом — чемодана-то и нет!

Дуня (*пылко*). Он не Фортунатов. Он...

Дедушка. Помолчи! А я тебе говорю — помолчи!

Гришко (*неловко подошел к Любе*). Здравствуйте, Люба.

Люба. Здравствуйте, Андрей Николаевич.

Гришко. З-значит, это все неправда? З-значит, вы его не любите?

Люба. Кого?

Кирпичникова. Цел чемодан?

Кирпичников. Цел.

Кирпичникова. Идем. Здесь жить нельзя! Эту ночь мы переночуем у Ладыжниковых, а там — поглядим. Идем!

Кирпичников. Нет, нет, Лизочка, нельзя! А Таймыр?

Дедушка (*мрачно*). Таймыр! Сомневаюсь я, граждане, есть ли он вообще, Таймыр этот? Может, его и не было вовсе!



Александр Галич, 1953 г. — время написания сценария
кинофильма «Верные друзья»



Ангелина Николаевна Прохорова-Шекрот — вторая жена, верный друг и помощник Александра Галича



А.Галич с Ангелиной, 1954 г.



Кинорежиссер Станислав Ростоцкий и Александр Галич на съемках кинофильма «На семи ветрах»



Александр Галич с актерской группой кинофильма «На семи ветрах»:
М. Глузский, Л. Быков, В. Тихонов, Л. Лузина



С Юрием Любимовым. Руза, 1959 г.



С академиком Петром Капицей



Новосибирск, Академгородок. Фестиваль авторской песни, март 1968 г. Во время исполнения Галичем песни «Памяти Пастернака» весь зал встал. После этого фестиваля Александру Галичу были запрещены публичные выступления



Этот снимок сделан во время встречи Александра Галича с узниками совести Вадимом Делоне и Павлом Литвиновым в 1971-м или 1972 годах после их возвращения из ссылки.

В 1968 году Вадим и Павел вместе с группой своих друзей-диссидентов вышли на Красную площадь в знак протеста против введения советских танков в Прагу. Вышли они с песней Александра Галича «Петербургский романс», где есть слова: «Смеешь выйти на площадь в тот назначенный час...»



Привычная обстановка в доме Галичей во время его выступлений перед знакомыми и друзьями. Москва, 1972 г.

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА

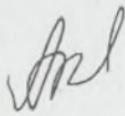
Протокол № 28 § _____ « II » _____ июля 19 2

СЛУШАЛИ:

О А.А.Гинзбурге (А.Галиче).

ПОСТАНОВИЛИ:

Решение Секретариата правления Союза писателей РСФСР от 14 января 1972 года об исключении А.А.Гинзбурга (А.Галича) из членов Союза писателей СССР отменить.

Выписка верна: 

ОК СП СССР, Архангельской А.А., СП РСФСР, МО СП РСФСР.

Запоздавшее постановление (из архива А.А. Архангельской-Галич), 11 июля 1989 г.



«Когда я вернусь...»

Дуня (*горячо*). Есть! Полуостров! Я сама час тому назад в атласе его смотрела!

Дедушка. Смотрела, смотрела. В атласе-то он есть, а вот для кого мы сегодня старались — это неизвестно!

Люба (*растерянно*). Как же так, товарищи! Ведь я дала согласие ехать на Таймыр!!

Стук в дверь. Входит Дежурная с узелком в руках.

Дежурная. Граждане, тут ежели что кому понадобится, так вы прямо к администратору обращайтесь! А то я на час отпущенная. От имени всего нашего тринадцатого этажа несу передачу Фортунатову!

Общий крик.

Кирпичников. Как — Фортунатову?

Дедушка. Уже передачу?

Дежурная. Не уже, а давно надо было! Мы его тут ругаем, а он в больнице, оказывается, пятый день лежит. Сперва без сознания был, а сейчас сестру прислал, чтоб она, значит, за номер рассчиталась!

Кирпичников. Пятый день?

Дедушка. Ай-яй-яй!

Дуня. Ага! Что я вам всем говорила?! (*Хватает Дежурную за руку.*) Бежим... в милицию... Скорей!

Дежурная (*испуганно*). Зачем в милицию?

Дуня. Скорей.

Дедушка. Стой, оглашенная!

Дуня. Нет!

Дедушка. А я говорю — стой! Пусти гражданку! Я говорю — пусти гражданку!

Кирпичников. Товарищи...

Кирпичникова. Что ты кричишь?

Кирпичников. Товарищи, прежде всего мы должны выяснить — есть Таймыр или нет Таймыра?

Дуня. Есть!

Дедушка. Сомневаюсь!
Гришко. Л-Люба, что вы н-наделали?

Пронзительный телефонный звонок.

Кирпичников (*хватает трубку*). Слушаю...
Что? (*Ужасным голосом*.) Граждане, Таймыр на проводе!

Немая сцена. Дуня, вскрикнув, хватается Дежурную за руку и убегает. Дедушка бросился было вслед за ними, но передумал, остановился и только безнадежно махнул рукой. Напряженное молчание.

Кирпичникова (*взволнованно*). Ну, что там, Ваня?

Кирпичников. Алло... Алло... Да, да... Слушаю... Девушка, вы кто?.. Междугородная? А, Таймыр? Алло... Алло... Алло!

Дедушка. Что мы отвечать им будем, вот ведь вопрос.

Кирпичников. То есть как — что отвечать? Мы по порядку...

Кирпичникова. Ваня, не отвлекайся!

Кирпичников. Я не отвлекаюсь. (*Дедушке*.) Мы им по порядку рапортуем все, что сделано. Очень просто!

Дедушка. А о том, извиняюсь, что не сделано, Иван Иванович, как быть? Где наряд на подшипники, а?

Кирпичников (*сердито*). Подшипники — это ваш участок, товарищ Бабурин.

Дедушка (*горячится*). Я и не отказываюсь! Однако, товарищ Кирпичников, вы тоже...

Крик Человека в клетчатом пальто заставляет всех вздрогнуть и обернуться.

Человек в клетчатом пальто. Так я и знал! Это вы — товарищ Кирпичников! Это вы — настоящий Иван Иванович Кирпичников? Я зову партнеров, да?

Кирпичникова *(спокойно и равнодушно)*. За-
молчите, гражданин, и не мелькайте перед глазами.
Что за история с подшипниками, товарищ, а?

Дедушка *(горестно)*. Не дают наряда, вот и вся
история!

Кирпичникова. Совсем не дают?

Дедушка. Обещают через месяц.

Кирпичникова. А нас это не устраивает?

Дедушка. Нет. У нас навигация кончается. Пря-
мо я не знаю, как мы этому Таймыру в глаза глядеть
будем...

Кирпичников. Вот, Лизочка!

Кирпичникова. Что — вот? Есть постановле-
ние о порядке первоочередной отгрузки... Так?

Дедушка. Так.

Кирпичникова. Мы первоочередники?

Кирпичников. Первоочередники. Но они го-
ворят...

Кирпичникова *(одним движением руки на-
хлобучивает шляпку, поправляет пенсне)*. А мне ре-
шительно все равно, что говорят они! Важно, что я
им скажу! *(Похлопала дедушку по плечу.)* Не беспо-
койтесь, молодые люди, у вас будут подшипники. Ку-
да надо идти?

Дедушка *(заискивающе)*. Тут рядом. Из окна
видно. Называется «Стальконструкция»!

Кирпичникова величественно идет к двери.

Человек в клетчатом пальто. Товарищ
Кирпичников, партнеров звать?

Кирпичникова *(обернувшись, подошла к Чело-
веку в клетчатом пальто, сказала спокойно и ти-
хо)*. Идемте со мной!

Человек в клетчатом пальто. Куда? Я при-
шел, чтобы исполнить редчайший номер!

Кирпичникова. Вы мне его исполните по до-
роге. Я прислушиваю все номера. Я зубной врач —

я привыкла к крикам! *(Уходит и уводит Человека в клетчатом пальто, который покорно идет за ней.)*

Кирпичников *(прочувствованно)*. Великая женщина. Нет, нет, нет, не спорьте — она великая женщина!

Дедушка. Мне главное, чтобы подшивники были.

Кирпичников. Весьма вероятно, что она... Алло... алло... Слушаю! Слушаю! Да, да, да... Совершенно верно... Гостиница «Москва»... Нет, к сожалению, не товарищ Дюжиков... Одну минуточку, всем время дорого... Слушайте внимательно! С кем имеем? Федорченко?

Дедушка *(неистовым шепотом)*. Привет ему передайте... Привет!

Кирпичников. Товарищу Федорченко пламенный привет с Большой земли! Слушайте наш доклад... Это долго рассказывать... Товарищ Дюжиков... Его повезли по делу... в милицию... А я вас очень хорошо слышу... Алло! Значит так, записывайте! Значит так, ориентировочная смета в Северо-проекте утверждена... Утверждена! Не «не утверждена», а «утверждена»... Алло! Утверждена! Вы не поняли? Не «не», а «у»... Поняли? Утка, тучка... Да, да, утверждена! Не за что! Главк портов посылает «Красного полярника». Восемь тысяч тонн. Да. Ведет капитан Шишкин... не «ти», а «ши»... Нет. Штучка, игрушка... Да. Альбом мы вырвали. Двадцать комплектов... Зачем так много? Ничего, пригодятся!.. Да, да... типовые... Нет, ти-по-вые... Теперь наоборот, не «ши», а «ти»... да... Тучка, игрушка... Да, да! Кроме того, в части кадров — к вам вылетает в ближайшие дни крупнейший специалист по морозоустойчивым культурам профессор Синицын. Нет, нет... Не «ши», а «си»... Спица, игрушка.

Дедушка *(он крайне возбужден)*. Завтра, завтра он вылетает, а не на днях...

Кирпичников. Алло... алло... Завтра он вылетает, а не на днях... Да! Об остальных кадрах еще не

знаю... Сейчас вам доложит товарищ, который ими занимался... *(Прикрывает рукой трубку, шипит в сторону Гришко.)* Слушайте, Гудермес, что вы там застыли? Идите докладывать!

Гришко *(растерянно)*. А-а?

Дедушка *(толкает Гришко в бок)*. К аппарату вас, товарищ геолог! Таймыр ждет! Ай-яй-яй!

Люба *(нервно)*. Идите... идите, Андрей Николаевич.

Гришко *(машинально берет наконец трубку)*. А? Я с-слу-шаю... Что? Что?.. *(С отчаянием.)* Не слышу... Что?.. *(Еще отчаяннее.)* Я ничего не слышу...

Кирпичников *(вырывает у него трубку)*. Алло... Да, да, я вас прекрасно слышу... Да, товарищ, который должен был докладывать насчет кадров, в тяжелом состоянии... Что? Геологов? Тут у нас полно геологов... *(Любе.)* Может быть, вы подойдете? *(В трубку.)* Сию минуту... Сейчас передаю трубку.

Люба берет трубку.

Люба. Говорит геолог Попова! Да... Не могу вам сказать... По нефти? Да... Спасибо, да, еду... Вероятно, завтра!

Гришко издает какое-то нечленораздельное восклицание.

Как? По черным рудам? Консультанта? Не знаю... Одну минуту... *(Кирпичникову.)* Вы не знаете, консультант по черным рудам едет?

Кирпичников. Это он должен знать!

Дедушка *(снова толкает Гришко в бок)*. Ну!

Гришко. А? П-простите?

Кирпичников *(яростно)*. Слушайте, Гудермес, вы консультанта по черным рудам сделали?

Гришко *(слегка оживляясь)*. Консультанта по черным рудам нет... Пока н-нет... Лю-ба, значит, вы едете?

Кирпичников *(кричит)*. Есть консультант или нет консультанта?!

Гришко (тоже кричит). Н-нет!

Кирпичников. Позор! (Любе.) Скажите им...

Люба (гневно взглянула на Гришко). Алло? Вы слушаете? Консультанта по черным рудам, к сожалению...

Гришко (внезапно осененный). Стойте!.. Скажите им, что есть к-консультант... Едет!

Люба (поперхнулась). Алло! Алло!..

Кирпичников. Говорите сразу... Сразу, пока он не передумал!

Люба. Алло! Едет консультант... Едет... Нет, «к сожалению» я сказала нечаянно... Да... сейчас передам трубку... Этого я не знаю!

Дедушка (он давно уже танцует от нетерпения у телефона; хватает трубку и с силой дует в нее). Доброго здоровья, товарищ Федорченко! Бабурин говорит... Ба-бу-рин... Ба-ба... Потом бу-бу... Да что вы путаете? Вы меня слушайте!.. Главлес? Ну, я им там задал жару... Да... Будет! Бабурин слово дает — обязательно будет... Насчет подшипников знаю... Тут разговор длинный. (Дует в трубку.) Да вы не погоняйте меня... Я говорю, не погоняйте...

В дверь влетает Человек в клетчатом пальто. Шляпа у него съехала на затылок, галстук сбит на сторону.

Человек в клетчатом пальто (одним духом). Меня Елизавета Михайловна послала сказать, что подшипники будут. Она в Стальконструкции. Сидит и не уходит. Она им сказала, что не уйдет, пока они наряд не выпишут. Будет сидеть хоть до утра. Велела принести ей бутерброды... Пламенный привет — бегу! (Убегает.)

Кирпичников. Что такое артист без темперамента — нуль! Нет, нет, нет, он очень хороший человек!

Дедушка. Алло! Так вот, значит, какое дело — есть подшипники... Да... Нет, не так это просто, дорогой товарищ... Сейчас я вам обстоятельно... Что? Слушать вас?.. Так... Сей момент запишем... Говори-

те... понятно... Пишу... «По данным метеосводок, навигация продлится до десятого числа...» Ну, неужели правда, товарищ Федорченко?.. Ладно, ладно, пишу... «Можете еще неделю задержаться в Москве...» Это кто может задержаться? Дюжиков, что ли?.. Понятно...

К и р п и ч н и к о в. Целая неделя, вы понимаете?!

Д е д у ш к а. Алло... Да, да... «Постарайтесь получить в Строительном управлении образцы прокладочных материалов...» Ну, за неделю-то это мы получим... Так... Кто подписал?.. «Начальник строительства — Воронин». Понятно... Передайте ему привет и благодарность... Да... Ну а теперь я вам насчет подшипников... Алло! Барышня... Алло! Алло!.. Как — кончен разговор?.. Как — истекло? Сей же момент Таймыр мне давайте... Что значит — не могу? А я говорю — давайте!.. А я говорю... *(Дует в трубку и гневно бросает ее на рычаг.)*

К и р п и ч н и к о в. Что?

Д е д у ш к а. Безобразница какая! Завтра я к ихнему министру связи пойду!

Люба и Гришко стоят и молча смотрят друг на друга.

К и р п и ч н и к о в. Ну, конечно! Голубчики, должен вам сказать, что я мокрый, как будто эти подшипники везли на мне от гостиницы до самого Таймыра... Что ж, теперь мы, очевидно, должны идти выручать Дюжикова...

Д е д у ш к а. Там Дуня воюет! Вы за нее, Иван Иванович, не сомневайтесь! У нее характер мой — с таким характером да не выручить!

Занавес закрывается. На просцениуме вдвоем остаются Гришко и Люба.

Л ю б а *(тихо)*. Андрей Николаевич...

Г р и ш к о. Д-да?

Л ю б а. Вы действительно твердо решили ехать?

Г р и ш к о. Твердо! Я не с-сдамся... Не х-хочу...

Я слишком много думал о вас, и я не сдамся! Я б-буду б-бороться.

Люба (*улыбаясь*). Бороться? Да за кого же бороться, Андрей Николаевич?

Гришко. За в-вас! За в-вас и за в-вашу... Да, да, довольно!.. За в-вас и за в-вашу...

Молчание. Люба неожиданно решительно подходит к Гришко, целует его и убегает.

(Дико вскрикнул.) Люб-ба! (Убегает следом за ней.)

Занавес открывается. Тот же номер. Полузакрытые шторы. Свертки и портфели на столе. Три человека, завернутые с головою в одеяло, лежат на кроватях. Мирный сон. С оглушительным грохотом распахивается дверь. На пороге стоит сияющий Дю ж и к о в. Руки у него заняты свертками, из которых подозрительно торчат горлышки бутылок. За его спиной видно веселое лицо Дун и.

Дю ж и к о в (*громким голосом*). Друзья! Вставайте! Побудка! Подъем! Сейчас мы, черт побери, выпьем с вами за ваше здоровье, за наше здоровье, за здоровье всех тех в нашей стране, для кого не существует чужого дела, чужой радости, чужой беды!.. Дунечка, давайте за этот стол!

С кроватей поднимаются три головы с всклокоченными от сна волосами. Три незнакомых человека смотрят на хлопчущего Дю жикова.

Человек с бородой. Граждане, что этому сумасшедшему здесь надо?

Дуня. Ой! (*Быстро становится лицом к стене.*)

Дю ж и к о в (*вглядываясь*). Фу ты... Не в тот номер попали? (*Озирается.*) Нет, вроде тот... Что же это такое?

Моряк. Вот именно, что это такое? Приехал в командировку, хотел отдохнуть перед деловым днем, и вдруг — на тебе...

Узбек (*широко улыбается*). Еще с женой пришел... Ну, садись, гостем будешь!

Дю ж и к о в (*бормочет*). Извините, товарищи. Здесь наши друзья жили...

Человек с бородой. Ну и что?

Дю ж и к о в (*оживляясь*). А ничего! Правда, ничего такого особенного не случилось! Понимаете, еще вчера я с ними даже не был знаком, а уже сегодня они целый день работали для Таймыра...

М о р я к. Для чего?

Дю ж и к о в. Для Таймыра. Полуострова. Для стройки, которую мы...

Человек с бородой. Ну и что?

Дю ж и к о в. Ну и сделали все, что надо.

М о р я к. Правильно. А чего ж шум поднимать?

Дю ж и к о в. Да я с ними выпить хотел на прощание. Друзья ведь.

Человек с бородой. Ну и выпей.

Дю ж и к о в. Так их нет.

М о р я к. Что ж ты хочешь от нас, чудак? Их нет, давай в таком случае пей с нами.

Человек с бородой. Граждане, это правильная идея... А?

М о р я к. А чего ж? Они были — они помогли, мы были бы — мы бы помогли, о чем речь?

У з б е к. А у меня урюк есть...

Человек с бородой. Подъем!!!

Все поднимаются на кроватях, завернутые в одеяла.

Дю ж и к о в (*радостно*). Дунечка, давайте, можно посмотреть — они завернутые.

Дуня оборачивается, хохочет. К ее смеху присоединяются остальные. Летят пробки из бутылок. Распахивается дверь, и появляется шумная и возбужденная компания: Кирпичников с женой, дедушка Бабурин, Люба Попова, Гришко и Дежурная.

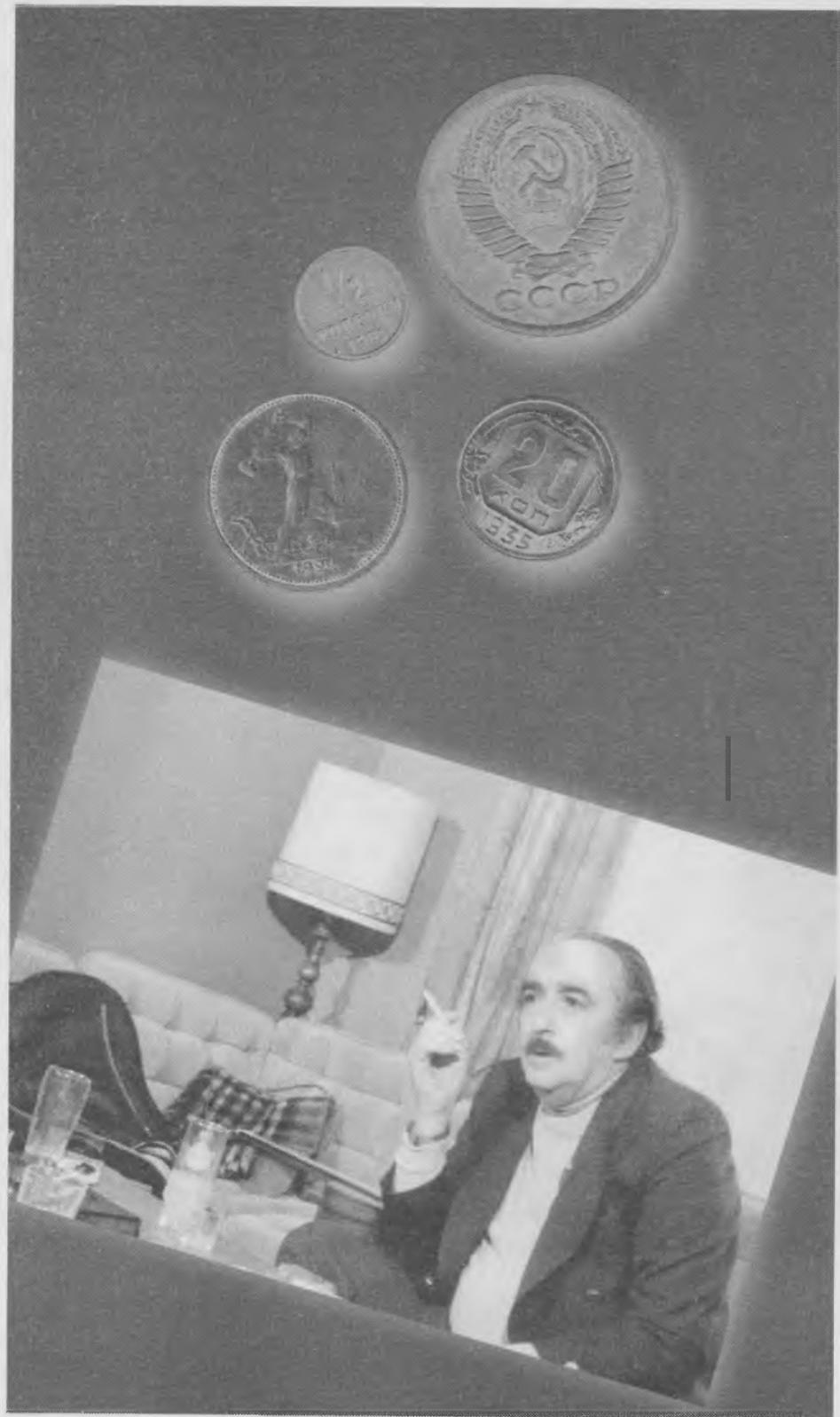
К и р п и ч н и к о в. Нет, нет, нет, это чудовищно! Мы его ждем, волнуемся, ищем по всем отделениям милиции, а он, изволите ли видеть, кутеж здесь устраивает! А? Хорошо хоть нам товарищ дежурная сказала, что вы явились уже...

Дю ж и к о в (*радостно*). Товарищи... Товарищи дорогие! Входите, знакомьтесь — это мои новые дру-



Блокиный
рынок [31]





Почти фантастический, но не научный роман

Автор считает своим долгом предупредить читателей, что в этом романе нет ни единого слова правды.

Все персонажи — и действующие, и даже только упомянутые: Семен Таратута, Леонид Брежнев, Валя-часовщик, Михаил Моисеевич Лapidус и другие — выдуманы автором и в действительности не существуют.

Равно как и города — Одесса, Москва, Тель-Авив, Париж.

Всякое сходство с подлинными лицами и населенными пунктами является чисто случайным.

Прощай, Одесса!

1

В тумане расплываются огни,
А мы себе уходим в море прямо!
Поговорим за берега твои,
Любимая моя Одесса-мама!

Песня

Одесса, как известно, самый необыкновенный

город на всем белом свете.

Я знаю это твердо и не советую никому спорить со мною по этому поводу. Хотя бы уже потому, что история, которую я собираюсь здесь рассказать, случилась именно в Одессе.

Вернее — в Одессе она началась, а кончилась черт знает где, если вообще кончилась, в чем я, полага руку на сердце, далеко не уверен.

Но началась она в Одессе, это точно. И началась она так: во вторник, второго октября одна тысяча девятьсот семьдесят... года, ровно в три часа дня, на

улице Малой Арнаутской, у входа в пивной бар «Броненосец «Потемкин» остановился Семен Таратута, огляделся по сторонам и двумя руками развернул и поднял над головой плакат — кусок обоев в цветочек, на которых с оборотной стороны красной тушью было написано: «Свободу Лapidусу!»

Пожилой официант с подбитым глазом выглянул из дверей бара, увидел Таратуту, улыбнулся и ласково предложил:

- Заходите, Семен Янович, «Жигулевское» есть.
- После, — сказал Таратура.
- Ну, после так после!

Официант покивал головой и скрылся.

...Через несколько минут Таратуту окружила толпа. И это неудивительно, потому что это Одесса. В Одессе, например, если вы встречаете на Дерибасовской приятеля и останавливаетесь с ним поболтать, то рядом с вами немедленно остановятся еще человек десять и будут слушать, о чем вы говорите, — а вдруг вы рассказываете какие-нибудь новости, которых они еще не знают. И вообще — интересно...

...В толпе, окружившей Таратуту, среди обычных уличных зевак и выпешдших на шум посетителей бара с кружками пива в руках выделялась пестрая компания длинноволосых молодых людей и девиц, «джинсовые мальчишки и девочки», как их мысленно окрестил Таратута. Впрочем, в джинсах, в настоящих джинсах, подсученных по всем правилам моды снизу, с кожаной нашлепкой на задку, в таких джинсах, за которые спекулянты дерут от семидесяти пяти до ста рублей, был только один плюгавый паренек, остальные же просто делали вид, будто они тоже в джинсах.

Сначала толпа стояла молча, читала плакат, разглядывала Таратуту. Худощавый, чуть выше среднего роста, в больших фасонистых роговых очках, с

рыжеватыми курчавыми волосами, Таратута никак не походил на эдакого голливудского киногероя. Но и уродом его тоже назвать было бы грех. Наблюдалась в нем даже скорее некая лукавость, некое, как говорили в старину провинциальные актеры, «неглиже с отвагой», что в немалой степени способствовало его успеху у женщин. Девицы из «джинсовой» компании подтвердили это немедленно — начали поводить плечиками, зазывно улыбаться и щурить глаза.

На Таратуте был клетчатый пиджак производства Германской Демократической Республики, серые чешские брюки, польские мокасины и шелковая, в крупный цветок, японская рубашка, которую жены моряков, распродающие всевозможное шмотье, привозимое их мужьями из дальних странствий, ласково называют «гавайка».

И все это заграничное великолепие было куплено, конечно же, не в каком-нибудь государственном универмаге, а исключительно и только на барахолке.

...О знаменитая одесская барахолка, великий блошинный рынок, один из немногих чудом уцелевших и при этом даже официально узаконенных сказочных островков частной инициативы и предпринимательства! Под открытым небом, на огромном пространстве, огороженном со всех четырех сторон высоким забором, кипит, пылит, кричит, хохочет и сокрушается несметное, неисчислимое человеческое множество, оно выплескивается на прилегающие улочки и переулки, перемахивает через ограду находящегося в непосредственном соседстве с блошинным рынком еврейского кладбища, и над невозмутимыми могильными плитами раздаются приглушенно-страстные голоса:

— Семь пять, и точка!

— Сто, как отдать! А если нет, то до свидания, мама, не горюй, ты меня не видел, я тебя не видел!

О барахолка!

Уже не однажды какой-нибудь вновь назначенный ретивый начальник из горкома партии или горисполкома пытался поставить вопрос о ее закрытии. И тогда происходило чудо — сначала где-то в отдалении начинали погромыживать гром и посверкивать молния, ощущались таинственные подземные толчки, колебания почвы, земля расступалась, и именно на том самом месте, где стоит Одесса, образовывалась глубокая трещина, в эту трещину бесследно и навсегда проваливался злополучный ретивый начальник, земля смыкалась вновь, а барахолка, хотя и переезжала на какое-нибудь новое место, как ни в чем не бывало продолжала жить своей неопишуемой, безобразной и ликующей жизнью.

...Помнишь, я купил тебе когда-то на этом блошином рынке пальто и замшевые туфли маме? Кажется, она их все еще носит, хотя прошло с той поры не меньше четверти века.

Я поехал тогда в Одессу впервые. В Москве и до половины пути стояла зима с метелями, снежными заносами, а Одесса встретила меня слякотью и пронзительным ветром с моря, заледеневшего только у самого берега. У меня была дурацки благонамеренная идея написать сценарий или пьесу о морях торгового флота, целыми днями я пропадал в порту, но в воскресенье я все-таки выбрался на блошинный рынок, благо находился он тогда еще в черте города.

Первое, что я услышал, когда сквозь толчею протиснулся в узкие деревянные ворота, был истошный женский крик:

— Караул, грабят!

Толстая усатая баба, закутанная поверх пальто в какое-то невероятное количество платков и шалей, тыкала пальцем в тощего мужчину, державшего на деревянной распялке мужскую рубашку, и кричала:

— Караул, грабят!

— В чем дело, мадам? — поинтересовался кто-то. — Кто вас грабит?!

— Вот он, — прокричала баба, — за эту жалкую тряпочку хочет пятнадцать рублей!.. Караул!

О барахолка, блошинный рынок, толкучка, толчея, удивительный сколок человечьего мира, где обман не позор, а напротив — дело чести, славы, доблести и геройства, где каждый стремится обжулить каждого — продавец покупателя, покупатель продавца — и где в конце концов каким-то непостижимым образом обманутыми оказываются все, даже самые хитрые и удачливые.

И может быть, если взглядеться попристальней...

Но нет, погоди, погоди!

Еще не пришла пора для авторских отступлений. История, которую я хочу рассказать, только начинается, только отправляется в путь, вот когда она полетит, помчится, поскочет стремглав, тогда время от времени будет просто необходимо остановиться, чтобы перевести дыхание, оглянуться назад, вспомнить.

А пока разумнее всего вернуться, и как можно скорее, к прерванному рассказу.

Итак, толпа, окружившая Таратуту, сперва молчала, ожидая, видимо, что будет дальше.

Но вот наконец хорошенькая и знающая, что она хорошенькая, загорелая девица из «джинсовой» компании, с черненькой челкой и зеленовато-карими глазами, отважилась задать первый вопрос:

— А он еврей?

— Кто? — сквозь зубы надменно процедил Таратута.

— Лapidус.

— Норвежец! — усмехнулся Таратута. — Конечно, еврей.

— Он сидит? — снова спросила девица с черненькой челкой.

— Конечно, сидит!

— А где?

Таратута сделал вид, что он рассердился:

— «Где, где!»! Не волнуйтесь, не в Чили! Он сидит в Одессе, где же еще?!

— Давно? — деловито и хрипло поинтересовался замызганный работяга с мотком проволоки через плечо. В свободной левой руке работяга держал банку с мутным огуречным рассолом, отпивая по временам из банки глоток и содрогаясь всем телом.

— Пять дней, — сказал Таратута.

Откуда-то из задних рядов два голоса, женский и мужской, одновременно задали один и тот же вопрос:

— А за что его посадили?

До сих пор Таратута, как уже было отмечено, отвечал на вопросы лениво и небрежно, словно нехотя. Но, услышав последний вопрос, он оживился. Он ждал, когда ему наконец зададут именно этот вопрос. Он потряс над головой плакатом, набрал воздух в легкие и неожиданно зычным голосом закричал:

— За что он сидит? Они меня спрашивают — за что сидит Лapidус?! Он сидит за то, что он гений, вот за что!..

Где-то в толпе, разбуженный криком Таратуты, отчаянным синюшным плачем зашелся младенец. Таратута недовольно поморщился и замолчал.

Толпа терпеливо ждала, но младенец не унимался.

— Послушайте, мамаша, — сказал работяга, — уймите своего семимесячного! Дайте ему цицу! Человек же рассказывает, это же просто невежливо!..

— Он будет меня учить! — огрызнулась женщина, но на нее зашикали со всех сторон, и она, расстегнув платье, вытащила большую и плоскую грудь, похожую на кусок теста, и поднесла к ней ребенка.

Толпа, подождав еще мгновение и убедившись, что младенец занялся делом, снова обернулась к Таратуте.

— Ну?

— Вон там стояла его палатка, — уже обыкновенным голосом сказал Таратута и мотнул головой в неопределенном направлении. — Там она стояла, и там ее нет. Даже палатку они снесли!..

— А чем он торговал? — спросила неутомная девица с черненькой челкой.

Этот вопрос тоже принадлежал к числу вопросов, заранее предусмотренных Таратутой. Поэтому он сперва одобрительно подмигнул девице с челкой, а потом скорбно усмехнулся:

— Чем он торговал?! Лapidус торговал киселем. Вы меня спросите — каким? Обыкновенным. Клюквенным. Развесным. В порошке. Рубль шестьдесят копеек за килограмм... Этот порошок разводят в кипятке, и выходит кисель, знаете?

— Знаем, знаем! — закивали в толпе.

— Но, — Таратута снова слегка повысил голос, — но, между прочим, таким кисельным порошком торговали по всей Одессе. И на Садовой, и на Фонтане, и на Дерibasовской, всюду! Только у Лapidуса покупали, а у других не покупали! Вы спросите — почему? Вы думаете, тут была какая-нибудь махинация?! Так вот, представьте себе, никакой махинации не было! Лapidус имел удостоверение на право торговли, с печатью на бланке, которое ему выдала наша родная советская власть... — Таратута оглянулся и на всякий случай добавил: — Пусть она еще живет сто лет по крайней мере!..

— Много! — громко и четко сказал работяга, отхлебнув из банки глоток рассола, и всем телом описал в воздухе круг.

Таратута, не выпуская из рук плаката, со всего маху пнул работягу ногой и прошипел:

— Я этих слов не слышал, понял?! С меня хватит нарушения общественного порядка! Семидесятой я не интересуюсь!..

— Какой — семидесятой? — скривился работяга.

— Уголовный кодекс надо читать! — наставительно сказал Таратута. — Семидесятая статья — антисоветская агитация.

В толпе недовольно загудели. Кто-то крикнул:

— Перестаньте с частными разговорами!

Певучий южный тенорок спросил:

— А почему все-таки у Лapidуса покупали, а у других нет? С разных, что ли, баз получали?

— Получали с одной базы! — сказал Таратута и хитро прищурился. — Но только у других — когда вы разводили этот порошок водой и получали кисель — так он был кислый, и надо было еще добавлять три-четыре большие ложки сахара, а у Лapidуса он сразу был сладкий...

Тут уже вся толпа разом спросила:

— А почему?

— А потому, что Лapidус — я вам уже сказал — был гений! Гений и человек великой души! Он сам, за свой собственный счет покупал сахар и добавлял его в этот паршивый клюквенный порошок...

В толпе раздалась удивленные возгласы.

Плюгавый паренек в настоящих джинсах высокомерно прошепелявил:

— Сказки! Что же он, этот Лapidус, Робин Гуд, что ли?!

— Не Робин Гуд, а гений! — упрямо повторил Таратута и опять быстро оглянулся. — В другом мире, где, извиняюсь за выражение, человек человеку волк, его бы назначили министром киселя... А здесь его посадили и еще обозвали в печати жуликом.

В толпе снова заинтересованно загудели:

— В печати?

— Когда? В какой печати?

— Что значит — в какой печати?! — нарочито спокойно и даже как бы задумчиво переспросил Таратута. — В Советском Союзе существует только свободная печать. Вся остальная запрещена. Заметка о Лapidусе была напечатана в газете «Черноморец» от четвертого октября... Сейчас я вам все объясню...

Но объяснить Таратута ничего не успел.

В толпе внезапно началось какое-то бурное завихрение, кружение, образовалось нечто похожее на водяную воронку, центробежная сила отбросила часть толпы в одну сторону, часть в другую, и в пустом пространстве возникла длинноногая, тощая фигура старшины Сачкова, печально и хорошо известного всей Малой Арнаутской улице и Ильичевскому району вообще.

— Ну вот! — сказал Сачков, словно продолжая некий прерванный разговор.

Он остановился перед Таратутой и укоризненно покачал головой:

— Что я говорил, гражданин Таратута?! Это самое я и говорил — нет вам доверия, нет и быть не может!..

— Вы, товарищ начальник, не так меня поняли! — туманно ответил Таратута и, опустив плакат, собрался уже было его порвать, но Сачков неожиданно быстрым и ловким движением схватил его за руку:

— Нет уж, вы, гражданин Таратута, плакат не рвите! Плакат у нас с вами будет как бы вещественное доказательство! — Он потянул Таратуту за рукав пиджака: — Прошу следовать!..

— Привет, товарищ Сачков! — вывернулся боком из своего окружения плюгавый паренек в настоящих джинсах. — Узнаёте?

Сачков хмуро посмотрел на него, пожевал губами и хрипло выдавил:

— Нет.

— Как — нет? Я же племянник начальника вашего отделения — Ершова Николая Петровича! Я бывал у вас и...

Не дав плюговому пареньку договорить, Сачков в упор спросил:

— Ну и что? Вы меня, гражданин, отрываете, понимаете, от исполнения служебных обязанностей! В чем дело?

Паренек в настоящих джинсах смутился, пробормотал что-то невнятное, втиснулся обратно в свою компанию, но, пока все это происходило, Таратута уже успел, повернувшись к девице с черненькой челкой, сказать ей негромко, быстро и повелительно:

— Номер?

Проявив незаурядную догадливость, девица ответила так же негромко и быстро:

— Пять — пятьдесят два — семьдесят три.

— Я не запомню! — сказал Таратута и, увидев, как у девицы растерянно округлились глаза, усмехнулся: — Знаю, знаю, карандаша нет, записать не на чем...

Он подставил девице злополучный плакат:

— Губной помадой. Здесь.

Девица потрясла головой — черненькая челочка растрепалась по лбу, — достала из сумочки помаду, крупно и коряво записала на плакате номер своего телефона, после чего плакат приобрел уже и вовсе загадочный вид: «Свободу Лапидусу! 5-52-73».

— Жди звонка! — пообещал Таратута и торжественно обратился к Сачкову: — Я готов, товарищ начальник!

Он сам взял старшину под руку. И они вдвоем, пройдя сквозь строй вновь расступившейся перед ними толпы, перешли на другую сторону улицы. Мальчики и девочки из «джинсовой» компании, глядя им вслед, прокричали по слогам громко и недружно:

— Сво-бо-ду Ла-пи-ду-су!

Долговязая старуха в очках, гид «Интуриста», объяснила гостям из мира, где человек человеку волк, сидевшим в голубом туристском автобусе, что это наша советская молодежь требует немедленного освобождения греческих патриотов.

Розовощекий «волк» в баварской шляпе с пером спросил:

— Снимать можно?

— Не стоит, — сказала дошлая старуха, — это у нас, знаете ли, повсеместное явление. Поберегите лучше пленку для памятника великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину!.. — И, после паузы, великодушно добавила: — Ну, и еще для герцога Ришелье...

2

Начальник двенадцатого отделения милиции Ильичевского района города Одессы майор Николай Петрович Ершов был чем-то вроде белой вороны на ослепительно черном небе Министерства внутренних дел. Люди, подобные ему — люди с прошлым, «ископаемые», — не то чтобы в МВД, и в обычных-то советских учреждениях встречаются теперь все реже и реже. Одни умерли, другие — по большей части — одиноко доживают на пенсии свой бессмысленный и крошечный век.

В погожие дни они выползают на Приморский бульвар, сидя на скамейках, греются на солнце и стараются ни о чем не думать и ничего не вспоминать. Иногда они позволяют себе сыграть партию в домино или в пашки, но чаще всего просто молча сидят и, полуприкрыв по-стариковски птичьими веками слезящиеся глаза, смотрят на свое Черное море, которое им так часто снилось в Инте и на Магадане, на Соловках и в Потье в стремительно короткие лагерные ночи.

Если кто-нибудь заводит разговор о политике, то старики обычно помалкивают. Они давно уже усвоили — те из них, которые способны были хоть что-то усвоить, — что политика их теперь не касается, политика им не по уму. Та самая политика, которую они когда-то, шальные от вседозволенности и крови, в простреленных шинелях и кожаных куртках, делали, как им казалось, сами.

...В 1938 году молодой военный инженер Николай Ершов вернулся из Испании в Советский Союз. Возвращался он путем долгим и затейливым — через Францию, Швейцарию, Бельгию, Польшу. В Москве его встречали цветами, поцелуями, рукопожатиями, наградили орденом Красной Звезды. А в скором поезде Москва—Одесса, когда слегка захмелевший Ершов рассказывал своим случайным спутникам о боях под Теруелем, в купе в сопровождении насмерть перепуганной проводницы вошли двое — без лиц, без глаз, без знаков отличия, — и один из них проговорил, как пролаял:

— Гражданин Ершов?!

Особое совещание приговорило Ершова к расстрелу — высшей мере социальной защиты — за шпионаж в пользу некоего иностранного государства. Расстрел заменили десятью годами лагерей особо строгого режима.

Просидел Ершов, как и положено, не десять, а почти семнадцать без малого лет, так что путь его от Мадрида до родной Одессы оказался куда как более замысловатым, чем это представлялось вначале. Если отбросить в сторону мелкие подробности и незначительные малонаселенные пункты, то путь этот выглядел так: Мадрид, Париж, Женева, Антверпен, Варшава, Москва, Белгород (под Белгородом Ершова сняли с поезда), снова Москва — Лефортовская тюрьма, потом Ярославская пересылка, Магадан, Тайшет, Караганда, опять Москва, где в прокуратуре

ему выдали справку о реабилитации «ввиду отсутствия состава преступления», и, наконец, Одесса.

Многочисленная родня, главным образом не Ершова, а покойной его жены Рашели, которую он любил без памяти — но она умерла в конце сороковых годов, так и не дождавшись его, — встретила бывшего героя гражданской войны в Испании без особого ликования. Реабилитированные в ту пору возвращались тысячами — а многих из них давно уже позабыли, давно уже вычеркнули из списка живых, давно уже от них отреклись, — что уж тут ликовать?! Тем более что, как выразилась, стоя в очереди за колбасой, старая одесситка, «с нашим правительством не соскучишься!». Глядишь, опять начнут сажать, опять мести под метелку, вот и припомнят тогда тех, кто устраивал для вернувшихся «оттуда» праздничное застолье.

Несколько месяцев Ершов проболтался по чужим и негостеприимным углам, потом горисполком дал ему маленькую однокомнатную квартиру в новом районе одесских Черемушек.

...Подобные районы есть почти в каждом большом городе Советского Союза — унылые одинаковые дома, с одинаковыми крышами, окнами и подъездами, одинаковыми лозунгами, которые вывешивают в праздничные дни, и одинаковыми матерными словами, нацарапанными карандашами и гвоздями на стенах. И стоят эти одинаковые дома на одинаковых улицах с одинаковыми названиями — Коммунистическая, Профсоюзная, улица Мира, проспект Космонавтов, проспект или площадь Ленина.

...Легко вообразить себе такую водевильную, но при этом вполне правдоподобную историю — беспробудно пьяный командировочный вылетает из Москвы домой, но по ошибке его сажают не в тот самолет. Самолет, естественно, прилетает в какой-то совсем другой город, но бывший командировочный,

все еще не успев протрезветь, садится в такси, произносит заплетающимся языком свой адрес. И шофер привозит его на Профсоюзную улицу к дому номер 116, и командировочный, цепляясь за перила, поднимается на свой четвертый этаж, отпирает дверь своей, как он предполагает, квартиры, вешает пальто на вешалку, швыряет в угол чемодан и заваливается спать. А на рассвете с ночной смены приходит женщина, у которой муж по случайному совпадению (чего не бывает в водевилях и в советской действительности!) тоже находится в командировке. Увидев, что муж вернулся, женщина ложится спать, а командировочный, проснувшись утром, тихонько, чтобы не будить жену, отправляется на работу, решив, что позавтракает он по дороге на улице Космонавтов, в кафе «Молодежное». И, конечно же, на обязательной улице Космонавтов имеется обязательное кафе «Молодежное», а подают в этом кафе обязательный завтрак — еле теплую черную бурду, которая называется «кофе», и очень горячие сосиски в целлофановой обертке, для того чтобы эту сосиску съесть, надо, обжигая пальцы и произнося шепотом и вслух всякие нехорошие слова, попытаться содрать с нее целлофан.

О господи!..

Впрочем, я обещал, что не буду до поры отвлекаться. Прошу прощения!

...После того как Ершову дали квартиру, его вызвали в городской комитет КПСС, дружески, как говорится, поприветствовали, назначили агитатором (не объяснив, правда, за что он должен агитировать) и ввели в совет пенсионеров.

Осатанелые и злобные старики и старухи — из тех, что как раз не могли и не хотели ничему научиться, — занимались главным образом тем, что устраивали допросы гражданкам и гражданам, ко-

торые по недомыслию решили ехать в туристическую поездку. И не в какую-нибудь, скажем, родную социалистическую Болгарию, а в так называемую капстрану.

Допрашиваемые гражданки, как правило, судорожно мяли в руке платочек, допрашиваемые граждане просили разрешения закурить. Но курить старики не разрешали. Они заранее рассматривали допрашиваемых как возможных изменников Родины и вопросы задавали самые ехидные и каверзные. Например, разрешена ли в той стране, в которую собрался ехать допрашиваемый, коммунистическая партия, и если разрешена, то какова ее численность и кто является ее Генеральным секретарем. Или — в каком году состоялся Одиннадцатый съезд партии, и кто на этом съезде делал отчетный доклад.

Ершов обычно сидел в сторонке, помалкивал, вопросов не задавал, а только про себя дивился — почему советский человек, если ему захотелось увидеть Эйфелеву башню, должен для этого непременно знать, в каком году состоялся Одиннадцатый партийный съезд?

От тоски, от раздражения, от одиночества начал Ершов попивать.

Пил он нехорошо, зло. Вечером, уже постелив постель и раздевшись, он ставил на ночной столик бутылку водки, наливал себе полный стакан, включал зачем-то радиоприемник и под громыхание джаза сам с собой разговаривал вслух. Называлось это у него «час беседы с умным человеком».

Так бы он скорее всего и спился, если бы однажды не пригласил его к себе первый секретарь горкома партии Кандыба и не сказал бы хмуро, не глядя на Ершова и постукивая по столу огромными пальцами огромной, как лопата, ладони:

— Неприятности у нас, Николай Петрович! Этот... ну, Дронов, начальник двенадцатого отделения ми-

лиции, на взятках попался. Брал, сукин сын, с кого ни попадя! У него в районе артель есть «Инвалиды умственного труда» — клеют, очкарики несчастные, папки для скоросшивателей, — так он и с них драл!

— Судить будут? — спросил Ершов.

— Судить не будем, — медленно проговорил Кандыба, — шуму много поднимется. Пошлем в район, куда-нибудь подальше, чтоб с глаз долой!.. — Он посмотрел на Ершова и вдруг почти искательно улыбнулся: — А у нас к вам просьба, Николай Петрович! Мы тут с товарищами посоветовались — и из МВД, и еще кое с кем... Поработайте в двенадцатом отделении — временно, так сказать, исполняющим обязанности, а?

Какой-то остроумец заметил, что самые вечные здания — это временные бараки. Чуть переиначив его слова, можно сказать, что нет должности более постоянной, чем должность «временно исполняющего обязанности».

Вот уже три года без малого тянул Ершов лямку начальника отделения милиции. Изредка он звонил Кандыбе, напоминал о себе и всегда выслушивал один и тот же торопливый ответ:

— Подожди, Ершов, подожди!

Обо всем этом, и особенно о прошлом Николая Петровича Ершова, знали немногие. И уже вовсе ничего, разумеется, не знал Таратута. Он видел перед собой пожилого человека — полноватого, лысоватого, с курносым носом картошкой, в нескладно сидящей форме. Колобком перекаtywаясь из угла в угол по своему кабинету, Ершов всплескивал короткими ручками, сердито фыркал:

— Это надо же!.. Демонстрацию устраивают!.. Свободу Лapidусу! Нашли себе героя — жулика!..

— Лapidус не жулик, — вяло возразил Таратута, — он благородный человек! Он сам за свой счет покупал сахар и...

Ершов быстро и весело, как китайский болванчик, закивал круглой головой:

— Вот, вот, вот! Покупал за свой счет сахар и добавлял его в этот кисельный порошок. Причем добавлял в соотношении пятьдесят на пятьдесят... А теперь подсчитайте! — Он остановился и стал считать, загибая толстые пальцы: — Полкило порошка стоит восемьдесят копеек! Так?! Полкило сахара — а сахар Лapidус покупал не по розничной цене, а все на той же оптовой базе — двадцать пять копеек! Так?! Разница — пятьдесят пять копеек. Вычтем двадцать пять, истраченные Лapidусом, и получим прибыль на каждый килограмм... Сколько? Ну-ка, прикиньте, если не забыли арифметику...

Таратута поглядел на Ершова и даже присвистнул от удивления:

— Тридцать копеек!

Ершов засмеялся:

— Точно. Тридцать копеек. С каждого килограмма.

Он снова засмеялся, потер ладонью голову, словно приглаживая волосы, которых не было и в помине.

— Благородный человек! Конечно, надо отдать ему справедливость — до такой комбинации додумается не каждый, но... — Он вдруг остановился перед Таратутой, протянул руку: — Паспорт.

Таратута, пожав плечами, вытащил из бокового кармана клетчатого пиджака паспорт в картонной обложке, подал его Ершову.

— «Фамилия — Таратута, — вслух прочел Ершов, — имя — Семен, отчество — Янович, год рождения — одна тысяча девятьсот тридцать шестой... Место рождения — Варшава...» — Он сдвинул брови: — Варшава? А почему — Варшава?

— А почему — нет?! — нахально возразил Таратута. — Или человек уже не имеет права родиться в Варшаве?!

— Имеет, имеет право! — пробормотал Ершов,

слегка зажмурив глаза и услышав внезапно негромкую музыку и нежный хрипловатый женский голос, поющий «Вшистка мни едно», и в лицо ему ударил запах кофе, настоящего кофе, который подавали в той знаменитой «кавярне» на Маршалковской... Черт, он уже и не вспомнит теперь, как она называлась!.. Он встряхнул головой и снова уткнулся в паспорт: — Национальность — прочерк. — Он поглядел на Таратуту: — А это что значит?

— А это значит, что я не знаю своей национальности! — сказал Таратута. — Были Таратуты евреи, были Таратуты поляки...

— Понятно! — сказал Ершов, уже начиная обо всем догадываться. — В каком году вы приехали в Советский Союз?

— В тридцать восьмом.

— Где жили?

— Сначала в Москве. С родителями. А потом в Свердловске. Там я уже был один. В детском доме.

— Кто-нибудь из родителей жив?

— Нет.

— Понятно! — повторил Ершов.

Теперь ему и вправду все было понятно. И опять, прищурив глаза, он даже попытался выкопать в памяти, а не встречался ли ему среди тех тысяч и тысяч, чьи горемычные жизни на какое-то время пересекались с его собственной жизнью — на пересылках, на этапах, в лагерях, — не встречался ли ему польский коммунист по фамилии Таратута?! Впрочем, поди вспомни! Сколько их было — особенно жалких из-за плохого знания языка, особенно растерянных из-за полного непонимания, что это происходит, с лихорадочно блестящими глазами доходят!

Ершов внимательно поглядел на Таратуту.

Кого-то он ему напоминал, этот тип, — в своих больших роговых очках, с рыжеватой курчавой головой, — кого-то он мучительно напоминал.

— А в Одессе вы давно?

— Девять лет.

— Где работаете?

— В Морском техникуме. Преподаю французский язык. Факультативно, два раза в неделю. И еще работаю тренером шахматной команды школьников во Дворце пионеров.

— Ишь ты! — усмехнулся Ершов. — А в милицию вас когда в последний раз приводили?

— Двадцать пятого августа, товарищ начальник, в двенадцать часов дня! — браво отрапортовал старшина Сачков.

Он стоял, как каланча, одна рука по швам, а другой он придерживал ручку двери на тот случай, если задержанный задумает совершить побег.

— За что? — спросил Ершов.

— А он, товарищ начальник, на пляже в Аркадии подписи собирал... под письмом в горсовет, чтоб разрешили купаться голыми.

— А-а-а... — насмешливо протянул Ершов. — Слыхал! Это теперь, старшина, такая мода. Сперва голые люди жили на деревьях, потом — голые — спустились на землю, потом начали шкуры на себя натягивать... А теперь все назад — походят голые по земле, а там, глядишь, и на деревья залезут... — Он резко, всем телом повернулся к Таратуте: — Ну, а вам-то все это зачем?

Таратута вздохнул:

— Скучно.

«А мне, думаете, не скучно?!» — хотел было сказать Ершов, но удержался и только коротко посоветовал:

— Купите телевизор! Где вы живете?

— В гостинице «Дружба».

Лохматые брови Ершова удивленно полезли наверх: — Как так?

— А очень просто, — сказал Таратута, покачивая

ногой. — Я жил на Александровской, в доме-башне. Когда полгода назад дом этот рухнул, то уцелевших жильцов горсовет, до предоставления им постоянной жилплощади, расселил по разным гостиницам... Мне досталась гостиница «Дружба».

— Та-а-а-к! — протянул Ершов.

Он сел наконец за свой стол, откинулся в неудобном скрипучем канцелярском кресле, помолчал, поглядел на Таратуту, вздохнул:

— И все-таки, хоть убейте, не понимаю я вас... Французский язык, шахматы, и вдруг — Лapidус! На кой он вам сдался? Кто он вам? Дядя?! Тетя?! Что за дурацкий повод для самоутверждения?! Ну, например, эти — как их называют — «инакомыслящие»... Я их, конечно, не одобряю, но у них есть хоть какие-то идеи, а у вас?

— А у меня тоже есть идеи! — с вызовом сказал Таратута.

— Нет у вас никаких идей!

— Нет, есть! В конце концов, могу я иметь свою точку зрения?

— Можете! — сказал Ершов и вдруг рассердился. — Вы можете иметь свою точку зрения, пожалуйста. А я могу вас за эту точку зрения посадить на пятнадцать суток! — Он слегка повысил голос. — И сдается мне, гражданин Таратута, что на сей раз я этой возможностью воспользуюсь!

Наступило молчание.

У старшины Сачкова от довольной усмешки растянуло рот до ушей.

Таратута, глядя в пол, негромко сказал:

— А я болен.

— Чем?

— Печень. Холецистит.

— Ладно! — подумав, сказал Ершов. — Завтра к часу дня придете в двадцать вторую поликлинику. На Пушкинской улице. Скажете в регистратуре, что

это я вас прислал. Вас там обследуют, сделают все анализы, и если вы окажетесь здоровы... — Ершов не договорил, но по его тону нетрудно было догадаться, что если Таратута окажется здоровым, то никакой радости ему это не принесет.

— Хорошо. — Таратута встал, спросил: — Я свободен?

— Пока — да, — зловеще сказал Ершов.

Таратута неловко, боком поклонился и уже в дверях, которые перед ним с неохотой открыл старшина Сачков, обернулся, поглядел на Ершова:

— А как вы думаете, сколько дадут Лapidусу?

— Не знаю, — сухо сказал Ершов.

Таратута снова поклонился:

— До свиданья.

— До свиданья, — сказал Ершов.

Когда Таратута ушел, Ершов хмыкнул, потрогал зачем-то толстым коротким пальцем нос, покачал головой:

— Ну и тип! На кого-то он похож, а вот...

— Зря вы его отпустили, товарищ начальник! — с нескрываемой обидой в голосе проговорил старшина Сачков. — Никакой у него печени нет, врет он все! По нему пятнадцать суток давным-давно плачут! Почистил бы, милый друг, сортиры — живо бы позабыл...

Из-за полуоткрытой двери тоненький голосок секретарши прощебетал:

— Николай Петрович, снимите трубочку, из горисполкома!..

Ершов, поморщившись, придвинул к себе телефонный аппарат, снял трубку:

— Да?!

Густой бас на другом конце провода внушительно проговорил:

— Николай Петрович, привет! Сведения оказались верными... ну, насчет французов! Нам сейчас

из Москвы звонили. Они у нас будут десятого числа. В твоём распоряжении, стало быть, остается неделя. Ты как думаешь — сумеешь управиться?

— Постараюсь! — хмуро сказал Ершов и, помолчав, на всякий случай спросил: — Все?

— Все, — сказал бас. — Привет!

Ершов шмякнул на рычаг трубку, как-то брезгливо, локтем, отпихнул в сторону телефон, поглядел на старшину Сачкова, вздохнул:

— Не было печали!

— Случилось что, товарищ начальник? — вежливо поинтересовался Сачков.

— Мэры французских городов к нам едут, будь они трижды неладны! — сказал Ершов и стукнул кулаком по столу. — Приезжают в Одессу десятого. Горисполком предлагает срочно, за одну неделю, почистить район от всяких не внушающих доверия граждан... — Он усмехнулся: — В старину, при царе-батюшке, это называлось проще и определеннее — от студентов, жидов и прочих интеллигентов...

Старшина Скачков, голубиная душа, задумчиво и серьезно проговорил:

— А вот как раз евреев, товарищ начальник, у нас в районе еще о-го-го!

Ершов коротко фыркнул, махнул рукой:

— Ладно, старшина, идите! Скажите там Вале, пусть напечатает объявление — завтра в девять утра совещание всех сотрудников!

— Слушаю-с, товарищ начальник!

Оставшись один, Ершов снова тяжело вздохнул, оттопырил губы, зажмурил глаза, потом резко раскрыл их, словно он надеялся увидеть не этот опустыленный ему и тоже как бы временный кабинет — с неизменным несгораемым шкафом, в котором не лежало ничего, кроме нескольких экземпляров самиздатской статьи академика Сахарова «О прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной

свободе», изъятой у не внушающих доверия граждан; с неизменным же, в углу, пыльным переходящим знаменем, полученным еще предшественником Ершова, взяточником Дроновым, за какие-то неведомые заслуги, и с двумя вовсе неизменными Ильичами — гипсовым бюстом вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина на специальной подставке и поясным портретом вождя мирового пролетариата Леонида Ильича Брежнева в золоченой раме на стене.

Ершов тяжело поднялся, походил, разминая затекшие плечи и руки, по кабинету, остановился, подмигнул вождю мирового пролетариата Леониду Ильичу Брежневу, насмешливо скривил губы:

— Привет! Ну, как дела? Как доктрина? Искал небось потихоньку это слово в энциклопедии — думал, верно, что болезнь какая-то?

И едва только Ершов произнес все это мысленно, как началась чертовщина. Вернее, не чертовщина, а известный медицине феномен под названием «раздвоение личности». Как правило, раздвоение это у Ершова происходило по ночам, после двух-трех глотков водки, и начиналось обычно с того, что Ершов — приставала и язва — принимался донимать Ершова железобетонного всевозможными и притом весьма неприятными вопросами и вопросиками. Но сегодня чертовщина эта произошла на трезвую голову, среди бела дня, в служебном кабинете.

Первым, как всегда, заговорил приставала и язва:

— Что-то больно ты развоевался, товарищ Ершов! Ты на себя погляди! Швырнул ты им в харю свой партийный билет?! Нет, золотко, не швырнул! Когда тебе в милиции предложили работать — послал ты их к едрене-фене?! Нет, душа моя, не послал!..

— Так это же работа временная! — неуклюже воз-

разил Ершов железобетонный, и Ершов, приставала и язва, даже засмеялся от удовольствия:

— В лагере ты тоже сидел временно!..

Ершов железобетонный, подумав, сказал:

— Знаешь, уж лучше я буду находиться на этом месте, чем какое-нибудь жулье вроде Дронова!..

И опять засмеялся приставала и язва, закашлялся от смеха, замахал руками:

— Знаю, знаю, слышал! Тысячу раз слышал! Именно эти самые слова произносили все начальники от мала до велика, от прокурора, который требовал для тебя «вышки», до лагерного ката, который бил тебя железной палкой по ногам... И все они потом, после, выдавали себя чуть ли не за спасителей человечества: уж лучше я, чем другой! А почему — лучше? Чем ты лучше? Вот позвонили тебе из горисполкома, и ты, будьте любезны, назначаешь на завтра совещание всех сотрудников!..

— Так надо, — веско сказал железобетонный Ершов. Приставала, мгновение помолчав, совсем тихонько спросил:

— А то, что ты сейчас обдумываешь, — это как? Это, по-твоему, не подлость?

— Нет, — неожиданно твердо сказал железобетонный Ершов. — Это не подлость! Это для него, для дурака несчастного, может быть, единственный выход... Я таких, как он, навидался: походит-походит, поскучает-поскучает, а потом раз — и на колючую проволоку! — И когда приставала хотел спросить что-то еще, Ершов железобетонный прикрикнул на него: — И замолчи! И хватит! И точка!..

И на этом феномен раздвоения личности кончился так же внезапно, как и начался. Николай Петрович Ершов, временно исполняющий обязанности начальника двенадцатого отделения милиции Ильичевского района города-героя Одессы, приоткрыл

дверь своего служебного кабинета и решительно сказал секретарше:

— Валюша, будь добра, соедини меня с полковником Захарченко из ОВИРа! Позвони по прямому!

Секретарша, очень серьезная девица с золотистыми кудряшками, набрала номер, подождала ответа, пропела:

— Николай Петрович, Захарченко!

Ершов резко и плотно закрыл дверь, подошел к столу, снял трубку:

— Здравствуйте, товарищ Захарченко! Это Ершов, из двенадцатого отделения... Товарищ Захарченко, мне, понимаете, надо бы с вами обсудить одно очень деликатное и очень-очень срочное дело! Если разрешите, я к вам приеду сейчас!..

3

Таратуте было скучно.

Он сидел уныло и одиноко на скамейке на Приморском бульваре. В одной руке он держал зажженную сигарету, в другой — яблоко и попеременно то отравлял организм никотином, то насыщал его витаминами.

Несмотря на сносную погоду, народу на бульваре было немного, да и то почти все одесситы.

Отгремело, кончилось летнее сумасшествие, когда в Одессу — к солнцу, к веселому морю, к дешевым овощам и фруктам — съезжаются несметными ордами москвичи и ленинградцы, жители Сибири, Урала и Средней Азии; когда позавтракать в кафе можно, только простояв часа три в распаленной очереди; когда мечтать о номере в гостинице смеют лишь самые удачливые, а прочие люди средних способностей селятся где попало — снимают углы, чуланы, балконы.

А коренные жители, ошалев от этого золотого дождя, ухитряются пустить в дело, приспособить для

ночлега и жилья крылечки, лодки и даже гамаки во дворе или в саду.

Это безумие, этот громоподобный прилив, пробиваясь в конце апреля, достигает своего зенита в июле и в августе. Но уже в первых числах сентября начинается стремительный отлив: уезжают родители с детьми школьного возраста, уезжают студенты и преподаватели — уезжают на машинах, улетают на самолетах, берут с боем отходящие поезда.

И Одесса пустеет, опоминается, приходит в себя, подсчитывает доходы — до следующего лета, до нового золотого дождя. Впрочем, старые одесситы утверждают, что в те кошмарные времена, когда помещики и капиталисты только и знали, что грабили народ и выколачивали из него прибавочную стоимость, именно октябрь месяц считался в Одессе лучшим временем года и назывался «бархатным сезоном».

Именно в октябре месяце с раннего утра и до позднего вечера в ротонде на Приморском бульваре духовой оркестр городской пожарной дружины под управлением маэстро Каца наяривал марши, вальсы и польки и нарядные дамы, покачивая ажурными зонтиками, прогуливались по дорожкам бульвара в сопровождении усатых кавалеров в котелках и в штиблетах; именно в октябре отчаянно рыжий авиатор Уточкин при несметном скоплении зрителей совершал над одесским ипподромом свои показательные полеты, по вечерам кавалькады карет тянулись в Аркадию, на пляжи, где дамы и господа купались при лунном свете, а потом спешили назад, в город, — в игорные дома, в гостиницы, в рестораны.

Знаменитая Иза Кремер со сцены летнего театра «Тиволи» пела негромко и лукаво:

...Я служила в магазине продавщицей,
Продавщицей тубероз и орхидей.
Вот однажды к нам заходит бледнолицый,
В золотом пенсне хорошенький еврей...

А в ресторане Фанкони любимец Одессы, куплетист Яша Зингерталь — в соломенном канотье, с тросточкой, — потешал уважаемую публику скабресными куплетами:

Поймал — держи
И не тужи!..

А еще был цирк Чинизелли. И чемпионаты французской борьбы. И гонки под парусами. И скачки. И загородные пикники.

Но Великая Октябрьская социалистическая революция поставила все, как говорится, на свои места — лето есть лето, осень — осень.

— На то она и великая! — вслух сказал Таратута, встал и бросил в мусорную урну недоеденное яблоко и недокуренную сигарету.

...Он не помнил своих родителей. Когда арестовали сначала отца, а потом, два дня спустя, мать, маленького Семена взяли друзья семьи, немецкие коммунисты, которых Таратута, разумеется, тоже не помнил и даже не знал, как их звали.

В первые же дни войны немецких коммунистов за «шпионаж в пользу гитлеровской Германии» отправляли в лагерь, а Таратуту — в Свердловск, в детский дом.

Там он и прожил всю войну, среди других — таких же, как он, молчаливых, напуганных, немилосердно коверкавших русский язык — малышкой. Но их кое-как кормили, купали, водили на прогулки, их учили — и они постепенно, делаясь спокойней и мягче, забывали свою родную речь, и Иштван становился Ваней, Кнут — Колей, Марыся — Машей.

Вообще-то им здорово повезло! Будь они постарше, они попали бы не в этот детский дом под Свердловском, а в лагерь под Карагандой, который назывался просто и хорошо: исправительно-трудовой лагерь для детей врагов народа. Потому-то заведующая

детским домом, ленинградка Валентина Яковлевна, представляя своих воспитанников какой-нибудь внезапно нагрянувшей комиссии, неизменно сокращала им по году, а то и по два и время от времени, по ночам, собственноручно переправляла даты рождения в ученических удостоверениях.

Иногда, в праздники — в день Первого мая, под Новый год, — в детский дом приходили так называемые «гости» — чаще всего одинокие женщины или странно напряженные пожилые супружеские пары. «Бригада обслуживания», которую возглавлял Таратута, встречала «гостей» внизу, в гардеробе, помогала им раздеться, провожала наверх, в физкультурный зал, где «гости» садились на длинные и низкие деревянные скамейки, а «бригада обслуживания» угощала их жидким, чуть теплым чаем с сахарином.

Потом начиналась «художественная часть».

Выходил горбатенький воспитатель Никольский и, поклонившись «гостям», исполнял на аккордеоне марш из кинофильма «Цирк». Следом за Никольским выступал хор — пел «Катюшу» и «Полюшко-поле».

Затем девочки танцевали «танец стрекоз», мальчики — гопака, и под конец все вместе — удалую и осточертевшую «Калинку-малинку».

Но по тому, как важно и негромко аплодировали «гости», по тому, как все так же напряженно сидели они и неловко держали в руках, в задубевших от работы и холода пальцах, граненые стаканы с жидким чаем, было ясно, что не ради марша из кинофильма «Цирк» пришли они сюда, не ради «Катюш» или «танца стрекоз», что они ждут, чтобы началось что-то главное, — и тогда на середину зала выходила с красными пятнами на щеках Валентина Яковлевна и говорила громко, взволнованно, как-то странно ставя ударения на каждом слове:

— Дорогие товарищи! Мы очень благодарны, что вы к нам пришли. Если у кого-нибудь из вас есть ко

мне вопросы, то не будем мешать детям, пойдемте в учительскую и там поговорим!

И случилось так, что на следующее утро кое-кто из вчерашних «гостей» приходил снова. Но только теперь они не поднимались наверх, в физкультурный зал, а оставались внизу, в гардеробе, и к ним туда, вниз, Валентина Яковлевна торопливо приводила насупленного Колю или заплаканную Машу в кургузом пальтишке, с жалким узелком в руках, — и происходил нарочито короткий обмен словами благодарности и прощания, и «гости», вместе с Колей или Машей, уходили, уходили навсегда, — еще не было случая, чтобы кто-нибудь из детей вернулся назад.

Однажды вечером Валентина Яковлевна вызвала к себе Таратуту. Накануне в детском доме были «гости», а на следующий день — второго мая тысяча девятьсот сорок пятого года — с самого утра гремели по радио победные марши и торжественные залпы салютов.

И, переждав, пока отгромыхает очередной салют, Валентина Яковлевна сказала:

— Вот что, Семен, тебя приглашают жить с ними Викторovy. Ты, может быть, обратил на них вчера внимание? Мать и дочь. Они такие... — Валентина Яковлевна замялась, подыскивая слово. — Ну, тонкие, что ли... Они москвички и собираются на днях возвращаться домой. Они тут были в эвакуации... У них в Москве очень хорошая квартира, на Чистых прудах... Правда, они не знают, что с нею, с этой квартирой, уцелела ли она, но они надеются... Мать зовут Аглая Николаевна, она преподает французский язык. А дочку зовут Адель. Ей пять лет. Это ей ты очень понравился, и она сказала, что хочет, чтобы ты был ее старшим братом! Что ты, Семен, по этому поводу думаешь?

— Можно, — сказал Таратута, неподвижно глядя

куда-то в одну точку перед собой. И, подумав, добавил: — Только я Викторовым не буду. Я — Таратута.

В жаркий июньский день Аглая Николаевна, Адель и Семен приехали в Москву. В Москве, на Чистых прудах, их ждала радость, похожая на чудо. Квартира Викторовых — на втором этаже стоявшего во дворе флигеля — не только уцелела, но как закрыла ее Аглая Николаевна, уезжая с Аделью в эвакуацию, так она и простояла всю войну — нетронутая, невзломанная, живая и невредимая.

— Чудо, чудо, чудо! — пела Аглая Николаевна, бесшумно и стремительно перебегая из комнаты в комнату — а комнат было целых три, — открывая окна, сдирая со стекол наклеенные крест-накрест — на случай воздушного нападения — полоски бумаги, поднимая со звоном тяжелые крышки обитых медью старинных сундуков, распахивая дверцы шкафов.

— Чудо, чудо, чудо! — тоненько вторила матери Адель, заводя ключом большие, стоявшие на полу часы и весело поглядывая на Таратуту.

— Чудо, чудо, чудо! — поддавшись настроению этого общего торжества, пел и Семен — и, как зачарованный, смотрел на шахматный столик, украшенный перламутровой инкрустацией, с расставленными на нем фигурками из пожелтевшей кости.

Шахматы Таратута видел и раньше. Горбатенький воспитатель Никольский, за неимением партнеров, играл иногда по вечерам сам с собой, разбирая этюды и задачи, и, обратив внимание на интерес Таратуты, показал ему, как ходят фигуры. Но доска, на которой играл Никольский, была обыкновенной замызганной картонкой, расчерченной от руки на шестьдесят четыре клетки, и фигуры — деревяшки с облупленной краской, и пуговица от кальсон заменяла белую пешку, а пустой спичечный коробок — черную ладью.

А тут король и королева были действительно ко-

ролем и королевой; и кони, вставшие на дыбы, рвались в атаку, в бой; и тяжелые ладьи, с распущенными парусами, готовы были нанести противнику беспощадный и сокрушительный удар; и пешки-пехотинцы скромно до поры стояли, выстроившись в ряд, в ожидании, пока их пошлют в разведку или бросят в самую гущу сражения.

— Ты играешь в шахматы? — спросила Аглая Николаевна.

— Нет, — честно признался Таратута. — Как ходить — знаю.

— Учись! — негромко сказала, почти попросила Аглая Николаевна. — Андрей Александрович — мой покойный муж — очень увлекался шахматами. А я любила смотреть, как он играет. Я ложилась на диван — с книжкой — и тихонько смотрела, как он думает, переставляет фигуры, радуется и огорчается... Постарайся научиться играть. И постарайся научиться играть хорошо!

Уже через год Таратута на всемосковском турнире школьников получил второй разряд. Учился он в школе № 41 Бауманского отдела народного образования, у Покровских ворот, в Колпачном переулке. Потом в эту школу поступила и Адель. Дома мать и дочь говорили друг с другом, легко переходя с русского на французский, или, как смеялась Аглая Николаевна: «Говорим туда и обратно».

Со временем с помощью Адели научился и Таратута говорить «туда и обратно».

И в зимние вечера, если Аглая Николаевна не была слишком усталой, они устраивали коллективные чтения по-французски.

Чаще всего по очереди читали «Дневники» Ренана и хохотали до слез, когда Таратута патетически восклицал: «Граждане! Если мои сведения точны, то отечество в опасности!..»

Адель, подрастая, хорошела до невозможности,

вытягивалась, становилась беспокойнее, нервнее. К увлечениям ее, всегда бурным и коротким, относились в доме почему-то без всякого интереса, а над романами Таратуты, тоже бурными и короткими, посмеивались. Впрочем, один из этих романов, с паспортисткой из районного отделения милиции, оставил в жизни и в паспорте Таратуты загадочный след — прочерк в графе «национальность». И за все годы, что прожили они вместе, ни мать, ни дочь ни единым словом, намеком, взглядом не дали Таратуте почувствовать, что он в этом доме все-таки посторонний.

Впрочем, сам он об этом не забывал никогда. По окончании школы он устроился работать в типографии, а в свободное время пропадал на Гоголевском бульваре, в шахматном клубе, где, сыграв в нескольких турнирах, довольно легко получил звание кандидата в мастера.

Потом был Двадцатый съезд КПСС, речь Хрущева, вынос «корифея всех наук» из Мавзолея, и Таратута уже не назывался больше «сыном врагов народа», а стал «сыном незаконно репрессированных по ложному доносу польских товарищей Сильвии и Яна Таратуты».

Не бросая работу в типографии, Таратута поступил в институт иностранных языков, на вечернее отделение.

В душный июльский вечер, через день после того, как Таратута сдал последний государственный экзамен, а Адель перешла на третий курс полиграфического института, Аглая Николаевна умерла. Умерла она так же бесшумно и стремительно, как жила: прикорнула с книжкой в уголке дивана, уснула и не проснулась.

Похоронили ее на Ваганьковском кладбище, в могиле мужа.

Адель и Таратута не устраивали поминок, они да-

же и не знали, как это делается. После похорон они просто вдвоем вернулись домой и долго, до самых сумерек, сидели друг против друга у открытого окна, молчали и курили. Может быть, им это казалось, но какая-то удивительная тишина стояла в тот вечер — и в доме, и во дворе, и даже на улице. Когда старинные часы, которые так тщательно каждый понедельник заводила Адель, пробили одиннадцать, Адель вздохнула и сказала:

— А я выхожу замуж.

— За кого? — тупо спросил Таратута, чувствуя, как у него что-то обрывается внутри и появляется противная тошнота в коленках.

— За одного человека! — сказала Адель, и глаза ее в темноте сверкнули неожиданно по-кошачьи. — Он иностранец. Нам обещали дать разрешение, мы поженимся, и я с ним уеду. А ты оставайся. Ты же здесь прописан.

— Я тоже уеду! — сухо сказал Таратута. — У нас еще не было комиссии по распределению, но мне уже сказали, что на меня есть заявка из Одессы.

— Ну, тогда квартиру придется сдать, — сказала Адель и, наклонившись, положила руку на руку Таратуте. — Тебе, наверное, хотелось бы что-нибудь иметь на память о маме? Возьми «Декабриста Лунина», хочешь?..

В давние двадцатые-тридцатые годы профессор истории Андрей Александрович Викторов начал собирать коллекцию миниатюр. Коллекция была небольшая, но собиралась с большим пониманием и любовью, подделок или дешевки Андрей Александрович не брал, и когда Аглая Николаевна уезжала с Аделью в эвакуацию, единственное, что взяли они из дому, — это коллекцию миниатюр. И ее же первым делом вновь развесили они на стене в первый день, в первый час по возвращении в Москву. Когда покупка нового зимнего пальто, или болезнь, или поездка в

Крым наносили непоправимый урон семейному бюджету, в доме Викторových неизменно появлялся худой длинноносый старик, с одышкой, с шаркающей походкой, с очень внимательными беспощадными глазами.

Адель и Семен ненавидели его до глубины души.

— Ну-с! — говорил длинноносый, вытаскивая из бокового кармана большую лупу в черепаховой оправе, и принимался тщательно изучать миниатюры, хотя и до этого видел их уже не один раз.

Аглая Николаевна — наверное, специально для Адели и Семена — делала вид, что расстается с экземплярами коллекции без жалости, легко, и только в том случае, если длинноносый тыкал желтым пальцем с обкусанным ногтем в миниатюру, на которой был изображен молодой человек с высоким крутым лбом под спутанными волосами, с открытым лицом, в белой рубашке с отложным воротником а-ля Байрон, Аглая Николаевна говорила коротко и решительно:

— Нет! «Декабрист Лунин» не продается!

Никаких доказательств, что молодой человек на миниатюре был действительно декабристом Луниным, Аглая Николаевна не приводила, очень сердилась, когда кто-нибудь пытался с нею по этому поводу спорить, и требовала в таких случаях доказательства от обратного:

— А докажите, что это не декабрист Лунин!..

Несколько раз, уже из Одессы, Таратута писал Адели по адресу, который она оставила ему на прощание. Но письма возвращались обратно, с пометкой «Адресат выбыл»...

Обогнув памятник герцогу Ришелье, вокруг которого, как всегда, толпились иностранные туристы — и худенький, изящный герцог стоял, как Зевс-громо-

вержец, озаряемый вспышками блицев, — Таратута пошел по Пушкинской улице вниз, к вокзалу.

Ему смертельно не хотелось возвращаться в опостылевшую гостиницу, в безликий, пахнувший хлоркой, опостылевший гостиничный номер, и он, перебрав в уме всех своих немногочисленных одесских знакомых, решил навестить Алешу Тучкова.

Во-первых, Алеша был хром, передвигался при помощи двух костылей и почти наверняка сидел дома, а во-вторых, с Алешей можно было ни о чем не говорить, а просто сгонять несколько партий в шахматы.

Проходя мимо подъезда двадцать второй поликлиники, в которую ему завтра к часу дня предстояло явиться, Таратута усмехнулся. Ему неожиданно вспомнились слова этого толстенького, неуклюжего майора: «А зачем вам все это нужно?..»

Таратута и сам не знал, зачем ему все это было нужно.

Жизнь его в Одессе складывалась поначалу обыкновенно и благополучно, такая нормальная жизнь советского учителя — с уроками, профсоюзными собраниями, вечерами отдыха, с кружками по изучению марксизма-ленинизма и техники подводного плавания, с мелкими несерьезными склоками по мелким и несерьезным поводам.

И даже романы — с преподавательницей физкультуры и с актриской из театра оперетты — были тоже мелкими и несерьезными и не принесли Таратуте ни огорчений, ни радости. Неприятности у Таратуты начались после шестидневной израильской войны тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года.

Война эта как бы разделила друзей и знакомых Таратуты на два лагеря: на тех, кто скрепя сердце придерживался лжи официальной пропаганды — и для Таратуты эти друзья и знакомые перестали существовать навсегда, — и на тех, в ком эта война вы-

звала прилив «израильского патриотизма», ликования, обильных пиршеств, за которыми последовали личные и коллективные заявления в ОВИР (Отдел виз и регистрации) с требованием разрешения выехать на свою «историческую родину».

Поддавшись общему настроению — и особенно уговорам Беллы и Лёни Капланов, художников Одесской киностудии, — подал заявление на выезд и Таратута.

Месяца через три ему в разрешении выехать было отказано, и, несмотря на страстные уговоры Капланов «продолжать борьбу», Таратута махнул рукой и постарался обо всем этом позабыть.

Но не забыли, конечно, об этом где-то там, где-то в тех таинственных кабинетах, на дверях которых висят таблички с надписью «Посторонним вход воспрещен», где в суровых шкафах и сейфах хранятся личные дела всех, от мала до велика, граждан страны победившего социализма. И в папках этих, помимо сведений общего, анкетного порядка, имеются еще особые галочки, закорючки, значки, означающие нечто такое, что вспомнится, что должно непременно вспомниться тогда, когда наступит надлежащая минута.

Таратута как-то не очень обратил внимание на то, что из руководителя курса он стал разовым преподавателем, что вместо двенадцати часов занятий в неделю ему оставили всего четыре, с соответствующим понижением жалованья, а во Дворце пионеров вел он теперь не группу разрядников, а возился с малышками-начинающими.

Несколько его знакомых, в том числе и Капланы, после всевозможных мытарств все-таки добились разрешения уехать в Израиль — и потянулись, как деревенские свадьбы, вечера-проводы, на которых пили, плакали, произносили невнятные тосты, клялись не забывать друг друга, и под конец кто-нибудь,

из числа провожающих, непременно произносил на плохом иврите фразу, которая звучала загадочно, обещающе и прекрасно:

— В будущем году в Иерусалиме!

Из Иерусалима Капланы прислали Таратуте открытку с изображением Стены плача.

В открытке Леня сообщал, что у них, слава Богу, все хорошо, но он надеется, что будет лучше.

Таратута пересек привокзальную площадь и пошел прямо по мостовой, мимо палаток колхозного рынка, который упрямые одесситы называли по старинке Привозом.

Уже начинались сумерки, палатки были закрыты, торговые ряды пусты, и только у запертых деревянных ворот стоял корявый дед-мухомор и держал на вытянутом черном пальце соломенную корзинку, в которой на самом дне лежало несколько копченых рыбешек.

— Эй, дед, почем акулы? — привычно спросил Таратута и, не дожидаясь ответа, зашагал дальше.

Жил Алеша Тучков за линией железной дороги, в старом слободском районе, где кривые и запутанные переулки сходились и пересекали друг друга под самыми немислимыми углами, где одноэтажные дома были обнесены прочными глухими заборами, а за ними, за этими заборами, гремели цепями и отчаянным лаем заходились по ночам сторожевые псы.

Таратута отчетливо помнил, что, пройдя палатку «Пиво — воды», следовало обогнуть огромную лужу, не просыхавшую даже в самую жаркую пору, а уже после лужи повернуть направо не то в первый, не то во второй переулок. На всякий случай Таратута свернул в первый и внезапно услышал за собой шаги.

Он оглянулся — два молодых человека, возникшие как бы из ниоткуда, из пыли, из сумерек, следовали на некотором отдалении за ним.

Они были чем-то странно друг на друга похожи,

эти молодые люди, похожи, как два эстрадных танцора, как два безымянных гангстера из многосерийного гангстерского фильма, в черных и словно нарочито узких костюмах, в черных галстуках-бабочках и черных, надвинутых на самые брови шляпах. Они шли молча, не торопясь, и, когда Таратута слегка ускорил шаги, они тоже пошли чуть быстрее, но по-прежнему молча, бесстрастно, неумолимо.

Таратута, уже не разбирая дороги, снова свернул в какой-то проулок. Где-то на железнодорожных путях протяжно и тоскливо проревел маневровый паровоз, а когда он умолк, Таратута снова услышал за собою шаги и, чувствуя постыдный липкий страх, рванулся бежать, но тут впереди от стоявшей у обочины черной «Волги» отделился какой-то человек и сказал напевно и негромко:

— А я вам говорю, что никому теперь нельзя верить! Можете себе представить: купил у Ваню Шенгеля швейцарские часы «Мозер»! Это фирма, я вас спрашиваю?!

Таратута, опешив, остановился. Человек, стоявший перед ним, был великаном с детским лицом, с детскими бровями кустиком над прозрачно-синими глазами, с великаньей детской ямочкой на великанье-детской щеке. Но больше всего поразило Таратуту, что одет был этот великан точно так же, как и те двое, что преследовали его, — в черный костюм, с черным галстуком-бабочкой на белой накрахмаленной рубашке.

— Так вот, эти самые знаменитые часы «Мозер» останавливаются по три раза в день! — Великан дружелюбно улыбнулся Таратуте. — Или вы мне скажете — который сейчас точно час?

Таратута вытащил руку из кармана, и в это мгновение сзади его чем-то быстро и сильно ударили по голове, и сначала ему показалось, что он слышит

собственный крик, но это ему, разумеется, только показалось, потому что он упал, словно провалился в небытие, и ничего уже больше не чувствовал, не видел, не слышал.

4

Он очнулся, или, вернее, его разбудили громкие голоса, смех, громыханье посуды, бренчанье гитары — где-то рядом, за стеной, по соседству, происходило пиршество, а сам Таратута лежал на узкой и неудобной кушетке в очень маленькой полутемной комнате, вся обстановка которой, собственно, и состояла из этой кушетки, нескольких стульев и письменного стола, заваленного бумагами.

Настольная лампа под зеленым абажуром была накрыта сверху вафельным полотенцем, и такое же вафельное полотенце — но только влажное — лежало на голове Таратуты, на том самом месте, что повыше виска, где пришелся удар.

Рубашка-«гавайка» была расстегнута на груди, польские мокасины стояли внизу под кушеткой, а демократически-клетчатый пиджак аккуратно висел на спинке стула.

Таратута чуть приподнялся на локте, удивляясь тому, что не чувствует боли — только какую-то странную успокоительную усталость.

За стеной повелительный женский голос, перебивая общий шум, крикнул:

— Умер-шмумер, кому это интересно?! Ша об абортах — Ваню будет петь!

Гитара зазвенела громче, а потом необыкновенно чистый и глубокий баритон, выговаривая старые русские слова с неожиданными грузинскими придыханиями и цоканьем, запел:

В том саду, где мы с вами встретились,
Ваш любимый куст хризантем расцвел.

И в душе моей расцвела тогда
Жажда нежная чистой любви...

На редкость слаженный, с тончайшими подго-
сками хор подхватил:

Отцвели уж давно
Хризантемы в саду...

Потом, после короткой паузы, баритон одиноко
закончил:

Но любовь все живет
В моем сердце больном!

Повелительный женский голос всхлипнул:

— Ах, Ваню!..

Раздались аплодисменты и одобрителные воз-
гласы.

Тихонько скрипнула дверь, и Таратута, дернув-
шись и на этот раз почувствовав боль, увидел, что в
освещенном проеме двери стоит тот самый великан.

— Очнулись, Семен Янович? Вот и хорошо! Как
чувствуете?

— Где я? — задал Таратута вполне естественный
в его положении и вместе с тем звучащий почему-то
пошло вопрос.

— Вы в ресторане Фанкони, Семен Янович, — от-
ветил великан-младенец и опустился на стул, стояв-
ший возле кушетки. — Теперь он называется ресто-
ран «Волна». Вы лично лежите в кабинете админист-
ратора, он его нам любезно уступил, когда мы с вами
сюда приехали... Я надеюсь, Семен Янович, я хочу
надеяться от всей глубины сердца, что вы забудете
это кошмарное недоразумение! Вы понимаете, есть в
Одессе один человек... Нет, вообще-то их много, но в
данном случае речь идет об одном, который имеет
скверную привычку, чтобы не отдавать долги... Ну, и
наш друг из Ташкента обратился к нам, чтобы сде-
лать этому человеку небольшое внушение... Вы, я ду-

маю, понимаете, Семен Янович, что я сам подобными делами не занимаюсь, на это у нас есть мальчишки — Валерик, Толик, другие... Но сегодня особенный день, мы все торопились сюда, к Фанкони, на юбилей месье Раевского, так мальчишки попросили, чтобы я их подвез...

— А кто вы такой? — строго спросил Таратута. — И почему вы знаете мое имя?

— Видите ли, Семен Янович, ошибки в жизни случаются с каждым! — сказал великан-младенец и деликатно кашлянул в кулак. — Нам было совершенно точно указано время и место, но когда вы подошли, так я сразу почувствовал, что здесь что-то не так... Но было поздно! Потом, уже в машине, мы, извините, посмотрели ваши документы, и я так расстроился, что едва не поехал на красный свет... Человек играет в шахматы — вы ведь не представляете, Семен Янович, какое я имею уважение к этой игре... У меня в мастерской висит портрет Фимы Геллера с его собственноручной подписью... Так вот — человек играет в шахматы, а его бьют по голове! Это же кому-нибудь рассказать, так не поверят!

— Чем, кстати, меня ударили? — все так же строго спросил Таратута и потрогал пальцем ушибленное место.

Великан весело улыбнулся — на щеке появилась детская ямочка — и пожал плечами:

— Об чем будем говорить?! Мешочек с песком, Семен Янович, всего ничего. Мальчишкам же было поручено просто сделать, чтобы человек знал, что о нем помнят.

Великан встал, поправил галстук-бабочку, проговорил сдержанно и скромно:

— А теперь, Семен Янович, разрешите представиться — по паспорту я Валерий Исаевич Шиндель, очень приятно. Но вы же, хоть вы и не коренной одессит, вы же знаете Одессу. В Одессе не могут без

кликер. Так вот, друзья и знакомые — и даже незнакомые, — они меня называют Валя-часовщик.

— Валя-часовщик?!

Таратута от удивления даже сел.

Валя-часовщик!

Валя-часовщик в Одессе был личностью почти легендарной, кем-то вроде современного Мишки Япончика. Многие вообще сомневались, существует ли он на самом деле, этот некоронованный король блошиного рынка, подпольный миллионер, глава всех комбинаторов и махеров, человек, за которым уже добрый десяток лет безуспешно гонялись работники Отдела борьбы с хищением социалистической собственности (ОБХСС), человек, о котором рассказывали десятки самых невероятных историй, рассказывали со злобою и со смехом, с огорчением и тайной радостью.

Увидев, какое впечатление произвело на Таратуту его имя, Валя-часовщик улыбнулся:

— Слышали обо мне?

— Да, я о вас слышал! — медленно проговорил Таратута.

— Одесса! — вздохнул Валя-часовщик. — Человек сидит в своей мастерской, в подворотне на улице Карла Маркса, бывшей Екатерининской, чинит часы, выполняет и даже перевыполняет план — так к нему каждый день ходят всякие типы, в форме и не в форме, и морочат голову, что вчера я будто бы был в Тбилиси, а позавчера во Львове, а третьего дня в Риге, и где мои бриллианты, и где трикотаж, нейлон, и так далее и тому подобное... Ну, они как приходят, так и уходят, но вы же понимаете, Семен Янович, что мне обидно...

Грузинский баритон из-за неплотно прикрытой двери громко позвал:

— Валя, где вы пропали? Мы вас ждем!

— Сейчас мы идем! — ответил Валя-часовщик,

бережно снял со спинки стула клетчатый пиджак, церемонно протянул его Таратуте. — Я вас прошу, Семен Янович... Сегодня, я это уже говорил, очень знаменательный день. Восемьдесят лет месье Раевскому, можете себе представить?! Сейчас вы его увидите, так вы ахнете! Это не человек, а живой музей! Он всех нас учил, когда мы еще были слепыми!

В небольшом банкетном зале за парадно накрытым столом сидело человек двадцать гостей — пришедших, приехавших, прилетевших в Одессу специально, чтобы отпраздновать юбилей своего старейшины, своего, как выражаются дипломаты, дуайена, Антона Ильича Раевского, старого комбинатора, всего лишь несколько лет тому назад удалившегося на покой. Здесь, за этим парадным столом, подтверждая, так сказать, воочию мудрость национальной политики, сидели жулики из многих республик — из Азербайджана, Грузии, Узбекистана, Латвии и, разумеется, одесситы — русские и евреи.

И все мужчины, все как один, были в строгих черных костюмах, черными бантиками, и перед каждым стояла на столе персональная бутылка армянского марочного коньяка, а перед женщинами — они были в явном меньшинстве — бутылка кахетинского или муската и букет цветов. Валя-часовщик усадил Таратуту на почетное место — по правую руку от юбиляра, месье Раевского, сухонького старичка в пенсне, с каким-то нежным цыплячьим пухом на голове и с маленькими, очень выхоленными и очень подвижными руками. Месье Раевский, единственный из всех присутствующих, пил не коньяк, а минеральную воду.

Два молодых человека на другом конце стола, увидев Таратуту, поспешно потупили глаза и сделали вид, что они поглощены едой.

— Узнали, Семен Янович? — улыбнулся Валя-часовщик. — Валерик и Толик. Вы не держите на них

зла, Семен Янович! Произошло кошмарное недоразумение! А вообще-то они очень хорошие мальчики из очень хорошей семьи — у них папа заведующий еврейским кладбищем.

— Ясно! — сказал Таратута. — Папа заведует кладбищем, а сыновья поставляют ему клиентов.

Валя-часовщик хохотнул, потрепал Таратуту по плечу и с неожиданной для своих великаньих размеров легкостью поднялся, подошел к пожилому грузину, который сидел, чуть отодвинувшись от стола, и держал на коленях гитару. Валя-часовщик, наклонившись, что-то зашептал ему на ухо, и пожилой грузин улыбнулся, медленно повернул голову, весело и внимательно поглядел на Таратуту.

— Хорошо! — громко сказал он и бережно отложил в сторону гитару.

Валя-часовщик вернулся на свое место, сел, спросил:

— Семен Янович, вы какой коньяк уважаете больше — армянский или французский?

— У меня что-то с печенкой...

— Друзья мои! — Пожилой грузин встал, плеснул себе в бокал, на самое доньшко, несколько капель коньяку, поднял бокал и проговорил уверенно и небрежно: — Друзья мои! Будем считать, что небольшой художественный перерыв закончен, и я позволю себе вернуться к исполнению своих прямых обязанностей... Мы уже пили за здоровье нашего юбиляра, нашего дорогого Антона Ильича Раевского, и мы еще будем за него пить, но сейчас я хочу поднять тост за прекрасного человека, которого знают пока не все, но те, которые знают, уже горячо любят! — Он снова весело посмотрел на Таратуту, которому Валя-часовщик поспешно пододвинул бокал с коньяком. — И для того, чтобы, друзья мои, этот тост был вам более понятен, я расскажу одну короткую притчу... Вот летит птица... Она летит, смотрит по сторонам и ви-

дит — стоит Казбек... Могучая гора со снеговыми вершинами, с глубокими ущельями... Стоит Казбек, и где-то внизу проплывают облака, а на вершинах — снег, тишина, вечный покой... А птица летит и летит... Она долго летит и видит — Эльбрус! Тоже могучая гора, и тоже облака проплывают где-то внизу, а наверху — снег, лед, тишина... А птица летит и летит... И вот она пролетает мимо Тбилиси, мимо «Белого духана», и заглядывает в окно, и видит, что сидят вместе, за одним столиком, два человека, назовем их Коля Дондуа и Бенья Шапиро, а они сидят, и едят шашлык, и пьют кахетинское... И что же думает птица?! А вот что она думает — гора с горой не сходится, а человек с человеком сходится! Так думает птица, и она правильно думает! Давайте же выпьем за нашего нового знакомого, который когда-нибудь, я в этом уверен, станет нашим старым знакомым, — за Семена Яновича Таратуту!

И все, кроме месье Раевского — он только похлопал в ладоши, — поднялись со своих мест и выпили за здоровье Таратуты, и даже мальчишки — Валерик и Толик — покивали ему с другого конца стола и сделали руками жест, означавший, что — как уже заметил Валя-часовщик — ошибки в жизни случаются с каждым и что они просят не держать на них зла. А коньяк был и вправду замечательный, редчайшего букета армянский коньяк, и Таратута, выпив, почувствовал, как теплеет у него в груди и как странное чувство успокоительной усталости сменяется успокоительной беззаботностью и легкостью.

А Валя-часовщик налил ему еще, и Таратута, неожиданно для самого себя, спросил:

— Скажите мне, Валя... Это ничего, что я вас так называю?

— А как же вам еще меня называть?! — удивился Валя-часовщик.

— Хорошо. Скажите мне, Валя, объясните мне —

а почему, собственно, вы так со мною возитесь? Вы же могли просто уехать...

— Семен Янович, что вы говорите?! — с искренней обидой в голосе перебил его Валя-часовщик и даже всплеснул руками. — Мы же не какие-нибудь бандиты, чтобы оставить человека лежать на улице в бесчувственном состоянии. Тем более что, по сводке погоды, к вечеру ожидается дождь! Нет, мы взяли вас в машину, чтобы отвезти домой. Но когда мы посмотрели ваши документы и увидели, что, во-первых, вы шахматист, а я вам уже сказал, какое уважение я имею к этой игре... и что, во-вторых, вы живете в гостинице, так мы решили привезти вас лучше сюда. Ну, а уже здесь Ваню — тот, который сейчас говорил тост, — он узнал вас... Он видел, как вас сегодня забирали в милицию за то, что вы требовали освободить Михаила Моисеевича Лапидуса...

— И вы решили, что я из ваших?

Валя-часовщик искоса, слегка прищурясь, посмотрел на Таратуту, медленно покачал головой, и лицо его на какую-то долю секунды изменилось до неузнаваемости — оно вдруг стало умным и немножко печальным.

— Нет, Семен Янович, — негромко сказал Валя-часовщик, — вы не из наших! И не дай вам Бог стать когда-нибудь нашим! И поверьте, что я это говорю вполне серьезно.

— А почему?

— А потому, Семен Янович, что ни один человек из тех, что сидят сейчас за этим столом, не знает, что будет с ним завтра, и не может спать спокойно. А здесь — и вы опять-таки можете мне поверить — сидят люди, у которых есть деньги... Они, конечно, не Онасисы или Ханты, но они могли бы многое себе позволить. И не имеют этой возможности. Поганая «Волга», на которой я езжу, так она тоже официально мне не принадлежит. Один уважаемый доктор наук

дал мне будто бы доверенность, что я имею право пользоваться его машиной. Но ОБХСС к этому доктору наук не ходит, оно ходит ко мне. А уважаемый доктор наук содрал с меня за эту старую рухлядь вдвое больше, чем стоит новая «Волга». Но я не могу иметь свою машину, потому что я сижу в подворотне на Карла Маркса, бывшей Екатерининской, и чиню часы... И все, Семен Янович, в этом роде! Круговорот азота в природе! Да, кстати, а каким образом вы знакомы с Лапидусом?

— А я с ним не знаком! — сказал Таратута, снова и намного внимательнее, чем в первый раз, разглядывая сидящих за столом. — Мне просто рассказали о нем, и я... — Не договорив, он задержался взглядом на курносой девчонке в форме стюардессы, спросил: — А вон та стюардесса, она из ваших?

Валя-часовщик улыбнулся:

— Катюша? Из наших. У нас, Семен Янович, налажен воздушный мост Одесса—Тбилиси. Вы же понимаете, далеко не все можно посылать по почте... Катюша — это наш лучший связной. — Он наклонился к Таратуте, тихо спросил: — Интересуетесь, Семен Янович? Вы скажите, это можно устроить.

Таратута смущенно поежился, снял очки, подышал на стекла, протер их платком, надел:

— Но она же девчонка, Валя! Ей же лет семнадцать, не больше.

— Восемнадцать, для точности! — заметил Валя-часовщик. — Но это не имеет значения! В женщине, Семен Янович, значение имеет не возраст, а вес. Если больше чем тридцать пять килограммов — то все в порядке. Меньше чем тридцать пять — можно получить неприятности... — И, окончательно развесявшись, Валя-часовщик громко окликнул: — Катенька, деточка! Скажи дяде Вале, какой у тебя будет живой вес?

— Сорок четыре, дядя Валя! А что?

Валя-часовщик снова засмеялся и игриво толкнул Таратуту плечом:

— Вот видите, Семен Янович! Но только, между прочим, я имею к вам лучшее предложение. Я даже удивляюсь на самого себя, как я об этом сразу не подумал. У меня есть две хорошие знакомые — Лида и Тоня. Вы смотрели, Семен Янович, кино «Королева Шантеклера»? Так вот, эта самая королева — она может, как говорится, бегать Лидочке и Тоне за пивом... У вас в гостинице, Семен Янович, я надеюсь, отдельный номер?

— Отдельный.

— Ну вот! — удовлетворенно кивнул Валя-часовщик. — Когда наш небольшой товарищеский ужин закончится, вы идите домой и ждите... Я отвезу меся Раевского, потом я заеду за Лидочкой и Тонечкой. А потом мы приедем к вам.

— Друзья мои! — Это опять с бокалом в руках поднялся пожилой грузин-тамада и, когда все сидевшие за столом замолкли, проговорил прочувствованно, торжественно и негромко: — Дорогие мои друзья! Я хотел бы, я очень хотел бы, чтобы сейчас, в эту минуту, в эту долю мгновения, остановились бы все часы на свете, как они почему-то останавливаются у нашего друга Вали-часовщика...

Он усмехнулся, а Валя-часовщик, взглянув на свои часы и удостоверившись, что они и вправду снова остановились, погрозил тамаде пальцем.

— Но, — чуть громче сказал тамада, — только глупые люди думают, что часы и время — это одно и то же. Нет, друзья мои, мы-то с вами знаем — часы могут остановиться, а время не останавливается, оно идет и идет... Но некоторые часы иногда показывают точное время. И я вижу, как мои скромные часы «Полет» нашего, отечественного производства — и поэтому я им, разумеется, верю — показывают, что сейчас восемь часов тридцать минут. А наш дорогой

юбиляр, наш горячо любимый и уважаемый Антон Ильич Раевский — мы все об этом помним — имеет привычку, чтобы не позже чем в десять часов ложиться спать! Я уверен, что еще не раз мы будем сидеть за этим или за каким-нибудь другим столом, и поднимать тосты за здоровье Антона Ильича, и желать ему долгих и счастливых лет, и все-таки... Я представляю себе, как я возвращаюсь к себе в Тбилиси и меня встречает моя доченька, моя красавица Натэллочка, и первое, что она меня спрашивает: — «Папа, — спрашивает она, — а какую историю рассказывал тебе месье Раевский?» И неужели я ее огорчу? Неужели я ей отвечу, что наш дорогой Антон Ильич Раевский не рассказал нам на этот раз никакой истории?! Быть этого не может! — Он повернулся к Раевскому: — Дорогой Антон Ильич! Я не сомневаюсь, что выражу общую просьбу — расскажите нам, пожалуйста, какую-нибудь историю, какой-нибудь поучительный случай из вашей благородной и замечательной жизни! Просим!

И все в один голос поддержали тамаду:

— Просим!

Пышнотелая блондинка, сидевшая рядом с тамадой, повелительно крикнула:

— Ша! Антон Ильич, миленький, расскажите что-нибудь из царского времени!

— Просим!

Антон Ильич Раевский жеманно, по-актерски улыбался — ну чего, дескать, пристали, — но тут же, не дожидаясь повторных просьб, встал, повел из стороны в сторону остреньким носиком, словно к чему-то принюхался, напевно произнес:

— Медам и месье!

Кстати, некоторых читателей может, вероятно, удивить эта форма обращения: «Медам и месье».

Дело в том, что в начале прошлого века одним из генерал-губернаторов Новороссийского края, в состав

которого в ту пору входила Одесса, был француз — герцог Ришелье. Герцог этот — «дюк» Ришелье — приложил немало стараний для благоустройства Одессы, именно с тех лет начинается современная история этого города, и поэтому всякий уважающий себя одессит — от торговки семечками с Пересыпи до зубного техника на Садовой — совершенно твердо убежден, что в его жилах течет капелька благородной французской крови.

— Медам и месье! — сказал Антон Ильич Раевский. — Я вам расскажу...

**РАССКАЗ АНТОНА ИЛЬИЧА РАЕВСКОГО О ТОМ,
КАК В 1910 ГОДУ ПРИЕЗЖАЛ НА ГАСТРОЛИ В ОДЕССУ
ВЕЛИКИЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ ТРАГИК
ТОММАЗО САЛЬВИНИ**

— Видите ли, медам и месье, этот замечательный день, который я запомнил на всю мою жизнь, начался довольно-таки паршиво! Был я тогда человек молодой, горячий, хватался за все... Ну, и среди прочих дел занимался немножко антрепризой. Конечно, на то, чтобы привозить в Одессу крупные имена — Яшу Зингерталея или Шаляпина, — на это я еще не имел подходящего капитала, но как раз осенью тысяча девятьсот десятого года мне удалось выписать из Петербурга Сашу Потемкина. Такой, знаете, русский богатырь, красавец. Играл сам на гармошке и пел куплеты. Женщины по нему сходили с ума! Так вот, у этого Саша Потемкина по дороге из Петербурга в Одессу разболелись зубы, а когда он приехал, так у него начался флюс. Вот такая раздутая щека, говорить не может, только стонет, матерится и хлещет водку! А у меня снят зал в Аркадии, у меня висят афиши, у меня продаются билеты... Что делать, я вас спрашиваю?! Я беру этого Сашу Потемкина, сажу его на извозчика и везу на Екатерининскую.

Там живет моя знакомая женщина, зубной врач, Ревекка Захаровна Гордон. Красавица, между прочим, брюнетка! Она приглашает нас в кабинет вне очереди, предлагает Саше Потемкину сесть в кресло и открыть по возможности рот, наклоняется к нему и... Ну, вы, я думаю, догадываетесь, что делает такой Саша Потемкин, когда к нему наклоняется интересная женщина с пышным бюстом. Сначала Ревекка дала ему по морде, потом она дала по морде мне, потом мы у нее просили прощения, и она нас простила. В общем, я оставил их вдвоем, а сам поехал домой. Я приезжаю домой, меня встречает жена и говорит: у тебя, говорит, был какой-то очень важный господин и оставил тебе свою визитную карточку. Она подает мне карточку, так уже по одной этой карточке я понимаю, что тут что-то особенное — бристольский картон с золотым обрезом. И крупными буквами напечатано: «Теофинос Кастаки, негоциант». А сбоку от руки приписано: «Жду вас в гостинице «Лондонская», в номере три, прошу явиться не мешкая. Т.К.». Так прямо и написано, черным по белому: «прошу явиться». Ну, я меняю сорочку, еще раз бреюсь, опрыскиваюсь одеколоном и еду. В гостинице «Лондонская», внизу, меня спрашивают, как моя фамилия, я называю, меня провожают к дверям третьего номера, я стучу и слышу приятный голос: «Войдите!» Я вхожу и вижу — на диване полулежит пожилой, но еще довольно интересный господин с черными усами, в шелковом красном халате с золотыми драконами — я потом купил себе точно такой же, — рядом с ним сидит роскошная дамочка, которая ему годится если не во внучки, то в дочери, во всяком случае. И на дамочке кисейный пеньюар — откровенно говоря, его могло и не быть, такой он был прозрачный... Но я на дамочку не смотрю, а смотрю на господина Кастаки — я сразу понял, что это и есть Кастаки, — и представляюсь скромно, но с достоинством:

— Раевский!

— Садитесь, господин Раевский! — говорит Кастаки и показывает мне рукой на кресло.

Я сажусь, подтягиваю брюки, жду.

— Видите ли, господин Раевский, — говорит Кастаки, — вы, надо полагать, читали в газетах сообщение о том, что в Одессу на гастроли приезжает мой друг, великий итальянский трагик Томмазо Сальвини.

— Разумеется, — говорю я и говорю неправду, потому что я так замучился с этим Сашкой Потемкиным, что уже, наверное, целый месяц не читал никаких газет.

— Мой гениальный друг синьор Томмазо Сальвини придет в Одессу ровно через неделю, — продолжает Кастаки. — Он будет играть в цирке знаменитую пьесу английского драматурга Шекспира «Юлий Цезарь». Из римской жизни.

Я киваю головой на всякий случай, но ничего не говорю, жду.

— Так вот, господин Раевский, нам нужны римляне! Нам нужна толпа, нам нужны сенаторы — ну, одним словом, римляне! И побольше!

Я глотаю слюну и спрашиваю:

— Сколько?

— Тысяча человек по крайней мере.

— Молодые или постарше?

— Молодые, — говорит Кастаки, смотрит на дамочку в пеньюаре и грустно улыбается. — Из молодых в крайнем случае можно сделать старых. Наоборот, к сожалению, получается много хуже.

— Когда вам нужна, господин Кастаки, эта тысяча человек? — спрашиваю я.

— Завтра.

— Хорошо! — говорю я и встаю.

Кастаки и дамочка в пеньюаре начинают смеяться. Они смеются, а я стою, жду.

— Неужели, — говорит Кастаки, — вы действи-

тельно уверены, господин Раевский, что за один день вы сумеете набрать тысячу человек статистов?

Я наклоняю голову.

— Да, — говорю, — я уверен.

— Садитесь, — говорит Кастаки и снова показывает мне рукою на кресло. Я сажусь.

— Вы нам нравитесь, господин Раевский! — говорит Кастаки, спускает ноги с дивана и наливает из большого фарфорового кофейника две чашки кофе — себе и своей дамочке. Мне он, между прочим, кофе не наливает, заметьте. Но дело, конечно, не в кофе, а дело в том, что он говорит. А говорит он следующее: — Когда мы с Таточкой приехали в Одессу — а приехали мы два дня назад, — мы просили знакомых, чтоб нам порекомендовали молодого, энергичного человека. Нам порекомендовали вас, господин Раевский. И теперь я вижу, что порекомендовали не зря. Но меня удивляет, господин Раевский, что вы не спрашиваете — какие условия. Или вас условия не интересуют?

Я говорю:

— Интересуют.

Кастаки со своей Таточкой снова начинают смеяться. Они смеются долго, а я сижу и молчу, как таракан. Наконец, отсмеявшись, Кастаки вытаскивает из кармана халата платок с монограммой, вытирает глаза, оглушительно сморкается и говорит:

— Условия, господин Раевский, такие — каждый римлянин за участие в спектакле получает рубль. Вы получаете за репетицию десять рублей, а за спектакль — двадцать. С вами расплачиваюсь я, а со статистами расплачиваетесь вы. Если завтра, как вы обещаете, будет тысяча человек — они должны явиться к цирку в десять часов утра, — тогда, господин Раевский, я выписываю вам чек, вы получаете в банке деньги и сами, лично, во время всех гастролей моего гениального друга Томмазо Сальвини рассчитываете-

тесь со статистами. Вас устраивают такие условия, господин Раевский?

Я вышел из «Лондонской», друзья мои, я не вышел — я вылетел как на крыльях. У меня дрожали ноги, и лицо было мокрое, как будто я купался. Причем лицо у меня горело, а ноги были холодные. Я сел в пролетку и приказал извозчику:

— В университет!

Но по дороге я еще заехал в цирк, выяснил кое-какие подробности, а уже оттуда — в университет. Я остановил извозчика — если пошли такие дела, то кто считает копейки, — а сам подошел к швейцару, приподнял шляпу и спрашиваю:

— Господин швейцар, вы не могли бы мне сказать, в какой аудитории читает сегодня лекцию господин профессор Квачевский?

Между прочим, об этом профессоре Квачевском я не имел ни малейшего понятия — кто он, и что он, и какие лекции он читает. Просто я слышал — об этом говорила вся Одесса, — что когда его хотели уволить из университета, студенты устроили целый трам-тарарам, чтобы его оставили. Ну, и я рассудил: если студенты не хотят, чтобы профессора увольняли, то на лекции его должно быть больше всего народу. И я оказался прав. Профессор Квачевский читал лекцию не где-нибудь, а в актовом зале. И читал он — это же надо, друзья мои, чтоб было такое совпадение, — теорию римского права! И народу было видимо-невидимо, яблоку упасть было негде! Ну-с, господин профессор Квачевский заканчивает свою лекцию, ему бурно аплодируют, тут выскакиваю я, поднимаюсь на кафедру, кажется, слегка даже отталкиваю в сторону господина профессора и кричу, у меня ни до, ни после — никогда не было такого голоса, как в этот день.

— Господа студенты! — крикнул я. — Через неделю в Одессе начинаются гастролы величайшего тра-

гика синьора Томмазо Сальвини! Кто хочет увидеть спектакли с его участием — поднимите руки!

Ну, разумеется, все хотят, все поднимают руки.

— Замечательно! — говорю я. — Но, между прочим, билетов в кассе уже нет! А те, которые были, так самые паршивенькие стоили не меньше чем пять рублей! Вы бы сидели, за эти сумасшедшие деньги, на самой верхотуре, и великий трагик казался бы вам величиной с муху. Положение, господа студенты, прямо-таки безвыходное!

Я делаю паузу, а в зале начинается шум.

— Тихо! — снова кричу я, и зал замолкает. — Есть люди, у которых при безвыходном положении опускаются руки. А есть люди, которые стучатся во все двери, и одна из этих дверей обязательно оказывается открытой. Вы имеете, господа студенты, такую возможность — видеть синьора Томмазо Сальвини не с какой-нибудь там галерки за пять рублей, а совсем рядом, ближе, чем видите сейчас меня. И не просто видеть. Вы будете играть вместе с ним в одном спектакле из римской жизни. И это вам обойдется сущие пустяки. Полтинник за участие в репетициях и один рубль — за спектакль! Так что, господа студенты, кто имеет на это желание — прошу опять поднять руки!

И все хотят, все поднимают руки, все кричат:

— Прекрасно!

— Спасибо!

— А кому платить деньги?

— Деньги будете платить мне! — говорю я. — Но, прежде всего, завтра, в десять часов утра вы должны явиться к зданию цирка. Вам ясно, господа студенты?

И тут я чувствую, что кто-то дергает меня за рукав пиджака. Я оборачиваюсь и вижу, что это господин профессор Квачевский.

— Скажите, — негромко говорит господин профессор, — а я тоже могу принять участие?

— Можете! — говорю я. — И даже, господин профессор, поскольку вы такой знаменитый, то вы можете принимать участие и в репетициях, и в спектаклях совершенно бесплатно!

Ну-с, на следующее утро, ровно в десять часов утра, у цирка была толпа приблизительно в три тысячи человек. Тысяча пришла — это были те, которых я пригласил, а еще две тысячи явилось, чтобы выяснить, что происходит и для чего пришла эта первая тысяча.

В пятнадцать минут одиннадцатого подъехал на извозчике господин Кастаки со своей Таточкой, увидел эту толпу, сделал удивленное лицо, приподнял котелок и помахал мне рукой. Я подошел.

— Да, месье Раевский, — говорит Кастаки, — теперь я вижу, что с вами действительно можно иметь дело!

Он достает из кармана бумажник, вытаскивает уже подписанный чек, протягивает его мне.

— Возьмите, месье Раевский! Но только — вы, я надеюсь, понимаете — деньги есть деньги. Деньги любят счет. Вы должны составить ведомость с именами всех участников, и вы будете брать с них расписки!

Конечно, я составил ведомость, и, конечно, я брал расписки. В этих расписках значилось: такой-то за участие в репетиции — пятьдесят копеек. Или: такой-то за участие в спектакле — один рубль. Заплатил или получил — это уже никого не касалось, это уже было мое сугубо личное дело!

Если говорить откровенно, то, как играл великий трагик синьор Томмазо Сальвини, я не видел. Уверяют, что он играл замечательно. Очень может быть. Даже наверное. Во всяком случае, когда он закончил гастроль и уехал, так я купил дом. Двухэтажный дом на улице Бабея — там теперь помещается ОБИР... Между прочим, в тысяча девятьсот семнадцатом го-

ду этот дом выиграл у меня в карты Миша Лapidус. Он был тогда еще совсем мальчик, но имел руки — так это что-то особенное. Вы понимали, что он и передергивает, и делает накладки, — но заметить вы этого не могли. Он хотел перестраивать дом, но не успел — началось то, что мы с вами каждый год отмечаем седьмого ноября. И Мишу Лapidуса едва не расстреляли как буржуя и домовладельца. А синьору Томмазо Сальвини в городе, где он родился, говорят, поставили памятник. К сожалению, мне не довелось побывать в Италии, а то бы я непременно положил к подножию этого памятника букет цветов!..

— Ай, золотая голова! — вздохнул Валя-часовщик, с обожанием поглядел на месье Раевского, выпил залпом бокал коньяка, пожевал лимон и повторил: — Золотая голова! — Он обернулся к Таратуте: — Что я вам говорил, Семен Янович? Это же не человек — это живой исторический музей!

5

Таратута медленно, заложив руки за спину, подошел к дверям гостиницы «Дружба», остановился. Бюро погоды, как ни странно, предсказало верно — накрапывал дождь, мелкий, нудный, осенний.

Таратута взглянул на часы — без четверти десять. «Ну и денек!» — подумал Таратута.

Он не знал, да и откуда было ему знать, что этот день был только первым, еще робким звонком колокольчика, собирающего действующих лиц на подмостки, только предвестником событий, и что сами события — неправдоподобные и стремительные — еще впереди.

Напротив гостиницы «Дружба», через дорогу, у закрытой кассы кинотеатра «Космос» безнадежно и терпеливо мокла недлинная очередь. Шел приклю-

ченческий фильм «Неуловимые мстители», действие которого происходило в Одессе, и билеты нужно было заказывать за две недели вперед.

Но все равно каждый вечер, к последнему, десятичасовому сеансу, собирались у входа в кинотеатр и становились в очередь странные люди — то ли надеялись на слепую удачу, то ли на внезапную повальную эпидемию гриппа, то ли вообще ни на что не надеялись, кроме как на возможность убить время.

И, глядя на эти унылые, сгорбленные спины, на поднятые воротники, на нахлобученные чуть не до бровей кепки и шляпы, Таратута почувствовал тревожное раздражение: раздражение, которое было как бы и соблазном вмешаться, что-то сделать, созорничать.

«Ну, тихо, тихо, тихо!» — попытался Таратута сам себя урезонить.

Но соблазн был сильнее всяких увещеваний.

И Таратута, вздохнув, засунул руки в карманы, решительно пересек улицу, прошел вдоль очереди к закрытой кассе, остановился и очень громко сказал:

— Граждане одесситы!

И все глаза мгновенно уставились на него.

— Граждане одесситы! Вы, как я понимаю, ждете чуда! Но чудес не бывает. Это совершенно точно доказано наукой и товарищем Верченко Леонтием Кузьмичом!

Он сделал паузу в ожидании, что кто-нибудь спросит его, кто такой товарищ Верченко, но очередь, состоявшая главным образом из пенсионеров и мальчишек, испуганно молчала.

— Граждане одесситы! — еще громче сказал Таратута. — Я предлагаю вам не ждать милостей от природы! Я предлагаю взять этот вонючий кинотеатр штурмом. Это же не какой-нибудь Зимний

дворец, а всего-навсего бывшая китайская прачечная!

Он выпятил вперед подбородок и с командирскими раскатами в голосе отчеканил:

— Участники штурма — два шага вперед!

Очередь быстро начала таять.

Пожилой одессит с профессорской бородкой, просеменив мимо, похлопал Таратуту по плечу зонтиком и сказал негромко, не разжимая губ:

— Играетесь с огнем, молодой человек!

Протопала компания лохматых юнцов, стараясь всем своим видом показать, что ничего-то они не боятся, но что просто им надоело ждать.

— Эх вы, — сказал им вслед Таратута. — А еще туда же — будем как Ленин, будем как Ленин! Вы на доктора Семашко и то не потянете!

Таратута усмехнулся, махнул рукой, повернулся по-военному, на каблуках, пересек улицу в обратном направлении и, уже останавливаясь, толкнул дверь и вошел в полутемный холл гостиницы «Дружба».

Здесь было все как всегда — какие-то люди дремали в креслах, зажав в ногах, как всадники шенкеля, портфели и чемоданы, телефон на стойке дежурного администратора звонил надсадно и непрерывно, сам администратор отсутствовал, а на дверях лифта висела табличка с надписью, отпечатанной типографским способом: «Лифт не работает».

Таратута с досадой чертыхнулся. Он-то знал, что лифт работает. Заместитель директора гостиницы «Дружба», тот самый, упомянутый Таратутой Леонтий Кузьмич Верченко, выдвигенец из биндюжников, как-то в припадке пьяной откровенности объяснил Таратуте, в чем тут секрет.

Несколько месяцев тому назад администрация гостиницы «Дружба» и администрация гостиницы «Красная» подписали договор о социалистическом

соревновании и вступили в борьбу за переходящее знамя Одесского горисполкома и Управления коммунального хозяйства.

Среди всевозможных обязательств, взятых на себя по этому договору соревнователями, имелось и обязательство экономить электроэнергию. И вот именно на этом пункте, не надеясь переплюнуть гостиницу «Красная» по другим показателям, и решила сосредоточить все свое внимание и силы администрация гостиницы «Дружба». Прежде всего было принято решение — с семи часов вечера до восьми часов утра останавливать лифт.

Товарищ Верченко на собрании сотрудников обосновал это решение так:

— Этот чертов лифт, он знаете сколько киловатт энергии жрет? Он жрет, сукин сын, все равно как бригада биндюжников после трехменной погрузки-выгрузки!

Кто-то из зала робко напомнил Леонтию Кузьмичу, что в договоре имеется также обязательство улучшить обслуживание проживающих в гостинице постояльцев и обеспечить их всеми мыслимыми удобствами.

— Верно, правильно! — согласился Верченко и хитро прищурился. — А наш постоялец — он кто?! Мы на всяких там курортников-шмурортников ставки делать не будем. Наш постоялец — это человек рабочий, командировочный! Он приезжает в Одессу накоротке. Ему, соколу, за один день надо, может быть, в сто учреждений слетать. А учреждения до которого часа работают? До шести. Кладем еще полчасика на то, чтобы выпить и закусить. Получается, что не позже чем без четверти семь наш постоялец спокойненько может вернуться в гостиницу на заслуженный отдых. А лифт работает до семи. Все в порядке, все учтено! А которые желают не отдыхать, а

прожигать жизнь — по ресторанам, по дамочкам, по театрам, — те могут и на своих двоих, они у них не отсохнут!..

...Ноги у Таратуты, когда он добрался по полутемной лестнице до своего четвертого этажа, действительно не отсохли. Но чертыхаться он уже не мог, а только похрипывал.

На столике дежурной по этажу Лидии Феликсовны горела свеча.

Это была новейшая идея товарища Верченко. После того как на какой-то оптовой базе ему удалось за гроши купить партию елочных свечей, он издал приказ, запрещающий дежурным по этажам пользоваться настольными лампами. В пылу борьбы за переходящее знамя с гостиницей «Красная» Верченко замахнулся было и на свет в номерах постояльцев, но в последнюю минуту испугался жалоб и ограничился тем, что запретил освещать коридоры больше чем одной люстрой.

— У нас тут не музей, — сказал Леонтий Кузьмич на очередном собрании. — Разглядывать нечего, стенки и стенки. А которым темно, могут, как на железной дороге, с фонариками ходить!

Дежурная по этажу Лидия Феликсовна сидела за своим столиком и что-то писала в толстой канцелярской книге, страницы которой были разделены на две половины: «Прибыл» и «Выбыл».

В зыбком свете свечи, с пером в руке, с седыми букольками, Лидия Феликсовна была похожа на Нестора-летописца, как его изображают в школьных учебниках, но только забывшего приклеить бороду.

В тощей груди Лидии Феликсовны — женщины немолодой и самостоятельной — жила одна-единственная страсть. И называлась эта страсть — ненависть.

Лидия Феликсовна ненавидела всех — директора гостиницы, его заместителя, старшего администратора, дежурных администраторов, швейцара, сменщиц по этажу. Но пуще всего ненавидела Лидия Феликсовна постояльцев гостиницы. Некоторое исключение она делала только для иностранных туристов. Но исключение это было чисто теоретическим. А практически — ну какие же в гостинице «Дружба» иностранные туристы?! Разве что в горячую летнюю пору поселят горемык туристов из Болгарии, Румынии, Польши — так ведь чем у них поживишься, они сами норовят спереть, что плохо лежит.

Впрочем, были в жизни Лидии Феликсовны три дня и три ночи, о которых она вспоминала с благоговением и сладкой тоской.

Несколько лет тому назад в Одессу по приглашению Черноморского пароходства приехал из Финляндии представитель фирмы, изготавливающей какие-то особые пластики, господин Паулу Виремяйнен. Выглядел этот представитель и вправду необыкновенно представительным — высокий, седовласый, улыбчивый, вежливый.

Поселили его в гостинице «Черноморская» (бывшая «Лондонская»), принимали по-царски — возили на экскурсии в катакомбы, водили в Оперный театр, кормили, поили.

И не рассчитали — кормили чересчур уж обильно, поили слишком щедро, позабыв, что господин Паулу Виремяйнен прибыл из страны, где объявлен сухой закон и крепкие спиртные напитки продаются по карточкам, и притом в весьма ограниченном количестве.

Уже на третий вечер гость пропал. Приставленный к нему ответственный сотрудник Черноморского пароходства обыскал и облазил всю гостиницу, прочесал Приморский бульвар и Дерibasовскую, позвонил в полном отчаянии куда следует — и на под-

могу ему были присланы двое молодых людей с бесстрастными лицами и пронзительными глазами.

Господина Паулу Виремяйнена удалось обнаружить в полночь в каком-то замызганном привокзальном шалмане.

Он сидел за столиком в полном одиночестве, приканчивал, как сообщил официант, вторые пол-литра и, подперев по-бабьи щеку ладонью, нежным и жалобным голосом пел бесконечную песню.

— Ты что же это, сукин сын? — сказал один из бесстрастных официанту. — Нарушаешь постановление?! На человеко-единицу разрешается двести граммов от силы, а ты ему целый литр скормил?!

— Так они же будут нерусские! — сказал официант. — На них постановление недействительно, они валютою платят...

Бесстрастные отобрали у официанта финские кроны, составили протокол и погрузили господина Виремяйнена в оперативную машину. По дороге в гостиницу знатный гость допел наконец свою печальную песню и полез целоваться к шоферу. Шофер шепотом матерился и отплевывался, но терпел.

И с той полночи господина Паулу Виремяйнена в трезвом виде уже не видел больше никто.

На следующий день состояние печальной задумчивости перешло в буйство. Знатный гость для начала переломал в номере мебель, потом, завернувшись в сорванную с окна занавеску, принялся шататься по коридорам гостиницы и пытался в этом одеянии пройти в ресторан.

В ресторан его не пустили, отвели под уздцы в номер и заперли. Тогда он забаррикадировал двери номера шкафом, распахнул окно и в совершенно голлом виде — а дело, надо сказать, было зимой — уселся на подоконник и, ежесекундно рискуя свалиться, стал размахивать руками и что-то кричать. Под окном, разумеется, собралась толпа. Администратор

гостиницы после безуспешной попытки ворваться в номер вызвал пожарную команду.

В итоге всех этих сокрушительных событий господин Виремяйнен, снятый с окна пожарниками, улегся спать на полу, а некое учреждение в Одессе позвонило в некое учреждение в Москве и со слезами в голосе спросило: что делать?

Некое учреждение в Москве пообещало связаться с Министерством иностранных дел, но посоветовало, пока суд да дело, перевести господина Виремяйнена из гостиницы «Черноморская», находящейся в ведении «Интуриста», в какую-нибудь гостиницу попроще, попроще, местного значения, с глаз подальше.

Вот так и попал знатный гость из Финляндии в гостиницу «Дружба», на четвертый этаж, в номер четыреста восемнадцать. Вот так и начались те самые три дня и три ночи, о которых с такою сладкой тоскою вспоминала Лидия Феликсовна.

Водворенный в гостиницу «Дружба», господин Виремяйнен в ускоренном темпе повторил две первые степени опьянения — печальную задумчивость, буйство, а затем не мешкая погрузился в третью степень — молчаливую плаксивость. В редкие часы, когда Виремяйнен не спал, он сидел на кровати в одних боксерских трусах и, закрыв руками лицо, всхлипывал и что-то негромко бормотал. Он переставал плакать только в то мгновение, когда с умильной улыбкой на устах входила в номер Лидия Феликсовна. На черном, «под Палех» лакированном подносе, на котором были изображены Спасская башня Кремля и колокольня Ивана Великого, Лидия Феликсовна приносила дорогому гостю очередной графинчик водки и закуску — бутерброды с кильками и маринованные огурчики.

Некое учреждение, узнав от товарища Верченко о наступлении у господина Виремяйнена третьей степени опьянения, распорядилось — поить буржуй-

скую морду по требованию и даже без требования, но ни под каким видом из номера не выпускать.

Товарищ Верченко в свою очередь бросил на выполнение этого ответственного задания Лидию Феликсовну.

Три дня и три ночи не уходила Лидия Феликсовна из гостиницы и не покидала своего поста на четвертом этаже. Она собственноручно чистила кильки и аккуратно укладывала их на ломтик хлеба, дотошно отбирала огурчики, настаивала водку на заветной анисовой травке и добавляла в графин для запаха несколько капель духов «Сирень».

Но и господин Виремяйнен, хотя и пьяный до изумления, тоже, надо отдать ему справедливость, не оставался в долгу. Ни единого раза не покидала Лидия Феликсовна номера четыреста восемнадцать с пустыми руками. Господин Виремяйнен дарил ей все, что попадалось ему на глаза, — пижаму, махровое полотенце, крем для бритья, шариковую ручку, почти полный флакон одеколona «Кельнише Вассер», фотографии — свою, своей семьи, водопада Иматры и президента Республики Финляндии господина Кекконена.

Три дня и три ночи жила Лидия Феликсовна, как в волшебном сне.

Сплетник швейцар утверждает, что слышал сам, как, шествуя по коридору с подносом в руках, она даже напевала — игриво и немзыкально — старую песню, переделанную ею на собственный лад:

Осенний сон, осенний сон,
Как много дум наводит он!..

Но на четвертые сутки этот волшебный сон был нарушен — откровенно, грубо и навсегда.

Все те же бесстрастные молодые люди с пронзительными глазами приехали в гостиницу, прошли в сопровождении товарища Верченко в четыреста во-

семнадцатый номер, кое-как, небрежно, наспех собрали господина Виремьянена и, преодолев его слабое сопротивление, увезли на аэродром.

Лидия Феликсовна выбежала за ними на улицу и долго стояла, прижав руки к груди, глядя вслед скрывшейся за поворотом, за снегом оперативной машине.

Сплетник швейцар окликнул ее:

— Лидия Феликсовна, простудитесь!

Она обернулась и тихо сказала:

— А мне теперь безразлично!..

Все еще отдуваясь и тяжело переводя дыхание, Таратута молча протянул руку, но Лидия Феликсовна в ответ не отдала ему ключ от номера, а проговорила язвительно и высокомерно:

— Между прочим, гражданин Таратута, вы здесь живете не первый день и должны были бы знать, что посторонним лицам выдавать ключи от номера не разрешается.

— Это кто же здесь посторонний? — обретя от удивления дар речи, спросил Таратута. — Это я — посторонний?!

— Я не имею в виду вас. Но приехали какие-то четверо, и один из них — такой довольно интересный мужчина — сказал, что вы разрешили им взять ваш ключ.

— И вы им его отдали?

— Да.

— Но вы же знаете, Лидия Феликсовна, что посторонним лицам выдавать ключи от номера не разрешается! — усмехнулся Таратута, возвращая разговор на исходную позицию.

— Так ведь это вы распорядились! — покрываясь красными пятнами, воскликнула Лидия Феликсовна.

— А кто я такой? — немедленно возразил Таратута. — Я рядовой постоялец. Какое право я имею распоряжаться?

— Вот именно! — ощутив наконец твердую почву под ногами, сказала Лидия Феликсовна. — Именно это я и говорю! Вы не имеете права распоряжаться, чтобы отдали ваш ключ от номера, когда вы прекрасно знаете, что выдавать посторонним лицам ключи от номера не разрешается!

— Но ведь выдал-то ключ не я, а вы.

— Но вы распорядились.

— А кто я такой?!

Разговор опять явно забуксовал, как застрявшая в грязи машина: ни вперед — ни назад.

Таратута посмотрел на Лидию Феликсовну. Лидия Феликсовна посмотрела на Таратуту и вдруг, что-то вспомнив, сказала совсем другим тоном и почему-то понизив голос:

— Да, и еще... После того как уже приехали эти четверо, к вам заходил еще один гражданин и просил — срочно, он сказал — передать письмо... Он даже потребовал, чтоб я расписалась в получении!

Таратута в недоумении оттопырил губы:

— Что за письмо? Что за срочность?

Лидия Феликсовна достала из ящика стола довольно большой конверт с сургучной печатью, протянула его Таратуте.

На конверте затейливым, с завитушками, канцелярским почерком был написан адрес: «Гр-ну Таратуте С.Я. Гостиница «Дружба», номер четыреста семнадцать. Очень срочно!»

Слова «очень срочно» были дважды подчеркнуты.

Таратута кивком головы поблагодарил Лидию Феликсовну, поправил сползшие набок очки и, не распечатывая конверта, направился в свой номер.

Еще издали, несмотря на то что коридор был погружен в полумрак, Таратута увидел Валю-часовщика.

Валя стоял у дверей номера — без пиджака, без бантика, в рубашке с расстегнутым воротником и

закатанными рукавами. Он стоял, по-наполеоновски скрестив могучие руки, и улыбался.

Когда Таратута подошел ближе, Валя-часовщик перестал улыбаться и проговорил громоподобным шепотом:

— Семен Янович, дорогой мой, сегодня такой день, что одни сплошные недоразумения!

— А в чем дело? — спросил Таратута.

— Я вам, помните, говорил про Лидочку и Тонечку?

— Вы их не нашли?

— Нет, я их нашел. С Лидочкой у меня любовь. Вы можете смеяться, Семен Янович, но Лидочка — это женщина моей мечты. С другой стороны, если подходить к данному вопросу объективно, то она не такая красивая, как Тонечка. И я надеялся, Семен Янович, что вы от Тонечки получите полный максимум удовольствия...

— Так что же случилось?

Валя-часовщик печально покачал головой:

— Что случилось? В этой жизни всегда что-нибудь случается! Я посадил девушек в машину, мы едем к вам, у нас хорошее настроение. И вдруг мы видим — у витрины магазина «Мясо» стоит пожилой человек и плачет. Лидочка его узнала первая. Она мне сказала: «Смотрите, Валя... — Мы с ней на «вы», между прочим. — Смотрите, Валя, — сказала Лидочка, — это же Эдуард Аршакович Казарян!» Я останавливаю машину, выхожу и вижу — действительно, это Казарян, которого мы напрасно ждали на юбилее месье Раевского. Он стоит и плачет. А я должен вам сказать, Семен Янович, что это очень страшно, когда плачут пожилые люди!.. Оказывается, у него был сегодня обыск. Явились эти бандиты из ОБХСС, перевернули всю квартиру вверх дном, кое-что забрали, кое-что опечатали и взяли с Казаряна подписку о невыезде. А он одинокий, как собака, ему даже пожаловаться некому... Так я вас спрашиваю, Семен

Янович: если человеку, который стоит у витрины магазина «Мясо» и плачет, доставить немножко радости — это хорошо, это гуманно? Ну, и мы пригласили его с собой... И мы...

Внезапно оборвав свой монолог на полуслове, Валя-часовщик уставился на конверт с сургучной печатью, которым рассеянно, как веером, обмахивался Таратута.

— Ой, я знаю этот конверт! — шепотом пропел Валя-часовщик. — Ой, я очень хорошо знаком с этим конвертом. Когда вы его получили, Семен Янович?

— Только что. Я еще даже не успел его распечатать.

— Распечатайте! — сказал Валя-часовщик. — Немедленно распечатайте. Вы же видите, там написано: «Очень срочно!»

Таратута, пожав плечами, содрал сургуч, открыл конверт и достал почтовую открытку.

— Так я и думал! — выдохнул Валя-часовщик. — Что в открытке?

Таратута медленно прочел:

— «Министерство внутренних дел УССР. Одесский отдел виз и регистрации, улица Бабеля, пять. Таратуте С.Я. Просьба явиться в среду, третьего октября, в десять часов утра к товарищу Захарченко, имея при себе паспорт и военный билет. Ваша явка обязательна».

— Среда — это завтра! А товарищ Захарченко Василий Иванович — это начальник ОВИРа! — сказал Валя-часовщик и торжественно поднял руку. — Семен Янович, дорогой, вас сам Бог послал — и я это почувствовал сразу! — Он обнял Таратуту за плечи. — Идемте!

— Куда? — отстранился Таратута. — В номер?

Валя-часовщик усмехнулся:

— Нет, зачем же в номер? В номере сейчас лично вам делать нечего. Но вы не беспокойтесь, Семен

Янович, я о вас подумал — я налил вам ванну... Вы можете полежать и отдохнуть от всех этих кошмарных переживаний! Тем более что завтра вам, очевидно, кое-что предстоит!

— Черт возьми! — пробормотал Таратута и перечитал во второй раз загадочную открытку. — Не понимаю... Для чего я им так срочно понадобился?

— Завтра в десять утра вы все узнаете! — снова шепотом пропел Валя-часовщик. — А до завтра осталось уже всего ничего... И не надо мучиться над вопросами, на которые все равно отвечаем не мы! Идемте, Семен Янович!

В маленькой ванной комнате, дверь из которой выходила прямо в прихожую, Валя-часовщик, подсучив еще выше рукав рубашки, наклонился над ванной, попробовал локтем воду, сказал деловито и озабоченно:

— Если вам покажется, Семен Янович, что прохладно, так можно подбавить горяченькой!..

Но Таратута не ответил.

Слегка приоткрыв рот и сдвинув брови, он смотрел на едва заметный синий шестизначный номер, вытатуированный на могучей руке Вали-часовщика и выползавший из-под засученной рубашки.

— Что это, Валя?

— Где?

— Вот, — сказал Таратута и ткнул пальцем в номер.

— Э-э! — небрежно сказал Валя-часовщик. — Ерунда! Мои родители, они были великие умники. В июне сорок первого года они отправили меня погостить к бабушке в Вильнюс. Ну, так четыре года я прожил в гетто, бабушка умерла, а я... Одним словом, ничего интересного, Семен Янович! Можете мне поверить! — Он снова наклонился и попробовал локтем воду. — Я думаю, что все-таки нужно немножко подбавить горяченькой!..

6

Больше всего на свете Таратуте в это мерзкое, дождливое утро хотелось спать.

Всю дорогу от гостиницы «Дружба» до улицы Бабеля он мучительно боролся с зевотой и с желанием плюнуть на все, вернуться в номер, упрямить коридорную сменить белье и упасть, как в обморок, в сон.

В сущности, он почти всю ночь пролежал в ванне в холодной воде — вопреки совету Вали-часовщика, он не стал подливать горячей, чтобы не уснуть и не захлебнуться, — стараясь не слышать и слыша, как звенят за стеной стаканы, гудят мужские голоса и заливаются русалочьим смехом девицы.

По временам Валя-часовщик просовывал в полуоткрытую дверь ванной комнаты кудлатую голову и спрашивал бесстыдно и бодро, как сержант-сверхсрочник:

— Ну как, Семен Янович, отдыхаем?!

Таратута в ответ бормотал что-то невнятное, и Валя-часовщик, хохотнув, скрывался.

Уже под утро Таратута все-таки ненадолго задремал.

Ему даже приснился сон — необъятная лужа у палатки «Пиво — воды» и длинная, бесконечно длинная улица, круто уходящая в гору. Он бежал по этой улице быстро, молча, а за ним, преследуя его, бежали не Валерик и Толик, а двигалась целая армия с броневидами, танками, дальнобойными орудиями, и во главе этой армии, впереди, ехал на трехколесном велосипеде Валя-часовщик в черном пиджаке, с черным бантиком-бабочкой и весело улыбался.

— Семен Янович!

Таратута через силу продрал глаза и увидел, что в дверях ванной стоит Валя-часовщик в черном пиджаке и с черным бантиком-бабочкой.

Он словно бы перешел из сна в явь и сделал это

настолько естественно, что Таратута даже не очень удивился.

— Дорогой Семен Янович! — сказал Валя-часовщик и церемонно поклонился. — Позвольте мне от имени Лидочки и Тонечки, от имени Эдуарда Аршаковича Казаряна и от себя лично выразить вам наши извинения и глубокую, сердечную благодарность!

— Служу Советскому Союзу! — сказал Таратута и лязгнул зубами от холода. — Готов выполнить любое задание партии и правительства!

Но Валя-часовщик, утомленный любовными утехами, юмора не оценил. Он просто снова поклонился и притворил за собой дверь.

Еле волоча ноги, Таратута доплелся до улицы Бабеля.

Дом номер пять найти было нетрудно.

У ворот этого дома группами, оживленно переговариваясь и жестикулируя, стояли евреи — молодые и старые, интеллигенты и оборванцы, женского, мужского и среднего пола.

Некоторые, особенно молодые, носили бороды, пейсы и традиционные бархатные шапочки — кипы.

Увидев Таратуту, они все на мгновение замолчали, проводили его глазами, когда он вошел во двор, и кто-то в спину ему сказал:

— Отказник из профессоров, чтоб я так жил!

Молоденький, очень важный милиционер-казах у входа в ОВИР внимательно прочитал открытку, которую показал ему Таратута, подумал, потом зачем-то козырнул и сказал:

— Вам, гражданин, на второй этаж.

Едва только Таратута поднялся на второй этаж и вошел в зал, битком набитый людьми, как громкий металлический голос, усиленный двумя висевшими на стене динамиками, сказал:

— Таратуту Семена Яновича, если он здесь, просят пройти в комнату номер двенадцать!

В зале немедленно начался галдеж:

— Таратута?! А кто такой Таратута?!

— Послушайте, вы не видели Таратуту?!

— Где Таратута?!

Из общего шума выделился звонкий женский голос:

— В конце концов, это хамство! Таратута Семен Янович, где вы?

Не отвечая, Таратута, ожесточенно орудуя локтями, начал продираться сквозь толпу к дверям, обитым черной клеенкой, на которых сияла золотая цифра «двенадцать».

Он был уже почти у цели, когда дорогу ему преградил маленький встрепанный человечек в лыжной куртке, украшенной каким-то совершенно невероятным количеством «молний». Уперев Таратуте в грудь длинный указательный палец, человек-«молния» строго спросил:

— Одну минуточку, это вы — Таратута?

— Я, — признался Таратута.

— Вы что же, не слышите, что вас вызывают?

— Слышу.

— Так почему же вы не идете?

— Я иду.

— Ну так идите!

— А вы перестаньте тыкать мне в грудь пальцем! — обозлившись, гаркнул Таратута.

Человек-«молния» обиделся.

— Ах, так это, оказывается, я виноват? Люди — и, между прочим, постарше вас — занимают очередь чуть не со вчерашнего вечера. Они приходят, они сидят, они ждут — но их не вызывают! Вызывают вас, а вы не идете! Так кто же виноват, хотелось бы мне знать?!

Таратута двумя руками взял человечка-«молнию» за плечи, молча, как шахматную фигуру, переставил его с одной паркетной клетки на другую, усмехнулся:

— Слон бьет на же семь!

Потом он шагнул вперед, толкнул заветную дверь и громко сказал:

— Здравствуйте!

— Здравствуйте, Семен Янович!

Если бы в системе Министерства внутренних дел проводились конкурсы красоты на звание «мистер ОВИР», то подполковник Василий Иванович Захарченко, начальник Одесского ОВИРа, не имел бы соперников.

— Красавчик! — звали его за глаза подчиненные.

— Вася-Василек! — говорила ему любящая жена Марина, боевой друг и товарищ. — Тебе бы в кино, Василек, сыматься! Против тебя никакой Радж Капур не потянет!

Имя этого индийского киноактера упоминалось не случайно. Был Василий Иванович черняв, белозуб, с глазами бессмысленными и прекрасными. Но, в отличие от тщедушного Раджа Капура, Василий Иванович унаследовал от своих сибирских дедов и прадедов, прасолов казачьего корня, могучую статью, грудь колесом, широкие плечи борцовского разворота. Картинная эта внешность в сочетании с характером, исполнительным и покладистым, и была одной из причин, если не главной, быстрого продвижения Василия Ивановича по служебной лестнице вверх. «Глуп, но надежен», — написал на его личном деле начальник Четвертого управления МВД СССР генерал-лейтенант Ильин.

И написал он это, между прочим, явно несправедливо.

Василий Иванович Захарченко был отнюдь не глуп. Просто ему по занимаемой должности никакого ума не требовалось. А не требовалось, так и не надо.

Ну в самом деле, какая еще такая необходима сообразительность, чтобы, ознакомившись с решением, присланным из Киева (или из Москвы), сообщить

очередному безумцу, собравшемуся ехать куда-то к чертовой бабушке, на край света, о том, что ему, безумцу, в его просьбе отказано?

В тех куда как более редких случаях, когда из Киева (или из Москвы) приходил положительный ответ, сообщать о нем Василий Иванович предоставлял своим младшим сотрудникам — инструкторам.

— Сказать «да» — это всякий дурак может! — объяснял Василий Иванович любящей жене Марине. — А вот сказать «нет» — это, милая моя, дело тонкое!

Говоря «нет», Василий Иванович, как правило, улыбался. И вовсе не от высокомерия или злорадства, совсем наоборот. Ему совершенно искренне было жаль этих чудаков, рвущихся из прекрасного мира, где все так хорошо, разумно и справедливо, в неведомый страшный мир хаоса и насилия, — и сообщение об отказе воспринимал он как спасение очередной заблудшей души. И улыбался.

Одному почтенному еврейчику, заслуженному артисту, маэстро, который на своей родной скрипочке пиликал даже по радио, Василий Иванович, видя, как тот переживает отказ, сказал дружелюбно и участливо:

— Ну что вы убиваетесь? На кой вам этот Израиль?! Чем вам у нас плохо?

Но маэстро Скрипочкина от этого вполне дружеского вопроса почему-то всего перекошило, он зыркнул на Василия Ивановича бешеными глазами и сказал, заикаясь:

— Вот именно поэтому!

Василий Иванович не понял, что он имел в виду, но с тех пор решил в откровенные разговоры с психами не вступать и придерживаться раз и навсегда установленного порядка:

— Мы внимательно рассмотрели ваше ходатайство, и я уполномочен вам сообщить, что вам отказа-

но. Следующее заявление можно подавать через год со дня отказа. До свиданья!

Иногда какой-нибудь не в меру ретивый еврейчик спрашивал:

— А могу я обжаловать это решение?

Василий Иванович улыбался еще шире и дружелюбнее:

— Можете. Вы можете послать вашу жалобу в Президиум Верховного Совета, но там — должен вас предупредить откровенно — читать ее не будут, перешлют нам. Так что сами понимаете!..

Но сегодня Василий Иванович Захарченко нервничал.

И надо же было этому Ершову из 12-го отделения явиться к нему вчера со своими дурацкими идеями, и надо же было, чтобы азартная кровь прадедов ударила Захарченко в голову в самую неподходящую минуту.

Выслушав Ершова, Василий Иванович позвонил в Киев, из Киева его, как водится, переадресовали в Москву, а Москва, к полному изумлению Захарченко и Ершова, сообщила причудливо-суконным языком, возвышенно-канцелярским слогом о том, что в данное время как раз изучается проект общего решения вышеупомянутой и нижепоименованной проблемы, что конкретный вопрос, поднятый товарищами из Одессы, идеально вписывается в этот проект и что их звонок как нельзя более кстати — так сказать, инициатива снизу, поддерживающая инициативу сверху.

Василий Иванович с пылающими ушами поинтересовался: а как ему следует поступить, если возникнут трудности?

Москва, похмыкав, ответила, что дело это новое, экспериментальное, что на первых порах товарищам на местах предоставляются самые широкие полномочия — разумеется, в разумных пределах.

— Ты чего это, Василек, ворочаешься? — проворчала глубокой ночью любящая жена Марина, боевой друг и товарищ. — Это надо же — из-за евреев не спать! Все несчастья от них, честное слово!

— Ну, не скажи, Марина, не скажи! — возразил Василий Иванович. — Всяко бывает! Есть такие, знаешь, русские, что даже хуже евреев!

И вот теперь подполковник Василий Иванович Захарченко сидел за письменным столом в своем служебном кабинете, бесцельно перекладывая то справа налево, то слева направо какие-то бумаги, хмурил соболиные брови и все не решался открыто поглядеть на этого Таратуту Семена Яновича, из-за которого он провел сегодня бессонную ночь.

Наконец он поджал губы, расправил богатырские плечи и без надобности громко сказал:

— Так вот, Семен Янович... Мы пересылали ваше дело в Москву, там с ним ознакомились и приняли положительное решение — вы можете ехать!

— Ехать? — спросил Таратута сдавленным голосом, поскольку новость эта застигла его в самом начале сладчайшего зевка. — Куда ехать?

— Как это, Семен Янович, куда? В Израиль! — твердо сказал Захарченко, впервые поглядел на Таратуту и удивился. «Где-то я встречал этого подлеца! — мельком подумал он. — Не вспомню сейчас, где и при каких обстоятельствах, но личность определенно знакомая! Ох, Ершов, Ершов! Ох, подведешь ты меня, Ершов, под кузькину мать!..»

А Таратута, как всегда, когда ему бывало необходимо выиграть время, снял очки и принялся их тщательно протирать. Он делал это так долго и нудно, что Захарченко на всякий случай повторил:

— В Израиль, Семен Янович!

— А зачем? — ухмыльнулся Таратута, все еще продолжая протирать очи. — Для чего мне туда ехать?

— На вашу историческую родину, Семен Янович! — сказал Захарченко. — Для воссоединения семьи.

— Здравствуйте! — нагло сказал Таратута, надел очки, уселся поудобнее и вытянул ноги. — Во-первых, я далеко не уверен в том, что Израиль моя историческая родина. Может быть, моя историческая родина — это Огненная Земля или мыс Доброй Надежды. Вы компрене? А во-вторых, никаких родственников у меня в Израиле нет.

— Нет? — улыбнулся по привычке Захарченко и сразу же почувствовал себя увереннее и спокойнее. — Так-таки и нет?

— Нет.

— Любопытно!

Захарченко открыл лежавшую перед ним на столе папку-скоросшиватель, перелистал какие-то бумажонки, снова улыбнулся:

— А вот, между прочим, у меня тут имеется заявление от гражданина Таратуты Семена Яновича. Датируемое двадцатым ноября тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года. И в этом заявлении гражданин Таратута Семен Янович просит, чтоб ему разрешили выехать на его историческую родину в Израиль для воссоединения семьи.

— Но...

— Минуточку! — строго сказал Захарченко. — И тут же, приложенный к заявлению, имеется вызов — он, правда, устарел, но это мелочь, — вызов Семену Яновичу Таратуте от его двоюродного брата Симона Сокольского, проживающего в Израиле, в городе Тель-Авиве, улица Алленби, двенадцать... — Улыбаясь все шире и слаще, он уже без боязни, в упор поглядел на Таратуту. — Как же прикажете все это понимать, Семен Янович? Мне бы не хотелось понимать так, что вы имели намерение нас обмануть!

Таратута подтянул ноги и сказал:

— Ну зачем же — обмануть?! Все это значительно сложнее...

— Правильно! — сказал Захарченко. — Вернее, было сложно, стало просто. Придется мне повторить то, с чего я начал, — ваш вопрос в Москве решен положительно, и вы можете ехать.

— Я не могу ехать, — тихо и растерянно сказал Таратута.

— Можете не можете, а должны! — усмехнулся Захарченко. — Виза, которую вы получите в Москве, действительна пять дней, по восьмое октября. Если вы не уедете седьмого или в крайнем случае восьмого утром — вы будете задержаны как лицо без подданства, нелегально находящееся на территории Советского Союза, со всеми вытекающими отсюда последствиями!

Он победоносно тряхнул головой и не без ехидства сказал:

— Вы спросили меня, Семен Янович, «Бу компрене?». Мы-то, как видите, компрене! А вы?

Наступило молчание.

Таратута, опустив голову, с преувеличенным вниманием разглядывал носки своих заляпанных грязью польских туфель, а Захарченко, скосив на Таратуту глаза, по-прежнему безуспешно пытался припомнить, кого ему напоминает этот очкарик.

Оба они — и Захарченко и Таратута — были сейчас похожи на боксеров в ту короткую минуту отдыха после схватки, когда спасительный гонг развел их по разным углам, и они сидят, расслабившись, жадно глотая воздух, и благодатные руки массажистов разминают им плечи и спину, и влажная губка смачивает им опаленные лица, и что-то нашептывает им секундант, что-то очень важное, но что уже не имеет теперь ни малейшего значения.

Если продолжить это сравнение, то первый ра-

унд сегодняшней схватки совершенно очевидно остался за Василием Ивановичем Захарченко. Но он понимал, что это только начало, что его противник еще не показал все, на что он способен, еще не выложил на стол все свои козыри, не пустил в ход главное оружие.

И, словно почувствовав эти опасения Василия Ивановича, Таратута оторвался от созерцания своих ботинок, вздохнул и сказал:

— Я не поеду. Не хочу... В конце концов, вы не имеете никакого права насильно заставить меня уехать.

— Смотря куда! — сказал Захарченко и значительно поглядел на Таратуту.

— Это что же — угроза?

Захарченко усмехнулся:

— Нет, Семен Янович, это не угроза. Это просто, так сказать, железный факт! Вы же не маленький, вы же, слава богу, прекрасно все понимаете сами! — И тут, чтобы не дать противнику прийти в себя, Василий Иванович заговорил быстро, решительно и деловито: — Значит, сегодня вечером вам нужно будет выехать в Москву. С самолетом связываться не советую — можно застрять, а у вас каждая минута на счету. Сегодня у нас третье, среда, в Москве вы четвертого — и это уже четверг, и у вас, в сущности, остается неполных два дня на все оформление: получение документов в ОВИРе, получение виз в голландском и в австрийском посольствах, билет на самолет до Вены, сдача багажа... Хотя вы человек одинокий, вещей у вас небось не так-то уж много, чемодана два-три...

— Чемодан у меня один! — резко перебил Таратута. — Не в этом дело. Я не хочу ехать. И, кстати, если бы я даже и хотел, я не могу ехать.

— Почему?

Таратута развел руками и с обезоруживающей улыбкой сказал негромко и четко:

— У меня нет денег.

— Что?!

— Нет денег!

Василий Иванович растерялся. Именно этого наипростейшего обстоятельства он не предвидел и не учитывал, готовясь к сегодняшней операции, которой они с Ершовым, развеселившись после звонка в Москву, дали кодовое название «Баба с воза».

— Нет денег? — тупо переспросил он. — Совсем нет?

— Ну, совсем не совсем, — кротко сказал Таратута, — но того, что есть, хватит только на билет до Вены. Вот, пожалуйста... — Он вытащил из кармана бумажник, пересчитал имевшуюся в нем наличность, печально усмехнулся. — Двадцать четыре рубля... Ну и еще рубля на два мелочи. Это наличные. И на сберегательной книжке — сто сорок. И все! А за одну визу, насколько мне известно, надо заплатить четырехста. За выход из гражданства — пятьсот. Это уже девятьсот. Теперь — налог на образование... Или он отменен?

— Не отменен, но имеется указание, чтоб временно не взыскивать, — с убитым видом пробормотал Василий Иванович.

— Ладно, — охотно согласился Таратута, — налог на образование не считаем. Но мне все равно, даже и без налога, недостает — и это по крайней мере тысяча рублей. Как же я могу уехать?

Таратута спрятал бумажник в карман и, еще удержавшись, чтобы не подмигнуть Василию Ивановичу, встал, как бы давая понять, что разговаривать им больше решительно не о чем.

— Подождите, Семен Янович, подождите, не торопитесь! — почти испуганно сказал Захарченко.

— Пожалуйста, — сказал Таратута и сел.

Снова наступило молчание. Только теперь уже Таратута искоса разглядывал Василия Ивановича, а Захарченко, понимая, что второй раунд был проигран им начисто, в пух и прах, лихорадочно соображал, как ему выпутаться из этого глупейшего положения.

Ничего не придумав, он на всякий случай спросил:

— Неужели вам не у кого одолжить?

— У кого, например? — со смешком поинтересовался Таратута.

— Ну, я не знаю... Все у кого-нибудь одалживают. Люди имеют родственников, знакомых.

Таратута печально покачал головой.

— Вот, вот! А у меня, представьте себе, как раз никого — ни знакомых, ни тем более родственников. И, кстати, не кажется ли вам, что все это очень странно: у людей есть родственники и знакомые, есть желание уехать и есть даже деньги, чтобы за это желание заплатить, но им разрешения не дают. А я без денег и никуда уезжать не хочу, и меня прямо-таки выталкивают! Да еще так внезапно! Почему? Зачем? В чем тут секрет?

— Никакого тут секрета нет! — сердито сказал Захарченко. — Заявления на выезд рассматриваются в порядке очереди. Ваше заявление давнее; подошла очередь, рассмотрели, решили — пожалуйста, можете ехать.

— Так ведь мне уже один раз отказали!

— Тогда отказали, теперь разрешили! — еще сердитее сказал Захарченко. — Между прочим, а на что вы тогда рассчитывали, если вы такой бедный? Деньги-то все равно надо было платить.

— Тогда у меня были друзья, которые могли мне помочь. А теперь — одни знакомые. Да и то, знаете, такие, у которых больше чем на пять рублей до по-

лучки не разживеешься. Они сами только и глядят, у кого бы стрельнуть.

— Ну а по пятерке-то они дадут? — деловито поинтересовался Захарченко.

— По пятерке, может быть, дадут.

— Тогда так. — Захарченко задумчиво двумя пальцами оттянул нижнюю губу, посмотрел на Таратуту. — Есть такая поговорка: не имей сто рублей, а имей сто друзей! У каждого друга займешь по три рубля, будет триста рублей! — Он делано засмеялся. — Так вот, Семен Янович, что я хотел бы вам посоветовать...

— Есть и другая поговорка, — резко перебил Таратута, — советы нужны Ротшильду! Ему, Ротшильду, нужен хороший совет, и ничего больше. А нам нужны деньги и еще многое другое! Вы что же думаете, что я буду, высунув язык, бегать, как заяц, по всему городу и одалживать копейки, чтобы ехать в какой-то Израиль за тридевять земель, куда-то... — И вдруг Таратута запнулся.

И вдруг он вспомнил: летние сумерки, могучая старая липа, залезавшая ветвями в открытое окно, и вальс «Дунайские волны», который играл самодеятельный студенческий оркестр в беседке на Чистых прудах. Они — Аглая Николаевна, Адель и Семен — уже несколько вечеров подряд читали вслух, по кругу, колониальный роман Клода Фарера, действие которого происходило в Алжире. И, дочитав последние строчки, Аглая Николаевна отложила в сторону книжку, закурила, помолчала и сказала каким-то внезапно тоненьким, девчоночьим голосом:

— Дальние страны! Дальняя дорога! А я вот никогда, кроме Свердловска, нигде не была... Даже в Болгарии... Теперь все почему-то ездят в Болгарию! Вы непременно, дети мои, непременно должны отправиться когда-нибудь в дальнюю дорогу, в дальние страны! Пообещайте мне, пожалуйста!

И Адель с Семеном дружно ответили:

— Обещаем!

И еще — уже в Одессе — был другой вечер, когда они сидели вдвоем, Таратута и Леня Каплан, в пассажирском порту, на пирсе, а далеко в море — по линии горизонта, как по линейке, плыл белый пароход.

— Синее море, белый пароход! — пропел Леня первую строку из старой, времен гражданской войны, частушки и невесело засмеялся. — Ты знаешь, Семен, мы, одесские Капланы, не семья, а династия. Нас было когда-то так много, что все скрывали день своего рождения. Кого-нибудь не позвать — обидеть, а позвать всех — для этого нужно было снимать по крайней мере Оперный театр. И только однажды на моей памяти вся династия собралась вместе. Это было как раз здесь, на пристани. Мне было тогда лет пять, но я этот день очень хорошо помню. Два моих дядьки — Роман и Лазарь, братья отца, — уезжали в Палестину, в Израиль. А мы их пришли провожать. Прабабушку принесли в кресле, представляешь?! Мой отец и еще один его брат, Натан, так, прямо в кресле, и несли ее по всему городу сюда, на пристань. И вот мы стояли здесь, а Роман и Лазарь — на борту парохода. Мы стояли молча — больше ста человек, наверное. И никто не плакал. А когда стали убирать сходни, Роман — он был старший — крикнул: «Приезжайте! Мы будем ждать!» И с той самой поры Израиль для меня — это страна, куда уплывает из моего детства белый пароход по синему морю и где меня ждет мой дядька Роман! — Леня снова невесело засмеялся, взъерошил пятерней седые волосы. — Между прочим, его убили в сорок шестом году...

И Таратута, чувствуя где-то под ложечкой знакомый озорной холодок, сказал, глядя в упор на Василия Ивановича Захарченко:

— Вот что мне сейчас пришло в голову: а может быть, вы мне одолжите эти деньги?

— Я?! — шепотом от удивления спросил Захарченко.

— Ну, не вы непосредственно, а организация, ведомство, министерство, которое вы представляете. Если вам зачем-то нужно, чтоб я уехал, — вы и платите!

Эти нахальные слова Таратуты произвели на Василия Ивановича Захарченко неожиданно странное действие. Как и вчера, когда они звонили с Ершовым в Москву, удалая кровь казацких предков ударила ему в голову, он весь как-то набылчился, тяжело задышал, уперся кулаками в крышку стола и, с ненавистью глядя на Таратуту, глухо спросил:

— Так сколько, вы говорите, у вас есть?

— Чего? Денег? Денег у меня ровно, как в аптеке, сто шестьдесят четыре рубля сорок копеек.

Василий Иванович сузил глаза, что-то быстро прикинул в уме, грохнул кулаком по столу и решительно — понимая, что катится в пропасть, но не давая самому себе времени, чтоб одуматься, — проговорил:

— Ладно! Давайте так — выкладывайте триста рублей, остальное доложим мы! По рукам?

— А откуда ж я возьму триста рублей? — ухмыльнулся Таратута.

— Сто шестьдесят у вас есть?

— Сто шестьдесят есть. И еще даже — четыре рубля сорок копеек.

— Ну, копейничать мы не будем, — великодушно махнул рукой Захарченко. — Советская власть, как... кое-кто, извините за выражение, из-за копейки не удавится! Сто шестьдесят у вас есть, сто сорок достаньте и — полный вперед!

Таратута вздохнул и пожал плечами:

— А откуда же я достану сто сорок?

— Одолжите. Соберите. Это уж надо быть... я просто не знаю кем, чтоб не суметь в Одессе достать

сто сорок рублей. Ну, ладно, ну, пожалуйста, доложите девяносто, чтоб у вас было ровно двести пятьдесят. Это как раз на самолет до Вены и на обмен валюты... Договорились?

— Опять двадцать пять за рыбу деньги! — еще нахальнее, чем прежде, сказал Таратута и даже позволил себе язвительную улыбку. — Я уже сказал вам — никаких денег я доставать не намерен. Хотите — доплачивайте за меня, не хотите — не доплачивайте.

— Хорошо, — после паузы, тихо, все еще тяжело дыша, сказал Василий Иванович. — Хорошо! — не своим голосом закричал он в припадке сумасшедшего, отчаянного восторга, с которым бросаются голой грудью на колючую проволоку, с которым прадеды его, прасолы, обжулив хмельного бедолагу, рвали черными пальцами рубаху на потной груди, бросали шапку оземь и топтали ее сапогами. Это второе «хорошо» Захарченко прокричал так громко, что за дверью, в приемном зале, откуда все время доносился глухой и ровный, как из предбанника, гул, наступила мгновенная тишина. — Хорошо! — в третий раз, азартно блестя бессмысленно-прекрасными глазами, сказал Василий Иванович. — Идите собирайтесь. Поезд в Москву отходит в двадцать два пятнадцать. Билеты вам доставят прямо в гостиницу. Завтра, по приезду в Москву, вам следует... Впрочем, я скажу инструктору — он вместе с билетом передаст вам памятную записочку — что, где, когда... Вот и все, до свиданья, идите! — Он сгорбился, обмяк, опустил сразу погасшие глаза и почти попросил: — Идите! Идите, чтоб я вас больше не видел.

Таратута встал, потоптался на месте, оглядел кабинет Василия Ивановича и, вспомнив рассказ месье Раевского, спросил:

— Между прочим, вы не знаете — а что здесь, в вашем помещении, было до революции?

Не поднимая глаз, Василий Иванович Захарченко ответил скорбно и глухо:

— Здесь — был всегда сумасшедший дом!

7

Итак, он уезжает.

И это не придремалось, не причудилось, не пригрезилось. Дальняя дорога, как Валя-часовщик, перешла из сна в явь, и вот она лежала на столе в конверте — дальняя дорога, шестерочка пиковая, билет на скорый поезд Одесса—Москва, отправление третьего октября, в двадцать два пятнадцать, пятый купейный вагон, место одиннадцатое, нижнее.

И вещи, уже готовые тронуться в путь, стояли рядком на незастеленной постели — чемодан, пережатый ремнем, вещевой мешок и авоська, нейлоновые ручки которой Таратута благовидно обмотал и стянул носовым платком.

«Без авоськи — ни шагу! — подумал он. — Еще ни один советский человек, сколько бы чемоданов он с собою ни вез, не сумел обойтись без авоськи!»

Билет на поезд вместе с памятной запиской, составленной инструктором ОВИРа, принесли ему в гостиницу уже в полдень.

На то, чтобы уложить вещи, понадобился час — он, кстати, большую часть этого времени потратил на то, чтобы хоть как-то замести следы вчерашней вальпургиевой ночи и разыскать под креслами и диваном раскатившиеся с опрокинутой доски шахматные фигурки. Одну белую пешку он так и не нашел. Жаль пешку! Прощай, пешка!

«Пешки — не орешки», как любил говорить доктор Тарраш!» — вспомнил он дурацкое присловие, которое услышал впервые в Московском шахматном клубе от длинноносого и длинноногого мастера, обу-

чавшего их, мальчишек-перворазрядников, теории пешечных окончаний.

Тогда ему, Таратуте, довелось получить от мастера поощрительный щелчок по лбу за то, что он сумел решить знаменитый этюд Рети, где белый король в одиночку героически борется на два фланга с черным слоном и проходной пешкой. Прощай, пешка!

В памятной записке среди прочих ценных указаний и советов был и такой: «Не заходите без особой надобности на работу, в железнодорожный техникум. Кто надо, поставлен в известность, — говорилось в записке, — а лишние разговоры ни к чему!»

Вот и хорошо! Вот и превосходно! И нечего ему туда заходить, и нечего ему там делать, в этом железнодорожном техникуме! Прощай, железнодорожный техникум!

Да, ну а все-таки, а что ему делать в эти последние оставшиеся до поезда девять часов? Куда их девать? Как ими распорядиться?

Все, что с Таратутой случилось вчера и сегодня, случилось так внезапно, так оглушительно неправдоподобно, что он еще не успел понять, не успел разобраться, радоваться ему или печалиться, негодовать или покорно плыть по течению.

Там, в кабинете Захарченко, в ОВИРе, он словно бы смотрел на все со стороны, словно бы играл в старую детскую игру — «Барыня прислала сто рублей, что хотите, то купите, «да» и «нет» не говорите, черного и белого не покупайте!».

Выиграл он или проиграл? Или, что больше всего похоже на истину, ничья повторением ходов? Должно быть, ничья. Ничья хотя бы уже потому, что пусть они — всегда безликие и безымянные (даже если и были у них имена и лица), — пусть они добились своего и вроде бы выиграли, но, во-первых, он заставил их самих заплатить за выигрыш, а во-вторых, если

уж говорить совсем откровенно, то он-то ничего, в сущности, не терял.

Его случай был особым случаем. Он уже прожил три жизни — в Свердловске, в Москве, в Одессе.

И это не было этапами, ступеньками, главами одного и того же существования, нет, это были именно три отдельные жизни, не имевшие почти никакого касательства одна к другой. И только вторая — московская — жизнь оставила по себе пронзительную и светлую память, а Свердловск и Одесса просто-напросто были и прошли.

Он усмехнулся. Еще не начиная прощаться, он уже простился с Одессой.

В дверь постучали.

— Да? — сказал Таратута. Вошла Лидия Феликсовна.

Она молча кивнула Таратуте и, надменно поджав тонкие сухие губы, принялась проверять инвентарные номера — круглые металлические бляхи, прибитые к спинке дивана, к ручкам кресел, к ножке стола и к абажуру настольной лампы.

Эти инвентарные номера были почему-то предметом особой заботы Лидии Феликсовны, словно она подозревала постояльцев, что они только о том и думают, как бы им подменить гарнитур «Дружба народов» Рижского мебельного комбината на гарнитур «За мир и дружбу» Харьковского комбината или вообще на какую-нибудь безвестную рухлядь.

Обычно Лидия Феликсовна приносила с собой толстую канцелярскую книгу и дотошно сверяла номера на инвентарных бляхах с номерами, записанными в книге. Но сегодня она ограничилась беглым осмотром. Так же наспех, небрежно и халтурно, проверила она одеяло, простыню, пододеяльник и наволочку, которые были проштемпелеваны с четырех сторон огромными черными, навеки несмываемыми печатями.

— Кодекс кодексом, — говорил Леонтий Кузьмич Верченко, намекая на «Моральный кодекс строителей коммунизма», — но с клеймом — оно, знаешь, надежнее! Не сопрут и на барахолку не стащут!

Закончив осмотр номера, Лидия Феликсовна направилась в ванную.

— Не крал, не крал, честное слово! — закричал ей вслед Таратута. — Полотенца не крал, зеркало над умывальником не свинтил, туалетной бумаги целый рулон оставил!

— Вы напрасно острите, — снова появляясь в комнате, сказала Лидия Феликсовна. — Вы сдаете номер, а я обязана его принять. И, между прочим, недостает одного стакана.

— Подумаешь, стакан! — сказал Таратута. — Я выйду сейчас и куплю.

Лидия Феликсовна иронически подняла брови:

— Как это у вас все просто — выйду, куплю... Вы вот выйдете, а тут как раз ревизия! Обнаружат недостачу, кто виноват? Лидия Феликсовна виновата! Нет уж, гражданин Таратута, я должна составить акт.

— Составляйте, — вздохнув, сказал Таратута. Лидия Феликсовна подумала, зябко поежилась и неожиданно махнула рукой:

— А-а, ладно, бог с ним — со стаканом!

Она присела на валик дивана, снизу вверх, слегка наклонив голову, поглядела на Таратуту:

— Значит — уезжаете?

— Уезжаю, — сказал Таратута.

— А где вы будете жить?

— Пока не думал, — улыбнулся Таратута. — Все это, знаете, так внезапно... Ну, буду, наверное, где-нибудь жить... Но ведь хочется и мир поглядеть.

— Это верно! — кивнула Лидия Феликсовна и, помолчав, добавила: — Может быть, даже и в Финляндии будете?

— Вполне возможно, — сказал Таратута. — А у вас там знакомые есть? Родственники? Хотите что-нибудь передать?

— Нет, нет, нет, — испуганно затрясла головой Лидия Феликсовна. — Что вы?! Откуда?! Я никого не знаю... Я только знаю, что там есть водопады. И господин Кекконен.

Она поспешно встала, протянула дощечкой руку:

— Ну, до свиданья! Счастливого вам пути!

— Мы еще увидимся — мой поезд вечером, — сказал Таратута и, наклонившись, поцеловал Лидии Феликсовне руку.

Она хотела ее отдернуть, но не отдернула, прикрыла на мгновение глаза, тихо сказала:

— Спасибо! — Потом она вдруг спохватилась: — Ой, совсем из головы вон... Вас непременно просил зайти к нему Леонтий Кузьмич!

Кабинет Леонтия Кузьмича Верченко, заместителя директора гостиницы «Дружба», помещался на втором этаже, рядом с буфетом.

Когда Таратута вошел, Леонтий Кузьмич стоял в мрачном и глубоком раздумье, держась одной рукой за дверцу несгораемого шкафа. Одет он был, как всегда, причудливо и небрежно — без пиджака, в клетчатой рубашке, расстегнутой на могучей груди, в допотопных диагональных галифе, заправленных в толстые, деревенской вязки, шерстяные носки.

Увидев Таратуту, Леонтий Кузьмич просиял:

— А я, понимаешь, стою и думаю — рано еще или пора... Ну, а уж коли ты пришел, то, как говорится, сам бог велел!

Он открыл тяжелую дверцу, достал из несгораемого шкафа бутылку «Столичной», тарелку с солеными огурцами и кислой капустой, перенес все это добро на стол и сказал:

— И не вздумай отказываться. Без посощка на дорожку я тебя все едино не отпущу!

Он сел, выдвинул рывком ящик письменного стола, достал две пластмассовые стопочки — голубую и красную, себе налил в голубую, а Таратуте, как гостю, придвинул красную.

— Ну, будь!

И только теперь Таратута заметил, что Леонтий Кузьмич не то успел уже изрядно поддаться с утра, не то еще не протрезвел с вечера.

— Давай, Семен!

Выпили. Покряхтели. Деликатно закусили огурчиком и кислой капустой. Верченко поискал глазами, обо что бы ему вытереть мокрые пальцы, не нашел ничего подходящего и вытер их об усы.

— Хитер! — сказал он и одобрительно подморгал Таратуте. — Хорошо, мне из ОБИРа позвонили, а то я бы и не знал.

— Я и сам не знал, — сказал Таратута.

— Хитер, хитер! — продолжал тягуче Леонтий Кузьмич и вдруг, наклонившись, сказал свистящим заговорщицким шепотом: — А я ведь тоже, между прочим, кое-где был, веришь — нет?! В Кон-станти-но-по-ле! — произнес он по слогам и засмеялся. — Нас всей бригадой в каботажное плавание брали. На «Михаиле Лермонтове». Ну, приходим в Константинополь, а нам — увольнительную на берег, на шесть часов... Веришь — нет?! А в Константинополе этом знаешь чего пьют?! Они, черти маринованные, денатурат пьют. И не скрывают. Так прямо на бутылке и нарисовано — череп и две кости! Ну, мы, как на берег сошли, взяли по бутылке на личность, выпили тут же, на пирсе, и закосели... Хотим добавить, а денег не хватает. Ну, мы обиделись и на корабль вернулись, часа не прошло. Нас помполит хвалил потом за это и другим в пример ставил. А что, Семен, в Израиле пьют?

— Понятия не имею, — сказал Таратута. — Я далеко не уверен, что там вообще пьют.

— Ну как это может быть? — удивился Леонтий Кузьмич и даже слегка пригорюнился. — Ну зачем ты, Семен, такие глупости говоришь?!

— Жарко там очень. Я вот читал, что...

— Ты за прошлое читал! — перебил Леонтий Кузьмич и снова повеселел. — Ну, раньше они возможно что и не пили. А уж теперь, когда наши туда понаехали... И это, знаешь, не важно — евреи, не евреи... Важно, что советские! А жара, я тебе скажу, так это хорошо даже. Жара — она только крепости добавляет! Ты мне пиши оттуда, Семен. Ну, что пьют и как пьют — это, может быть, цензура не пропустит, а ты напиши: извини, мол, Леонтий, ошибался. И я пойму! Напишешь?

— Напишу, — пообещал Таратута.

— Леонтий Кузьмич! — В дверях, ведущих из кабинета прямо в буфет, появилась растрепанная пожилая буфетчица (похожая сразу на всех трех ведьм из пьесы «Макбет» английского драматурга Шекспира, как сказал бы месье Раевский) и прокричала с рыданиями в голосе: — Леонтий Кузьмич, сил моих больше нет, тут вас требуют!

— А что случилось?

— А ничего не случилось! Муха тут одному, видите ли, в кофий попала...

Леонтий Кузьмич нахмурился:

— Муха? Ну и что? Ну а я при чем?

— А он велит, чтоб жалобную книгу принести. А я ему говорю, что книга у вас.

Буфетчица всхлипнула.

— Ну, тихо, тихо, Тамара! — сказал Верченко, тяжело поднялся, провел по лицу растопыренными пальцами, словно сдирая с себя хмель. — Извини, Семен! Попроцаться — и то не дадут. Аристократы, мать их растак! Он мухою, понимаешь, брезгует, ему за двенадцать копеек бабочек подавай!

А дождик, ливший всю ночь и все утро, к полудню, как ни странно, прошел. И в разрывах облаков появилась подсвеченная золотом голубизна, и Одесса в одно мгновение посветлела, похорошела.

Таратута медленно шел, заложив по привычке руки за спину, насвистывал, глазел по сторонам. Ему было почему-то грустно, хотя он и не хотел себе в этом признаться. Вернее, запретил.

За все годы, что прожил он в Одессе, он так и не сумел полюбить этот город.

Разумеется, он проникался по временам прелестью его прозрачных вечеров, морскими томительными закатами и шуршаньем каштанов; его восхищала забавная одесская речь — певуче-ленивая, с лукавыми, всегда вопросительными интонациями, речь настолько своеобразная и соблазнительная, что он и сам охотно ей подражал; его восхищала непоколебимая уверенность одесситов в том, что все у них самое лучшее — лучший Оперный театр, лучшая глазная больница, лучший Приморский бульвар, лучшая главная улица и уж, конечно, лучшие женщины, воры и музыканты.

И он готов был даже с ними согласиться, но все-таки полюбить Одессу не мог. Ему было неуютно в этом городе, скучно, одиноко.

Впрочем, ему, наверное, всегда будет одиноко, всюду, где нет Адели. Но об этом он и вовсе запретил себе думать. Раз и навсегда.

Он внезапно остановился и постарался вспомнить, хорошо ли он уложил единственное свое сокровище — «Декабриста Лунина». Кажется, хорошо. В картонную коробочку, набитую ватой, а сама миниатюра завернута в папиросную бумагу в несколько слоев, можно не волноваться.

На Приморском бульваре, радуясь неожиданно просветлевшему дню, сидели на скамейках чинные молчаливые старики. Это были не бездельники-пен-

сионеры — часы пенсионеров и домино наступали позже, — это были деловые люди, знаменитые продавцы «слова».

Необычайный этот промысел, единственный и неповторимый, родился в Одессе в первые послевоенные годы и дожил до наших дней, то затухая, то разгораясь снова до жара и яркости адского пламени.

«Слова» делились на множество групп, видов и подвидов: «слова» женские, мужские и детские, «слова» продовольственные, «слова» особые.

В этом последнем подвиде больше всего ценились такие «слова», как «телевизоры», «холодильник», «бритвенные лезвия», «ковры» и «пылесос».

Сам процесс покупки-продажи «слова» происходил так:

— У кого есть мужское «слово»? — спрашивал покупатель.

— У меня есть мужское «слово»! — отвечал продавец.

— На когда?

— На сегодня.

— Почему?

Продавец пожимал плечами:

— Смотря какое «слово» вам нужно.

Покупатель, оглянувшись, чтоб убедиться, что никто не подслушивает, ронял сквозь зубы негромко:

— Обувь. Есть?

— Есть. Только «слово» «обувь» стоит сегодня полтора рубля.

— Почему так дорого?

— Потому что очень хорошее «слово». Зимнее. Импортное. Уверяю вас, вы будете гулять с вашей дамочкой или бежать за трамваем — и вы будете вспоминать меня, такое я вам продам «слово»!

— Ну, ладно.

Покупатель платил полтора рубля и получал в обмен бумажку, на которой бисерным почерком было

написано: «В три часа дня в специализированном магазине «Обувь», у вокзала, будут в продаже чешские зимние ботинки от сорокового до сорок четвертого размера. Заведующую мужской секцией зовут, на всякий случай, Нина Петровна».

Откуда продавцы «слова» получали эти сведения, не знал никто, но в достоверности их можно было не сомневаться. Человек недобросовестный, уличенный во вранье, изгонялся беспощадно и навсегда из великого ордена продавцов «слова». Даже малейшая неточность и та каралась лишением права торговать на шесть месяцев.

Поравнявшись со стариками, Таратута поднял руку в торжественном салюте:

— Братский привет народам Африки, Азии и Латинской Америки, борющимся за свою независимость и свободу!

Старики добродушно закудахтали, и один, с седой эспаньолкой, сказал:

— Молодой человек, есть особое «слово» — пальчики оближешь!

Таратута остановился:

— Телевизор?

— Нет.

— Холодильник?

— Послушайте, молодой человек, вы же не знаменитая парижская гадалка мадам Ленорман и не бюро прогнозов! Заплатите два рубля, и вам не нужно будет ломать себе голову!

Таратута подумал и сказал:

— Прошу учесть, что лично я вообще уезжаю и мне ничего не нужно. Но я готов внести два рубля на поддержку справедливой борьбы за свободу и независимость!

Он вытащил из кармана кошелек, отсчитал мело-

чью два рубля и получил от старика с эспаньолкой сложенную «фантиком» бумажку.

Таратута развернул ее, прочел, засмеялся.

— Нравится?

— Очень! — Он поклонился. — Спасибо и до свиданья.

— До свиданья! — хором ответили старики. — Желаем счастья!

Прощайте, продавцы «слова»! Прощай, Приморский бульвар, и прославленная лестница, ведущая от бульвара в порт, и Воронцовский дворец! Прощайте и не вспоминайте лихом!

У будки телефона-автомата он слегка замедлил шаги, раздумывая, кому позвонить, попрощаться. Он даже приготовил двухкопеечную монету, но, перебрав в уме всех своих одесских знакомых, с удивлением понял, что звонить-то ему некому. Каретниковы были на работе, Майзель в командировке, а у Алеши Тучкова телефона нет.

«Лучше просто к нему заехать», — подумал он и тут же решительно прогнал эту мысль.

Этого делать нельзя, это опасно. Вот уже пять лет пытался Алеша получить инвалидную коляску, вел по этому поводу бесконечную переписку с Министерством здравоохранения, собирая сотнями справки, характеристики, ходатайства; ему наконец обещали, что к весне он будет внесен в список тех, кто действительно в таковой коляске нуждается, а там, глядишь, через год-полтора он ее и впрямь получит; и как бы не повредил ему, как бы все это не порушил прощальный визит Таратуты.

Нет, не надо заезжать к Алеше Тучкову! Прощай, Алеша Тучков!

Опыт всех трех его прошлых жизней — в Свердловске, в Москве, в Одессе — научил Таратуту нехитрому правилу: если случается с тобою что-то неожиданное и непонятное, если вмешиваются в твою судь-

бу силы неведомые, грозные и есть подозрения, что называются эти силы именем коротким и черным, которое, как имя черта, не принято произносить к ночи, — замкнись и не впутывай в твои дела других (друзей особенно), не звони, если не звонят они сами, не навещай, не тревожь, чтоб не говорили потом, чтоб не жаловались, что ты их подвел.

Прощай, Алеша Тучков!

Но в будку телефона-автомата Таратута все-таки зашел, опустил монетку в отверстие, снял трубку, набрал номер и, услышав щебечущее «алло», сказал:

— Маргоша, привет! Это Семен.

— Ой, Любочка, милая, здравствуй! — пропела Маргоша, Маргарита Николаевна, товарищ Озерская, артистка Одесского театра оперетты. — Здравствуй, Любаниа! Ты где же это пропадаешь?!

— Все ясно! — сказал Таратута. — Господин супруг и повелитель дома. Жаль. А я уезжаю и думал, что мы с тобою где-нибудь встретимся и пообедаем вместе!

— Не могу, Любочка, не могу никак. Сережа прихварывает, а у меня еще спектакль сегодня, и я...

— Ладно, ладно! — сказал Таратута. — Ну что ж, могу оказать тебе на прощанье небольшую дружескую услугу. В пять часов вечера в универмаг на Пушкинской, в отдел кожгалантереи, поступят в продажу польские чемоданы и сумки. Прощай, Маргоша!

Маргоша охнула, а Таратута повесил трубку, выбрался из будки телефона-автомата, повздохнул, покрутил головой и побрел по улице Карла Маркса по направлению к Дерибасовской.

«Я сижу в своей подворотне на улице Карла Маркса...» — припомнились ему слова Вали-часовщика, и тут же, словно по заказу, он увидел и эту самую подворотню, и вывеску «Часовая мастерская, ремонт и починка». Но на дверях мастерской висел огромных размеров, похожий на гирию замок, к которому

шнурком от ботинок была привязана записка: «Ушел на базу».

Снизу зеленой тенью для ресниц кто-то успел приписать: «Ну и х... с тобой!»

«Так я, стало быть, и не узнаю, какая разница между починкой и ремонтом», — подумал, усмехаясь, Таратута и поглядел на часы.

Было четырнадцать часов пятнадцать минут. До отъезда еще оставалось восемь часов.

Ровно через восемь часов он будет стоять у окна вагона, и услышит негромкий свисток, и увидит, как внезапно откачнется назад перрон...

8

Он стоял в вагоне, у окна.

Раздался негромкий свисток, и Таратута увидел, как откачнулся и поплыл назад перрон, и столб с электрическими часами, и уныло сторбившийся носильщик с тележкой, а Валя-часовщик и Толик с Валериком пошли рядом с вагоном, всё убыстряя и убыстряя шаги, и что-то кричали ему, размахивая руками и улыбаясь.

Когда Таратута приехал на вокзал, они уже ждали его на платформе, у пятого вагона. Впереди, в излюбленной наполеоновской позе, скрестив на груди руки, стоял Валя-часовщик, а сзади, нагруженные какими-то свертками, переминались с ноги на ногу Валерик и Толик.

— А мы уже начали волноваться! — сказал Валя-часовщик. — Я хотел подвезти вас к поезду! Звоню в гостиницу, мне говорят — он уехал! Мы мчимся сюда — вас нет... Где вы пропадали, Семен Янович?

— Искал такси, — сказал Таратута и с удивлением поглядел на Валю-часовщика. — А как вы вообще узнали, что я уезжаю?

— Семен Янович, дорогой...

Валя-часовщик криво улыбнулся, и лицо его на какую-то долю секунды — как вчера на банкете в ресторане «Волна» — стало серьезным и даже немножко печальным.

— Если бы я не знал обо всем, что случается в этом городе, за час до того, как это случается, я бы уже давно не гулял на воле и не имел бы счастья с вами познакомиться! — Он тряхнул головой и, переменяв тон, деловито спросил: — Это все ваши вещи?

— Да.

— Хорошо. Тогда так...

Он обернулся и поманил пальцем Валерика с Толиком.

— Мальчишки отнесут вещи в вагон, всё положат, всё устроят, а мы с вами немножко прогуляемся. О'кей, мальчишки?

— О'кей! — в один голос ответили Валерик и Толик.

Они поклонились Таратуте, взяли у него из рук чемодан, вещевой мешок и авоську, но почему-то не полезли в вагон, а направились легкой трусцой куда-то в конец состава.

— Эй, куда они? — дернулся Таратута. — Вот же пятый вагон.

— Семен Янович, не волнуйтесь! — сказал Валя-часовщик. — Вы едете в мягком. Я прямо удивляюсь на этих деятелей из ОВИРа! Такого человека они сажают в жесткий вагон, крохоборы! Но все в порядке — мы уже договорились с проводником!

— Да? — Таратута озабоченно сдвинул брови: — А сколько нужно доплатить?

— Ничего не нужно доплачивать! — весело сказал Валя-часовщик, и на щеке его заиграла детская ямочка. — Проводник — свой человек. Вы будете с ним ехать, как с родной тетей! Идемте!

Он взял Таратуту под руку, они пошли следом за Валериком и Толиком в конец состава, к мягкому вагону, мимо почти странно пустого поезда, мимо не-

многочисленных провожающих и уезжающих, стоящих на ступеньках и на площадках вагонов.

Стрелка на круглых электрических часах перепрыгнула с десятой минуты на одиннадцатую.

— Семен Янович, хочу вас просить сделать мне небольшое одолжение! — сказал, понизив голос, Валя-часовщик. Он вытащил из кармана пиджака почтовый конверт без марки, протянул его Таратуте: — Возьмите. Это письмецо нужно передать... Там, на конверте, все написано — и телефон и адрес. Но лучше не звонить, а просто зайти. Вернее, обязательно нужно зайти. Есть в Москве такой художник — Лев Андреевич Ушаков. Говорят, что он очень известный художник, но это не имеет значения. Он приезжал в прошлом году в Одессу. Нас с ним познакомили; прямо скажу, что любви у нас не получилось, но он меня просил, чтоб я ему кое-что достал, я, конечно, достал, но это тоже не имеет значения. Вы просто передадите ему письмецо, он живет в центре, у площади Маяковского, много времени у вас не отнимет. Теперь скажите мне, Семен Янович, откровенно: куда вы полетите из Вены? В Рим или в Тель-Авив?

Таратута поглядел на Валю-часовщика, хмыкнул, покачал головой, проговорил медленно и задумчиво:

— Куда я полечу из Вены? В Рим или в Тель-Авив? Еще вчера я думал, хорошо бы съездить в Ленинград, и понимал, что это далеко и сложно. Мне всегда казалось, что мир кончается где-то у пограничной станции Брест, а остальные части света пририсованы просто так, для красоты... Одним словом, Валя, если я действительно окажусь в Вене, то из Вены я полечу в Тель-Авив.

Валя-часовщик кивнул:

— Я почему-то был совершенно уверен, что вы ответите именно так. Но очень важно, Семен Янович, очень-очень важно, чтоб вы не забыли сказать об этом Ушакову! А-а, вот и мальчики!

Валерик и Толик стояли у мягкого вагона вместе с каким-то бородатым молодым человеком в железнодорожной форме. Оказалось, что это и есть тот самый проводник, с которым Таратуте предстояло ехать до Москвы, как с родной тетей.

— Все в порядке? — спросил Валя-часовщик.

— Все в порядке! — ответили Валерик и Толик. — Третье купе, любое место.

Стрелка часов прыгнула с двенадцатой минуты на тринадцатую.

— Прошу, — сказал проводник.

— Ну, Семен Янович! — сказал Валя-часовщик, коротко обнял Таратуту и подтолкнул его к ступенькам вагона. — Счастливого пути! Помните, как сказал вчера Ваню, — гора с горою не сходится, а человек с человеком сходится. Может быть, мы еще встретимся! Счастливого пути!

— Счастливого пути, Семен Янович! — крикнули негромко Валерик и Толик.

Он стоял у окна, а они шли рядом с вагоном, все убыстряя и убыстряя шаги, и что-то кричали ему, размахивая руками и улыбаясь. А потом они отстали, перрон кончился, и в последнем пучке света возникла и уплыла назад надпись: «Одесса».

Прощай, Одесса!

Таратута вздохнул, вошел в купе, снял пальто, огляделся.

Вещи его — чемодан и мешок — мальчишки подняли наверх, авоську оставили внизу, а на столике в живописном беспорядке, как игрушки под елкой, лежали два блока американских сигарет «Мальборо», бутылка английского джина, коробка чешских конфет и польский дорожный несессер из свиной кожи.

— Сумасшедшие психи! — вслух сказал Таратута и сел.

Он внезапно почувствовал, что смертельно ус-

тал, голоден, оглушен, что он все еще не в состоянии понять — что же это с ним произошло и чем все это кончится.

Ему захотелось курить, но открывать «Мальборо» он не стал, а вытащил смятую пачку болгарской «Шипки», встряхнул ее, вытянул зубами сигарету.

И тотчас же, словно из-под земли, появился в открытых дверях купе проводник и протянул Таратуте зажженную спичку.

— Спасибо, — сказал Таратута, прикурил и решил, что он больше ничему удивляться не будет.

— Чаек согреть? — спросил проводник.

— Позже, — сказал Таратута. — Я, знаете, съел бы чего-нибудь...

— А ресторан рядом, — сказал проводник, — вы ступайте, пока народу немного, поужинайте. А я вам тем временем постельку постелю и чаек поставлю. Ступайте.

В вагоне-ресторане было и вправду почти пусто. Только за крайним, у входа, столиком сидела компания пожилых и каких-то на редкость, как на подбор, некрасивых мужчин. Мужчины пили пиво и молча наблюдали за тем, как одна из официанток, взобравшись на стойку, снимала с верхней полки буфета картонные коробки и передавала их буфетчице, румяной толстухе в вышитой украинской кофте. Вторая официантка — кривая на один глаз, но с модной прической, называемой в просторечии «вшивый домик», — стояла рядом и зевала.

Таратута сел у окна, включил настольную лампу, постучал ножом по краю бокала.

Кривая официантка обернулась, подошла, укоризненно проговорила:

— Только сели, а уже стучите! Вам пива?

— Нет, — сказал Таратута. — Я хочу есть.

Он раскрыл меню.

— Что вычеркнуто, того нет, — предупредила официантка.

— Так у вас тут почти все вычеркнуто.

— Что вычеркнуто, того нет, — туло и привычно повторила официантка.

— А что же есть?

— Холодное, горячее?

— Горячее.

— Гуляш, — сказала официантка и вздохнула.

— А еще?

Официантка, сдерживая зевоту, ничего не ответила.

— Ну ладно, давайте гуляш.

— Один гуляш, — сказала в пространство официантка. — Что будем пить? Коньячок? Водочку?

— Какой у вас коньячок?

— Молдавский. Пять звездочек.

— Ого! — сказал Таратута. — Ну хорошо, принесите сто пятьдесят.

— Коньячку сто пятьдесят, — бросила на ходу официантка буфетчице и поплелась на кухню.

Таратута покачал головой, раздвинул от нечего делать шелковую, в сборку занавеску на окне, поглядел в запотевшее стекло.

За окном была темень, редкие огоньки.

Дальняя дорога — шестерочка пиковая — вечер, поезд, огоньки. Все как в песне. И, как в песне, у Таратуты вдруг непонятной тревогой заньло сердце.

Она была сочинена в России, эта песня, и только в России, с немислимыми ее расстояниями, могут люди оценить и понять слова:

Вечер, поезд, огоньки,
Дальняя дорога.
Сердце ноет от тоски,
А в груди тревога...

Ну в самом деле, ну что такое для европейцев дальняя дорога, когда, к примеру, от Парижа до Осло

(«на край света», как говорят парижане) всего-то пути ночь до Копенгагена, там пересадка, еще несколько часов — и Осло.

А суток пять или шесть не угодно ли? И это еще хорошо — бывает, что и подольше; бывает, что и по месяцу, если не по два!

И отправляются в такую дорогу не с одним, как европейцы, немудрящим чемоданчиком или сумкой, а с мешками и корзинками, с баулами и сундуками, с неизменным и обязательным чайником, чтоб выбежать на остановках за кипятком, с ножами, и ложками, и солью в тряпице; и даже ночью, извините за выражение, посудой, если берутся с собою в дорогу малые дети или такие старики, что вот-вот, не ровен час, отдадут богу душу.

И каких только разговоров, каких только былей и небылиц не наслушаешься в этой дороге! Неторопливо течет беседа, и кажется, что нет ей ни конца, ни начала, ни смысла.

Свесится с верхней полки чужой человек, послушает — и не поймет ничего.

— А Ленька-то тыр-пыр, а все равно своя рубашка ближе к телу, верно я говорю?

Но ответят не сразу. Ответят после паузы. А в паузе этой и чайку попьют, и по нужде сходят, и подумают, и пробежит поезд еще с десятков километров; и когда чужой человек уже и про вопрос-то забудет, тогда только наконец последует ответ:

— Оно, конечно, верно, но ведь и ей — Вологда Вологдой, а интерес иметь надо!..

Вот и пойми!

И куда бы ты ни ехал, как бы ни ехал — в теплушке или международном спальном вагоне, где красное дерево, бархат и зеркала, — в какую-то минуту, самую внезапную, непременно настигнет тебя тоска.

«Тоска вагонная, железная» — это тоже недаром сочинено в России.

В ранние сумерки или на рассвете ты выглянешь в окно — твой поезд притормозил на каком-то разъезде, — и ты увидишь домик, маленький, неказистый, с покатою крышей и цветастыми занавесками.

А на крыльце стоит молодая женщина, простоволосая, в ситцевом платье и в мужских сапогах на босу ногу. Одной рукой она держится за перила крыльца, а в другой руке у нее свернутый флажок — не разберешь, какого цвета.

И ты подумаешь о том, что никогда в жизни не узнаешь, как зовут ее, кто она, о чем думает. Никогда, никогда не повторится это мгновение — и все это вроде бы вздор и не стоит памяти, — но у тебя почему-то зайдет сердце от мысли о необратимости времени и о том, какое великое множество людей, живущих в одни с тобой годы, на одной и той же земле, никогда не слышали и не услышат о тебе, не узнают твоего имени, они пройдут, и уйдут, и не обратят внимания на то, что ты тоже существовал.

— Вот так встреча на Эльбе! — пропел над головой Таратуты тоненький голос.

Он поднял глаза и, хоть и дал себе слово ничему больше не удивляться, все-таки удивился.

Перед ним в кружевном, не первой свежести фартуке стояла та самая вчерашняя чернявенькая девочка с черной челкой и зелеными глазами, та, из «джинсовой» компании, из прошлой жизни.

— Батюшки! — сказал Таратута. — Действительно — встреча!

— А я вчера весь вечер ждала, думала, что вы позвоните.

— Не мог, — коротко, не вдаваясь в подробности, ответил Таратута. — Между прочим, я ведь забыл спросить, как вас зовут?

— Алла.

— Прекрасно! Рад видеть вас, Аллочка!

— Я тоже. Вы ужинать будете?

— Да. Но я уже заказал.

— Кому? Лизке? Гуляш?

— Да.

— Вот падла! — искренне возмутилась Алла. — Этот гуляш ни один человек в здравом уме и твердой памяти есть не может. Мы его специально для алкашей держим, которым все равно, было бы во что вилкой тыкать.

Она наморщила лоб, подумала и, неожиданно переходя на «ты», спросила:

— Ты как к омлету с ветчиной относишься?

— Вполне положительно, — сказал Таратута. Она улыбнулась, кивнула — черная челка взметнулась вверх и снова упала на глаза, — сказала:

— Не скучай! Через пять минут я вернусь!

Вернулась она хоть и не через пять минут, но все-таки довольно быстро, принесла омлет, коньяк, хлеб и от себя добавила порцию маринованной селедки и бутылку боржомии.

— Я быстро, да? — спросила она с наивным хвастовством. — Знаешь, когда сезон, никто быстрее меня не обслуживает. Лизка только с первой сменой рассчитывается, а у меня уже вторая ест. Я тебе селедочки еще принесла, ничего? Конечно, селедка под коньяк не очень-то, лучше бы водочка...

— Хорошо, хорошо, — сказал Таратута. — Все в порядке. У нас без предрассудков, у нас не только коньяк, шампанское селедкой закусывают...

— Ну и ладушки! — засмеялась Алла и приказала: — Ешь, не буду тебе мешать.

— Ой нет, погоди! — попросил Таратута. — Посиди со мной, а? Или не полагается?

— Вообще-то, конечно, не полагается...

Засунув руки в кармашки фартука, она покачалась на каблуках, прищурилась, негромко сказала:

— Ладно. А если кто спросит, скажи, что ты мой двоюродный брат.

Она присела на краешек стула, помолчала, стряхнула со скатерти какие-то невидимые, скорее всего воображаемые крошки, быстро взглянула на Таратуту и тут же снова опустила глаза.

— Ты слышал? Между прочим, твой Лапидус пришел сегодня домой!

— Это точно?

— Совершенно точно.

— Интересно! — сказал Таратута, хотя вовсе это было ему неинтересно, потому что и сам Лапидус, и вся его история стали уже тоже вчерашним, прошлым, не имеющим смысла, но он все-таки повторил: — Очень интересно. — И поднял бокал с коньяком. — Ну, если так, то со свиданьем, Аллочка, и за благополучное возвращение Лапидуса!

— Чин-чин! — пропела Алла.

Таратута отхлебнул большой глоток, с шумом выдохнул воздух. У него закружилась голова, и он подумал: «Это, наверное, с голода. Я ведь, оказывается, ничего не ел со вчерашнего вечера».

Он отхлебнул еще глоток, посмотрел на Аллу, и ему показалось, что зеленые ее глаза побежали ему навстречу. Он слегка наклонился вперед и накрыл ладонью ее руку.

— Ужасно я рад, Аллочка, что мы все-таки встретились. Ты мне сразу понравилась! Ты красивая, умная...

«Господи, что я несу?!» — подумал он, но уже был не в силах остановиться.

— У тебя глаза умные... Слушай, а как ты здесь оказалась?

— Где — здесь? — не поняла Алла.

— Ну, в ресторане. Я думал, ты учишься или... Неужели не могла найти себе места получше?

— Получше? — Алла насмешливо покачала головой. — Ах, миленький, много ты понимаешь! Да ты знаешь, за то, чтобы получить это место, люди по тысяче рублей платят. И еще спасибо говорят, в ножки кланяются.

— Почему?

Алла пожала плечами:

— Зарботки хорошие.

Таратута снял очки, повертел в пальцах и, забыв протереть их, снова надел.

— Чаевые?

Алла скорчила презрительную гримаску:

— Чаевые! Скажешь тоже... Чаевые, миленький, — это пшено, печки-лавочки, детишкам на молочишко. Вот ты, например, пьешь коньяк.

— Пью, — сказал Таратута и с внезапной догадкой поглядел на Аллу. — А вы чаем его разбавляете?

Алла засмеялась:

— Мы подобными глупостями не занимаемся. — Она оглянулась на буфетчицу, тряхнула челкой, негромко и серьезно сказала: — Бутылка этого коньяка в магазине стоит восемь рублей. А у нас почти шестнадцать, вдвое. И это не мы набавляем, ты не думай. Это официальная государственная наценка. С тебя в любом ресторане возьмут столько же. Получаем мы этот коньяк на особой базе Министерства путей сообщения. По счету получаем, по накладной — такое-то количество бутылок. Отправляемся в рейс — получаем, возвращаемся — за пустые, которые выпили, рассчитываемся, а которые не выпили, обратно сдаем. Ты сечешь?

— Секу, — пробормотал Таратута, — секу, но не понимаю — на чем вы тут зарабатываете?

Алла усмехнулась:

— А тут даже чокнутый — и тот заработает! — Она еще больше понизила голос: — На каждую бу-

тылку, которую мы получаем с базы, ставится печать, штамп: Министерство путей сообщения, база номер такая-то, вагон-ресторан номер такой-то. Все в ажуре! Но только у буфетчицы нашей, у Марьи Григорьевны, есть точно такой же штамп. Сечешь? Перед рейсом мы в складчину покупаем в магазине по нормальной цене тридцать-сорок бутылок, ставим на них штамп и пускаем в продажу. Которые с базы бутылки — те в ящике, под буфетом или на кухне. Ну, конечно, несколько штук мы — для отчетности — продаем... Но в основном торгуем нашими. В сезон за один сдвоенный рейс мы, бывает, столько продадим, что пустыми назад едем: ничегошеньки не остается — ни коньяка, ни вина, ни водки...

— Хитро, — пробормотал Таратута.

— А ты говоришь — чаевые! — с воодушевлением сказала Алла. — И это, миленький, один всего лишь пример, а их... Такие есть номера — закачаешься. Объяснять только долго!

Гремя сапогами, вошли в ресторан двое военных, два майора. У обоих были совершенно остекленевшие, бутылочного цвета глаза и нарочито четкие движения.

За столик они не сели, а прошагали прямо к буфетной стойке, заказали по чайному стакану водки и по бутерброду с вареной колбасой; без удовольствия, словно выполняя ответственное задание, выпили, заели колбасой, расплатились и направились к выходу.

Уже в дверях один из них — тот, что был помоложе, — обернулся, поднял руку с оттопыренным указательным пальцем и громко сказал:

— Прошу учесть, что римский Ко-зи-лей был разрушен! Ясно?!

— Ясно, — ответила Алла и пообещала: — Учтем! Майоры ушли.

— Пьянь несчастная! — сказала Алла.

Таратута допил коньяк и со вздохом сожаления поставил пустую рюмку на стол, поставил очень аккуратно, но она почему-то упала и едва не разбилась.

Таратута засмеялся, облизнул языком пересохшие губы. У него кружилась голова, перед глазами плыли какие-то веселые радужные пятна, и в одном из этих пятен то появлялось, то исчезало Аллино лицо. Иногда целиком, иногда по частям — нос, ухо, глаза, челка.

«Я на ней женюсь, — решил Таратута. — Женюсь и возьму с собою в Израиль. Мы будем жить счастливо и умрем в один день. Сейчас я ей все это скажу, но сначала нужно еще выпить!»

— Нужно еще выпить! — сказал он вслух.

— А тебе не хватит? — спросила Алла.

— Ха-ха! — сказал Таратута.

Алла поднялась, забрала пустую рюмку и ушла.

Таратуте захотелось петь. Но сколько он ни старался, он не мог припомнить ни одной подходящей к случаю песни. Он покрутил головой и с испугом обнаружил, что куда-то пропала компания очень некрасивых мужчин. Только что сидели, пили пиво — и вдруг пропали.

— Где они? — спросил Таратута, хватая за руку проходившую мимо кривую официантку Лизку.

Но Лизка, вместо того чтобы ответить по-человечески, вырвала руку и крикнула визгливо и непонятно:

— Какой с него калым?! Он уже и так левым винтом пошел!

Таратута обиделся, и голова у него перестала кружиться. Алла вернулась, поставила на стол графинчик с коньяком и рюмку, озабоченно спросила:

— Ты как?

— Превосходно! — сказал Таратута. — А что за калым?

— Выкуп, — объяснила Алла.

— Почему? — спросил Таратута.

— Ну, это если ты хочешь, — не сразу ответила Алла. Она покосилась на Таратуту, закурила, выпустила колечком дым, повторила: — Если ты хочешь... Надо заказать шампанское и какой-нибудь закуски. Для всех — для буфетчицы, повара, Лизки... Посидим, погуляем, и тогда они отпустят меня к тебе. Но это, конечно, необязательно! — добавила она, вдруг как-то заторопившись и глотая слова. — Это они так предлагают, а ты уж сам... Это, как говорится, тебе решать. И ты не думай, что я...

Таратута тупо поморгал глазами и спросил:

— А шампанское дорогое?

Алла усмехнулась:

— Ну, вот об этом уж ты как раз не волнуйся. Твой счет оплачен. Заранее и даже с верхом. Мне Валерий Исаевич перед отходом пятьдесят рублей дал. Сказал, если ты загуляешь, так чтобы все было тип-топ.

— Валерий Исаевич?! Какой Валерий Исаевич?

— Что значит — какой? — развела руками Алла. — Ну, он же провожал тебя, я из окна видела. Ну, Валя-часовщик!

Они повесили на дверях, снаружи, с двух сторон таблички с надписью «Ресторан закрыт». И постелили свежую накрахмаленную скатерть. И погасили верхний свет, оставив гореть только уютную настольную лампу. Алла сидела рядом с Таратутой, напротив буфетчица и повар Игнатий Игнатьевич — очень худой человек неопределенного возраста, беззубый, но в таких же, как у Таратуты, фасонистых роговых очках.

А кривая Лизка, приплясывая, принесла ведро, из которого торчали серебряные головки бутылок

шампанского, игриво подмигнула Таратуте здоровым глазом и снова умчалась на кухню — за закуской.

Повар Игнатий Игнатьевич очень длинными белыми пальцами вытащил из ведерка бутылку шампанского и, сдирая с горлышка серебряную обертку, вежливо спросил у Таратуты:

— В Москву едете?

— В Москву, — сказал Таратута и икнул.

— Ничего, бывает! — благодушно заметила буфетчица, и было не очень понятно, к чему относятся ее слова — к тому ли, что Таратута едет в Москву, или к тому, что он икает.

— Ты смотри только не усни! — шепнула Алла.

Она прижималась к Таратуте плечом, и от нее пахло луком и польскими духами «Быть может».

Повар Игнатий Игнатьевич ловко, не пролив ни единой капли, открыл шампанское и первому как хозяину стола, налил бокал Таратуте.

Прибежала Лизка с закуской — селедкой на тарелочках и винегретом в суповой кастрюле, — захлопала в ладоши, закричала:

— За молодых, за молодых!

А поезд сошел с рельсов и шпарил теперь прямо по полю, по мокрой ночной траве, через речку — по узкому деревянному мостику, прорезал наискосок березовую рощу и закружился на одном месте.

— Не засыпай! — сказала Алла.

— Я не за-сы-паю! — сказал, засыпая, Таратута.

Он проснулся минут через пять, как ему показалось, но когда он с трудом разлепил глаза, то обнаружил, что лежит в своем купе, а за окном совершенно светло, солнечно.

Из радиодинамика доносилось какое-то шипение и потрескивание, как будто на гигантской кухне на гигантской сковороде жарили гигантскую яичницу.

Потом шипение и потрескивание прекратились, и отвратительно бодрый голос сказал:

— Граждане пассажиры! Наш скорый поезд номер тридцать второй прибывает в столицу нашей Родины, орденоносный город-герой Москву.

В радиодинамике что-то щелкнуло — и сводный хор молодых и девиц, счастливо избежавших тягот военной службы и ужасов честного труда, грянул во всю дурацкую мочь:

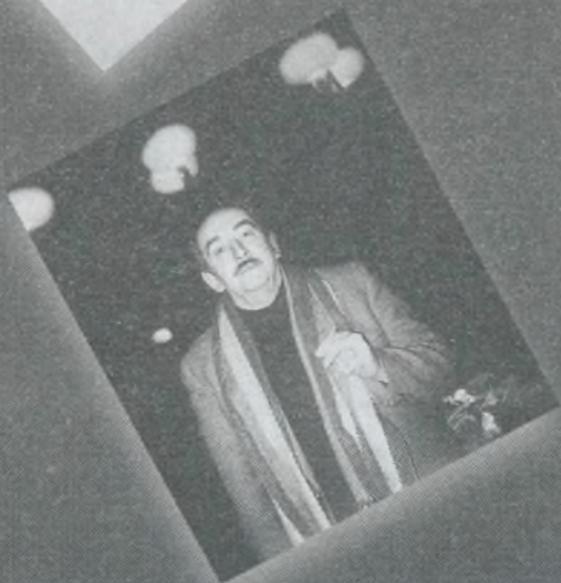
Москва моя, страна моя,
Ты самая любимая!

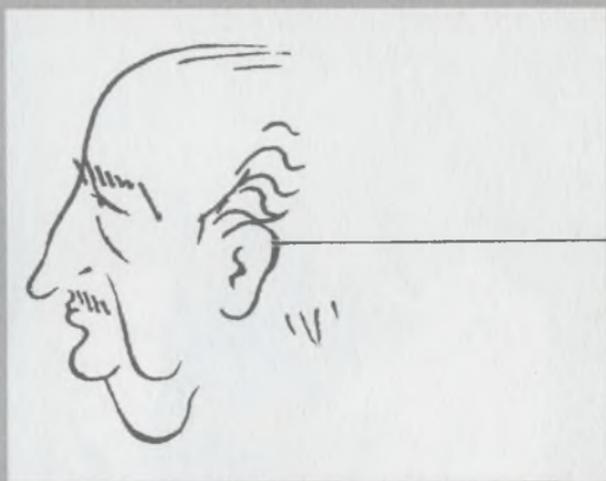
Бад-Хайльбрун, Мюнхен, Париж
1976 — 1977



Вспоминная
Галерея







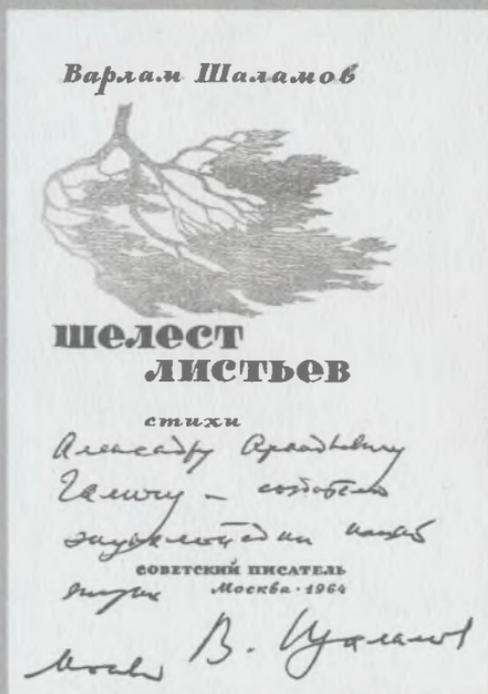
Александр Галич.
Рисунок сделан в Париже Виктором Некрасовым



Ангелина и Александр Галич в Норвегии — стране, которая первой приютила политических изгнанников



Фотография Александра Галича на первой его пластинке «Крик шепотом», вышедшей в Норвегии, 1975 г.

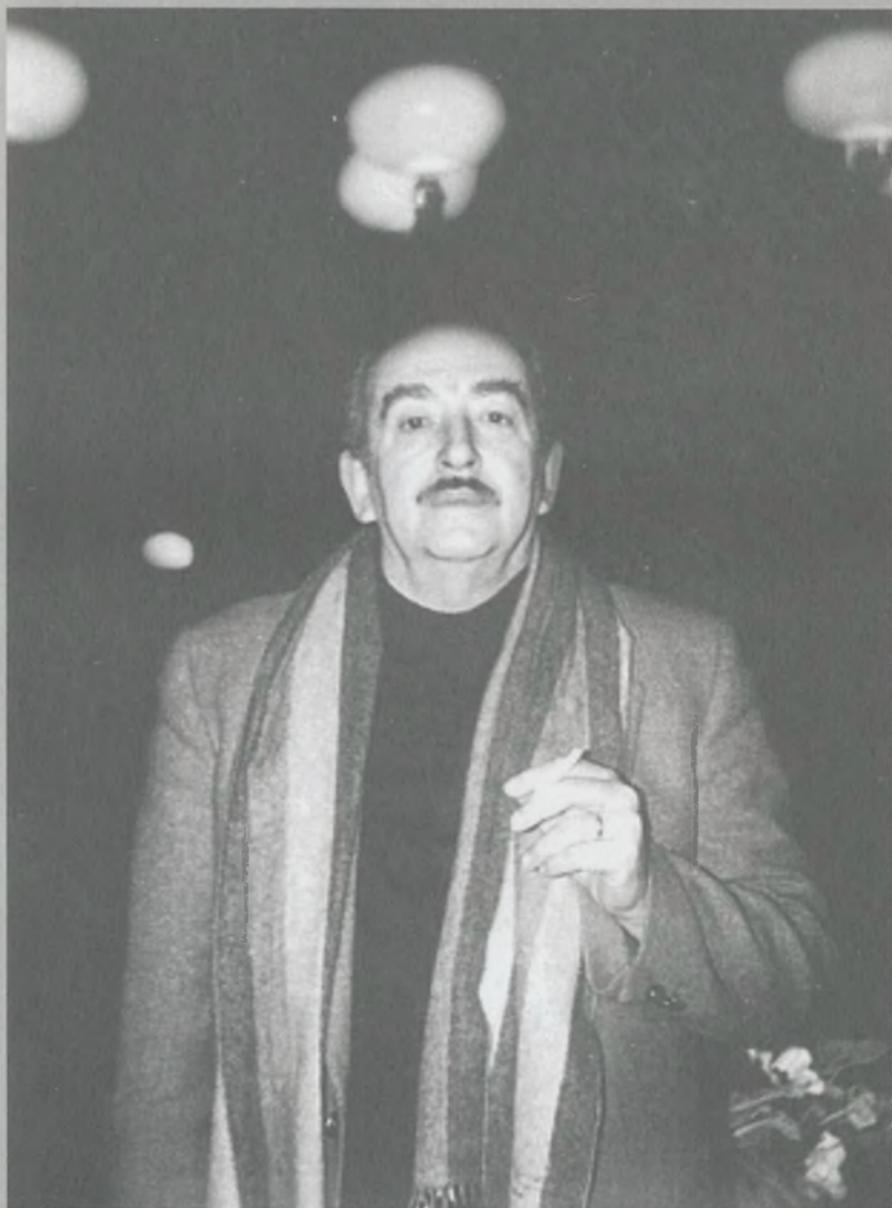


Суперобложка книги Варлама Шаламова с дарственной надписью автора: «Александру Аркадьевичу Галичу — создателю энциклопедии нашей жизни»



В Америке, 1975 г.

Александр Галич, Галина Вишневская, Михаил Барышников,
Мстислав Ростропович, Иосиф Бродский



Незадолго до гибели. После последнего выступления Александра Галича на Авиньонском фестивале. Декабрь 1977 г.



Прощание с Александром Галичем в соборе Александра Невского в Париже.

На переднем плане слева — Владимир Максимов и Виктор Некрасов. У гроба А. Галича — Ангелина Николаевна



Могила Александра Аркадьевича Галича в Париже.

Внизу на камне надпись: «Блажени изгнани правды ради». Кстати, год рождения Галича указан ошибочно (правильно 1918 г.)

ПОСМЕРТНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ А. А. ГАЛИЧУ

Чем сердцу русскому утешиться?
Кому печаль свою расскажем?
Мы все рабы в своем отечестве,
но с революционным стажем.

Во лжи и страхе как ни бейся я,
а никуда от них не денусь.
Спасибо, русская поэзия:
ты не покинула в беде нас.

В разгар всемирного угарища,
когда в стране царили рыла,
нам песни Александра Галича
пора абсурдная дарила.

Теперь, у сердца бесконвойного
став одесную и ошуню,
нам говорят друзья покойного,
что он украл судьбу чужую.

Я мало знал его, и с вами я
о сем предмете не толкую —
но надо ж Божие призвание,
чтоб выбрать именно такую!

Возможно ли по воле случая,
испив испуг смерторезимца,
послав к чертям благополучие,
на подвиг певческий решиться?

Не знаю впредь, предам ли, струшу ли:
страна у нас передовая, —
но как мы песни эти слушали,
из уст в уста передавая!

Как их боялись — вот какая вещь —
врали, хапужники, невежды!
Спасибо, Александр Аркадьевич,
от нашей выжившей надежды.

Борис Чигобавин



«ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО...»

Книжка эта — самиздатовская. В темно-красном переплете коленкоровом. На обложке — «А. Галич». На первой странице — «Книга песен. Москва, 1964—1966 гг.».

Вторая страница с таким текстом: «Это стихи. И это песни. Во всяком случае, это песни, которые поются. То, что исполняются они, как правило, под аккомпанемент гитары, — не делает их ни лучше, ни хуже. Просто именно так и для этого — они написаны!»

Третья страница — посвящение: «Ангелине».

Надпись на книге: «Дорогому любимому Толеньке — учителю от ученика. Александр Галич. 7 января 1967 г.».

Книга эта подарена ко дню рождения Анатолия Аграновского. Учителю исполнилось 45 лет, ученику — 49. Через семь лет Александр Галич уйдет из нашей жизни, а через десять лет из жизни навсегда.

Вот такие даты...

* * *

1957 год. Жаркое лето. Я приезжаю с сынишкой на день в Малеевку к мужу из деревни, где живу летом у родителей. Это в десяти километрах от Дома

* Галина Федоровна Аграновская — вдова известного журналиста Анатолия Аграновского (1922—1984 гг.), друга Александра Галича.

творчества. По дороге от автобуса спрашиваю встретившего нас Толю, кто из знакомых в Малеевке, с кем он за столом сидит. Он перечисляет, а за столом с ним — Галичи. Кто такие? «Он — драматург, человек милый, умный, интеллигентный. Жена его — красавица, остроумница. Они тебе понравятся».

Так, еще не видя Галичей, познакомилась я с ними. Аттестация мужа была точной, за семнадцать лет, что я знала Галичей, не поколебалась.

Пришли мы к обеду. Галичи уже сидели за столом. Муж познакомил нас. Александр Аркадьевич церемонно встал, поклонился, поцеловал руку, подвинул стул, ласково заговорил с Алешей. Ангелина Николаевна приветливо улыбнулась, порекомендовала, чем покормить сынишку. Знакомство отметили бутылкой хорошего вина, купленного тут же, в буфете. Я, несколько одичавшая в деревне, чувствовала себя как на празднике. Отменное общество, интересная беседа, еда подана и посуду мыть не надо... Очень хотелось, хоть в малой степени, соответствовать этой элегантной паре (эх, зря не надела свое лучшее платье в синий горошек!). На Ангелине Николаевне белая блузка, на шее повязан платок шелковый с турецким рисунком, белые брючки. Александр Аркадьевич «в бежевых тонах» — сорочка, брюки, пиджак (который он снял, попросив разрешения у дам).

Вечером я попеняла мужу, что он выходит к столу в своей любимой тельняшке: «Посмотри, как Галич одет. Он себе такие вольности не позволяет». — «Так он же благополучный драматург, он не может выйти «из образа»; жена его из аристократок. А я бедный очеркист, обремененный семьей, и жена моя из крестьян».

По дороге в Малеевку наставляла я четырехлетнего сынишку, как вести себя за столом со взрослыми: не разговаривать с набитым ртом, не брать с тарелки руками... Кое-что он запомнил, на какой-то вопрос дяди Саши ответил не сразу, а прожевав сна-

чала. А мясо взял все-таки рукой и хотел было отправить в рот, но опомнился и наколол кусочек на вилку. А больше накладок с нашей стороны вроде не было. В грязь лицом перед изысканными Галичами не ударили.

После обеда уложили спать Алешу, сели на скамейку под окном Толиной комнаты. Вышли к нам Галичи «потрепаться», нарушив свой режим, обычно они спят после обеда. Это Толя отметил как расположение к нам. «Площадку заняла» Ангелина Николаевна. Рассказчиком она оказалась прекрасным. Героем рассказа был Сашенька, который «провалился» недавно на встрече со зрителями в ВТО. «Вы бы слышали, какие банальности он нес! Какие-то анекдоты «с бородой», вялые остроты изрекал! Провал полный! Я рыдала от жалости к нему, сидя в зале. Причина? Ему жал пиджак, сшитый специально к этому дню». Галич с удовольствием слушал, смеялся, подсказывал забытые подробности. Много раз потом присутствовали мы с мужем при их совместном устном творчестве. Это всегда был праздник юмора, самоиронии, наблюдательности. Много времени спустя по просьбе Саши рассказала Ангелина Николаевна историю своей приятельницы, которую вызвали в Инюрколлегию по случаю смерти ее дальней родственницы, богатой и не имевшей наследников в маленькой капстране. Только было претендентка на наследство спланировала, на что потратить свалившееся на нее богатство, как по радио сообщение: в стране произошел переворот, лопнули банки. Так появилась потом одна из любимых нами песен Галича: «Баллада о прибавочной стоимости».

Поздним вечером, трясясь в разбитом автобусе по разбитой дороге с задремавшим сыном на руках, вспомнила я слова своего деда, приезжавшего из деревни в Москву навестить сына, моего отца: «Ах, день задался!..» А сказано это было в день, когда отец мой познакомил его со Светловым и Голодным, и

знакомство это было со взаимной симпатией. Теперь и я повторила про себя: «День задался!..»

Неделю спустя. Мы с отцом пилим дрова. Алеша собирает и относит под навес щепки и чурки. Рядом в коляске спит наш годовалый Антошка. Скрип калитки — Толя и Галичи! Полный конфуз, никак не вписываются в наш деревенский быт эти гости. На веревках навешано только что выстиранное белье — ползунки младшего, кальсоны деда... Мы в затрапезном: отец в ватнике (день прохладный), я в материнской старой вязаной кофте. Галич в замшевом с ног до головы, о жене его и говорить нечего, что-то «простое» для поездки в деревню. Первая мысль — метнуться в чулан переодеться. А во что?! Толя бодрым голосом: «Жена, становь самовар, принимай гостей!» Схватила ведра, коромысло — на родник за водой. Для самовара воду из родника всегда берем, из колодца не такая вкусная. Отец отправляется с бидоном к соседям за парным молоком, только что была дневная дойка. Со мной на родник просится Ангелина, я отговариваю — грязно там, топко. «Ах, чепуха!» Восторги горожан: «Ах, она воду на коромысле носит...», «Ах, как у вас пахнет хорошо, дровами, речкой...», «Ах, вы белье в речке полоскаете...», «Ах, печку ваш папа сам сложил!..».

Поставили самовар. Алеша подкидывал в трубу еловые шишки. Рассказывает дяде Саше, что собирал шишки сам. Опять восторг: большие шишки он называет «шиши». Галич: «Прелесть, покупаю для пьесы, маленькие — шишки, большие — шиши». (Много позже мы рассказали Саше, как Алеша, повалив Антона и делая вид, что душит его, приговаривал: «Молилась ли ты на ночь, Квазимода?» Галич: «Покупаю для пьесы!»)

Поспел самовар. Сели полдничать. «Ничего, — думала я, — чайку попьют и уедут. Толе выговор устрой — привез этот «высший свет» без предупрежде-

ния... Как они обратно поедут, автобуса сегодня уже не будет...»

А за столом меж тем все шло своим чередом. Молока и чая было выпито немало. Реплика Галича: «Давно я так не напивался!» Отец мой, лишенный в деревне достойной аудитории, гостям рта не дал раскрыть. Тут и деревенские истории были рассказаны, и процитированы к случаю любимые авторы — Стерн и Плутарх. «Не знаю, доводилось ли вам, Ангелина Николаевна и Александр Аркадьевич, читать у Гофмана (Стерна, Плутарха, Сократа)...» Но не тут-то было — доводилось! Еще и дополняли. Не удалось моему отцу «обставить» гостей, не на тех напал. А хотелось! Отец много раз в разговорах с зятем ужасался низкой культуре братьев-писателей, малой их начитанности. Зятя приобщал к «великой литературе».

Уехали гости уже затемно на попутке — крытом грузовике колхозном, который и довез их до поворота на Малеевку.

Реплика отца: «Милые, интеллигентные люди. А по виду не скажешь...»

Я в тот день полюбила Галичей, еще не зная их слишком. Причина была — они без меры хвалили наших сыновей. Алешу не спускал с колен Саша, ворковал с ним. Ангелина держала на руках Антошу, поила его чаем с блюдечка и не поморщилась, когда он опрокинул чай с молоком, облив ее «простое» платье. Да, очень милые, добрые, красивые! Много ли мне надо от людей, если они моих детей хвалят?

За тот месяц много раз приезжала я к мужу. Наведывались к нам и Галичи в деревню. Саше пришлось по душе мой отец. Вели они долгие литературные разговоры, обоим было что рассказать. Сопереживание Галичей судьбе нашего деда было полным. Мало кому отец рассказывал свою горькую жизнь — 37-й год, а в войну немецкий плен... На его семидесятилетия были и Галичи. Вот какой тост произнес Саша, помню почти дословно: «Дорогой Федор Георгие-

вич! Спасибо вам, что дожили до такой даты, несмотря ни на что! Долгие вам лета! Нам же, добрым молодцам, пример, есть с кем себя сравнивать, не скулить по поводу неудач и огорчений, ибо все они того не стоят рядом с вашей жизнью. Будем на вас равняться!»

В тот месяц в Малеевке услышала я впервые поющего Галича. Но ни одной еще песни из подаренной десять лет спустя книжки, и не под гитару. Песни эти были из его кинофильмов и спектаклей, романсы Вертинского, Лещенко, Козина. Под расстроенное пианино в холле, на втором этаже. Артистичности Саше было не занимать, слушатели, а особенно слушательницы, принимали восторженно.

Потом услышали мы цикл его частушек, медицинских. Как назвал их наш приятель-врач, «пособие для студента-медика». Частушки были в основном ернические. Одну из них, «приличную», приведу здесь:

— Подружка моя, я на мир сердита,
как бы мне не помереть от ревмокардита!
— Подружка моя, не вопи, не ной ты,
надо срочно удалять гланды, аденоиды!

Как это все далеко было до гражданской трагедийности будущего Галича!

Кончилось то праздничное лето. Зимой наши дружеские отношения продолжались, виделись мы часто. Пригласил нас Саша на премьеру своей пьесы «Много ли человеку надо...» в Театре Вахтангова. Героиню играла дебютантка, молоденькая, очаровательная Катя Райкина. И еще один дебютант — Юрий Любимов. Первая его режиссерская работа. Пьеса — лирическая комедия. Очень все славно: постановка, актеры. После премьеры банкет в ресторане ВТО. Кого только не было на том банкете, весь цвет театральной Москвы. Поздравляли с успехом, желали дальнейших. Счастливые старшие Райкины принимают поздравления — дочка сыграла прекрасно!

Возвращались мы с мужем с этого банкета, обсуждали спектакль, сошлись на том, что в этом жанре Саша мастер. Пусть бы и дальше так. Тьфу, тьфу! И... сглазили. Это была последняя «благополучная» пьеса Галича*. Следующая — «Матросская тишина». Она уже писалась.

Нас позвали к Галичам слушать первый вариант. Саша не читал, а играл пьесу. Вот где мы увидели его — актера. Сыграл он и мужские и женские роли блестяще. Пьеса же ошеломила. Такого Галича мы не знали. Позже, на репетиции в «Современнике», впечатление было такое же сильное; но первое, когда читал сам Галич, не потускнело.

Прочитав в «Литературной газете» статью Аграновского «Наука на веру ничего не принимает», 1965 г. (одна из первых статей против Лысенко), позвонил Саша, статью очень хвалил, а в заключение сказал: «На тонкий лед ступил ты!» А после «Матросской тишины» уже Толя сказал Галичу: «Вот и ты на тонкий лед ступил! Помогай тебе Бог!»

Пожалуй, запрещением «Матросской тишины» и кончился «благополучный Галич». Здесь уместно было бы заметить, что во многих теперешних публикациях о Галиче мелькают определения «благополучный», «богатый» — в материальном смысле. Видела я за свою жизнь драматургов и писателей, к которым можно применить эти термины вполне. Но не к Александру Галичу. К нему — нет! Я знала, видела их быт изнутри. В будни и праздники, утром и вечером. В небольшой квартире было красиво, уютно, хлебо-сольно, но не богато. Вот книг было «богато». Хорошая, красивая одежда, но ни мехов, ни драгоценно-

* Сохранилась программка этой премьеры с надписью: «Дорогим моим, любимым друзьям Галочке, Толеньке, Алеше и Антоше — в день премьеры нежно и с любовью — Галич. 13 июня 1959 г.»

стей, ни машины, дачи, челяди. По дому Ньюша все делала сама. Умела и любила держать дом в порядке. Да к тому же была еще профессиональной сиделкой и медсестрой. Я видела, как умело она делала Саше уколы внутривенно. А болел Саша часто и подолгу.

1958 год. Снимаем на лето в Паланге комнату с верандой. Соблазнили Галичи: дешево, на самом берегу, с продуктами проблем нет. И действительно, магазинные полки ломятся от сортов мяса, колбас, сосисок, молочных продуктов. Рядом — дешевый рынок. Спасибо Галичам, что уговорили!

Старые фотографии: пляж, в шезлонгах — Саша, Ньюша, Толя. У их ног копошатся в песке дети, наши Алеша с Антошей и их новые друзья Тито и Лолик, два шоколадных мулата (местные ребятишки спросили Алешу: «Эти что — негры?» Алеша: «Нет, это мои друзья». Галич: «Покупаю для пьесы!»). Тут же их родители: Тито Ромалио — эстрадный певец и танцор, мама — сибирячка, светлейшая блондинка по имени Евфалия. Еще фотография: Галичи, Тата и Юра Семеновы с сыном, Юлий Борисович Харитон, отец Таты, Баклановы с сыном, Бондаревы с дочкой... Тридцать лет тому назад!

Славное было бы лето, если бы не инфаркт у Саши. Вот где пригодилось знакомство с академиком Харитоном. При его содействии было налажено лечение Саши в хорошей больнице, доставались нужные лекарства. Тут я впервые увидела Ньюшу в роли сиделки, умелой и неутомимой. За месяц Сашиной болезни она превратилась, что называется, в щепку. Спала урывками, есть мы ее заставляли едва ли не силой. На меня легла обязанность ушивать ее платья и юбки, висевшие на ней как на вешалке. Как-то, утешая ее, я сказала, что худоба ей идет, красоты не портит. На что она усмехнулась: «Теперь я Фанера Милосская... Сашенька огорчается, вот что плохо».

Сашу мы навещали каждый день, по очереди. Никакой тяжести в посещениях не было, он не отягощал своей болезнью. Сам задавал тон, острил. В первый мой приход извинился, что не может встать в присутствии дамы. Вышел, мол, на время из «образа джентльмена». На что я вспомнила: у Шоу написано, как его в детстве муштровали, приучая к хорошим манерам: «Я вставал, когда в комнату вползала моя восьмимесячная кузина...» Саша рассмеялся: «Так вот как это называется — «комплекс Шоу». Я страдаю им тоже с детства».

Прошел месяц, отмеренный природой и медицинской на болезнь. Саша встал с больничной койки, и вот мы провожаем их всем миром на клайпедском вокзале в Москву. Не очень-то хороший вид у Саши. Бледный, растерянный. Смущен, что чемоданы за него другие тащат. Подмигнул мне, шепнул: «Комплекс Шоу». Устроили Галичей в купе, помахали на прощанье: ни пуха!..

Шло время. В нашем доме навсегда поселилась гитара. Сначала дешевая, «по средствам», потом хорошая — мастера Циммермана. Ее ездили торговать и купили Саша и Толя. А вместе с гитарой пришли и остались по сей день в нашем доме песни. Пели друзья, пел хозяин дома, пели сыновья наши. На старых магнитофонных пленках, вернее, на картонных коробках рукой Толи написано: «Миша, Саша, Булат...»

Сейчас многие пытаются (будут пытаться и впредь) проследить развитие этого жанра — авторской песни. Кто от кого пошел? Кто раньше начал? Мне кажется, нет тут спора, хронологию не проследишь. Предтеча — жизнь. Она не скупилась на темы. А создатели песен — люди с обостренной совестью гражданской, бесстрашные воители, исповедовавшие кредо: «НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ!»

И все же свидетельствую: Толя спел Саше песню

Анчарова, которая называлась длинно (почти у всех песен Анчарова длинные названия) — «Песня про пограничника, который в больнице им. Ганушкина не отдавал санитарам свою пограничную фуражку». Саша восхитился, попросил спеть еще раз. И много времени спустя у нас дома слышали мы его новую песню: «Право на отдых, или Баллада о том, как я навещал своего старшего брата, находящегося на излечении в психбольнице в Белых Столбах».

Телефонный звонок Галича: «Толенька, сделал песню благодаря тебе. Приезжай послушать». Приехали. Саша болен, в кровати полулежа спел: «Я принимаю участие в научном споре между доктором филологических наук профессором Бяликом и действительным членом Академии наук СССР Соболевым по вопросу о том, может ли машина мыслить». Каким образом связано это с Аграновским? А вот каким. Порядочное время тому назад Толя рассказал Саше, как отказался писать о «лженауке кибернетике» после того, как в Дубне профессор из Чехословакии сказал ему: «Молодой человек, машина может все, машина только не может быть сволочь!»

Вспоминая Сашу, думая о нем, не могу не сказать о его нежности, внимании, сострадании к друзьям. Уже сам он в опале, запретили «Матросскую тишину», сам нуждается в поддержке — и его звонок: «Ребята, вы дома? Можно мы приедем с Нюшей?» Приехали утешить в трудный час — рассыпали набор Толиной повести после письма в «Правде» троих конструкторов-лауреатов-депутатов, Героев Соц. Труда и проч. Мы с Нюшей сидим на кухне, пригрюнившись. Мужчины тихо разговаривают в соседней комнате. Вскоре — гитарный перебор, поют вдвоем: «Все будет хорошо, зачем такие спешки... и будет шум и гам, и будут сны к деньгам, и дождички

пойдут по четвергам...» «Господи, какие дураки! Все им ничто!» — сокрушаемся мы с Ньюшей.

Напечатаны очерки Аграновского «Суд да дело» о подсобных промыслах. Вызвали гнев Конотопа, тогдашнего секретаря обкома Московского. Посулил Конотоп: «Я этого журналистишку по стене размажу!» В газете «Ленинское знамя» разгромная статья, заказанная хозяином области. Телефонный звонок Саши: «Толечка, я опять залег, приехать не могу. Ты плюнь, не горюй. Конотопы приходят и уходят, а мы остаемся...» Эти звонки Сашины, его утешительные монологи записаны у мужа в записной книжке.

Еще звонок Саши. Просит помочь Гене Шпаликову. Приведу здесь выдержки из письма Шпаликова, чтобы было ясно, в чем нужна помощь:

«Дорогой Толя, здравствуйте! Не знаю, в Москве ли Вы, и вообще надо бы просто позвонить, но письмом это получится более внятно. У меня к Вам дело и просьба. Газетных связей у меня никаких, кроме Вас. Просто я Вас всегда читаю, слежу и проч. И Вы, наверно, помните меня. (Познакомились мы со Шпаликовым у Галичей. — Г.А.)

Толя, мне нужен Ваш совет. Я собираюсь писать (не знаю еще, что и как) о депутате, и лучше бы — Верховного Совета. Идея эта не такая бредовая, как может показаться, так как простор для различных соображений (не сволочного порядка) здесь несомненный. <...> Характер, нравящийся мне, да и Вам, наверное, я вполне могу вообразить, хотя и умозрительно.

Анатолий Аграновский, на мой взгляд, вполне мог и депутатом быть. Пишу это совершенно всерьез. Но так как я (по финансовым соображениям) вряд ли смогу вытянуть избирательную кампанию, придется это дело отложить. <...> Подскажите мне такого человека. Я очень верю Вашей оценке людей. Ва-

шему выбору, вкусу. <...> Хорошо бы, конечно, чтобы человек этот был сравнительно молодым, и не сволочью, и не слепым. <...> Я живу в Переделкине, в комнате № 13. Напишите мне. Передайте привет Вашей Гале, если она меня помнит.

Гена Шпаликов
6 марта 1974 г.*

В архиве я нашла лист бумаги, на котором рукой мужа написано: «Для Геннадия Шпаликова». Далее на машинке отпечатаны три фамилии депутатов Верховного Совета и их характеристики. Оставалось совсем немного времени до известия о том, что в Переделкине покончил счеты с жизнью Геннадий Шпаликов.

И до отъезда Галичей оставалось совсем ничего. Были мы у них еще несколько раз. Саша болел, лежал много. Вставал по необходимости — выходил продавать книги. Сказал как-то: «Я теперь — книгоноша...» Категорически отказался принять нашу сильную денежную помощь. «Я еще и сам могу помочь», — сказал он в один из наших приходов, когда позвонили в дверь и Нюша, поговорив с кем-то негромко, вошла к нам и достала из письменного стола конверт, приготовленный, видимо, заранее. «Это для семьи Н. Сашенькины носильные вещи я уже отдала, а это денег немного... У вас нет ли с ребят одежды, из которой они выросли, там как раз двое парнишек?» Одежды с сыновей не было и быть не могло, они снашивали все до дыр. (Младший наш доносил не так давно за дядей Сашей пару ботинок. «Ботинки с барского плеча», — сказал Саша.)

Мы знали, для кого эта помощь, к нам обраща-

* Последний сценарий Г. Шпаликова — «Девочка Надя, чего тебе надо?». Героиня — Надежда Смолина, кандидат в депутаты Верховного Совета СССР, — сжигает себя на городской свалке.

лись не раз. А сейчас денег с собой не было, заняли у Галичей... (Теперь узаконено милосердие, а тогда оно было чревато и подпольно.)

Наступил день, когда отъезд Галичей был пред-
решен окончательно. Муж уезжал в командировку
вечером, днем поехали проститься. Дверь открыла
немолодая незнакомая женщина. По-хозяйски про-
вела к Саше, сказала, что Ангелина Николаевна не-
здорова. Саша познакомил нас — Ольга Всеволодов-
на Ивинская*.



Вернулась я к Саше. Толя настраивал гитару. По
просьбе Саши спел («Для Ольги Всеволодовны, она
ведь тебя ни разу не слышала...») пастернаковские
романсы: «Стоят деревья у воды...», «Свеча горела...»,
«Засыплет снег дороги...», «Больничную». И тут сле-
зы, и мы уже не выдержали... А приехали подбод-
рить!

Вышла Ольга Всеволодовна готовить кофе, и Са-
ша, показав глазами на портрет Пастернака, сказал:
«Думал ли я, что в черные мои дни он будет поддер-
живать меня и подкармливать... Он и она...»

Пробыли мы у Галичей до вечера. Ни слова не
было сказано об их отъезде. Говорили обо всем, толь-
ко не о главном. Пел Толя по просьбе Саши и Ньюши
(она встала все-таки, сидела неприбранная, на себя
непохожая, курила сигарету за сигаретой) весь свой
репертуар. Начал было последнюю: «Все будет хоро-
шо, зачем такие спешки...» Саша положил руку на

* О. В. Ивинская — близкий друг Б.Л. Пастернака, послу-
жила прототипом Лары в романе «Доктор Живаго». Я прошла к
Ньюше. Она лежала бледная до синевы, настроена нервно, при-
нималась плакать несколько раз. Сказала: «Мы едем умирать...»
Я на нее прикрикнула: «Возьми себя в руки, не такая ты сейчас
нужна Саше». Прижалась она ко мне со словами: «Молитесь с То-
ленькой за нас...» Мы молились, но это не помогло им.

гриф гитары: «Не надо...» Обнялись, попрощались. И последние слова Саши: «Поцелуйте мальчиков. Пусть будут счастливы. Скажите — дядя Саша велел».

Шли мы к метро молча, понуро. Я подумала, а оказалось, вслух произнесла, что не понравилась мне Ивинская. (Может, тому виной ее книга была, которую я прочла незадолго до знакомства с ней.) На что Толя резко сказал: «Женщина, которой посвящены такие стихи, не обсуждается!» И я прикусила язык...

* * *

Вернусь к подписи на книге Галича. «Саша, — сказала я ему тогда, — после слов «учителю от ученика» добавь, что он на гитаре тебя учил играть. А то, если брать будут, как оправдаемся? Детей жалко!» Посмеялись мы не очень-то удачной этой шутке. А Галич, помолчав, сказал: «Если брать будут, ничто уже не поможет...»

Сентябрь 1988

«КОГДА ОБРУБЛЕНЫ КАНАТЫ...»

В последние три года жизни Галича здесь, в Москве, я был в такой ослепительной близости к нему, что мне очень трудно отделить — где главное, где второстепенное. Это так же трудно, как если бы мне пришлось рассказать о моей жене, о маме или о папе. Это было каждодневное общение.

Но, наверное, надо начинать с того, как мы познакомились. В 1947 году в доме Константина Исаева, с которым они бывали иногда соавторами, он не произвел на меня ни малейшего впечатления, показался обычным лопухим москвичом. Совершенно невозможно было представить себе, что он станет красивейшим человеком. Потрясающее впечатление на меня произвела Нюша, его жена. Когда я увидел ее первый раз, я просто сел в угол и смотрел на нее не отрываясь три часа, потому что такой красивой женщины я никогда в жизни не видел. И уверен до сих пор, что она была самой красивой женщиной, которую я видел — в жизни, на сцене и на экране, хотя завидовавшие ей дамы называли ее «фанерой милосской».

На самом деле мы встретились в 1965 году, и было сразу очень большое взаимное благорасположение, не знаю опять же в силу чего. До этого мы жили как бы в почти не общающихся мирах... Он —

*Н. Н. Каретников (1930—1994) — композитор, ученик В.Я.Шебалина. Автор оперы «Тиль Уленшпигель» (1984), балетов «Геологи» (1956), «Ванина-Ванини» (1961), «Крошка Цахес по прозвию Цинцинобер» (1970), духовных песнопений, пяти симфоний и др. произведений. Крёстный А. Галича.

в драматургии, я — в музыке. Но то дикое наслаждение, которое я получал от его песен, определило в то время мое отношение к нему. На первом этапе это определило и его отношение ко мне: он совершенно по-детски любил, чтобы его хвалили. Потом вступили в дело новые факторы...

— Скажи, пожалуйста, вот когда ты его встретил в 65-м году...

— Он уже «получшел». Он был почти такой же красивый, как когда он шел по аэродрому. Потому что по аэродрому шел человек необычайной красоты. Было видно, что идет шут и артист. Он был возбужден и прекрасен.

— Самый красивый Галич?

— Да. Самый красивый шел к самолету. Когда уже все рвалось и когда уже было понятно, что он оставляет у себя за спиной. Кстати, я не поддерживал разговоры об отъезде, потому что я считал, что он сам должен сделать выбор. И уж слишком страшная была ситуация в это время, когда в течение долгих месяцев раз или два в неделю к нему приходил милиционер в плащ-палатке и начинал его допрашивать по поводу того: «На какие средства вы существуете, гражданин Галич?» Почему милиционер был в плащ-палатке, я до сих пор не понимаю. И он этого не понимал.

— Потому что в любую погоду...

— Да... Нет. Торчали совсем другие люди. Вот я помню, когда он приезжал ко мне в Лефортово (мы с Олей четыре года в Лефортово жили на первом этаже), то моментально за окном появлялся человек, который буквально прикладывал ухо к стеклу, чтобы услышать, что творится в доме. Средства были кустарные, а главное — они совершенно не прятались. Зная положение Саши, я не считал возможным оставлять его одного. Как только у меня оказывалось свободное время, я немедленно бросался к нему. И старался просто быть с ним, потому что мне каза-

лось, что, если я буду рядом, задача людей, которые должны будут что-то с ним сделать, будет резко затрудняться... С этого времени я старался с ним быть все время, мне приходилось ездить по всем домам, где он выступал. Причем дома были совершенно неизвестные, где-то на окраине города, в новых районах, каждый раз неизвестно было, какие будут люди, но он очень быстро адаптировался. Он всегда — я не помню ни разу, чтобы он ошибся, — очень точно чувствовал аудиторию, соответственно с этим был выбор песен. (Обычно он просил меня настроить ему гитару, делал чистую темперацию, ему удобнее было петь. Сам он так не мог настроить.) Я не помню, чтобы он кого-нибудь не пробрал.

Как мало кто, он напоминал мне удивительных интеллигентов, которые генерировали в начале столетия и которые относятся к так называемому «Русскому серебряному веку». Для них вопрос эрудиции не играл такой огромной роли, какую он играет сейчас во многих случаях. Это было естественно, как для пианиста быстро и хорошо играть гаммы. Многоязыкость, например. Ну, правда, Шебакин, мой учитель, знал четыре языка, Габричевский, мой старший друг, — девять языков. Галич знал три. Как будто бы маловато, но, учитывая те условия, в которых он узнавал эти языки, это очень много. Видимо, знание языков очень меняет свойства интеллекта и влияет на синкретические возможности человека. Галич обладал фантастическими синкретическими возможностями. Ему достаточно было узнать очень маленькую часть явления, для того чтобы реконструировать явление в целом. И эта возможность соединения каких-то вещей, которые в нетренированной голове не соединяются, — конечно, это было не случайно. Я думаю, это все-таки вопрос наследования. И какое бы ни было образование, но интеллигент появляется в результате следования нескольких поколений, когда следующий человек рождается во

все более высоком уровне духовной культуры. Я знал его маму и могу сказать, что многое определялось тем, какими были родители. Начало было, видимо, очень хорошим, и дальнейшее потребовало от него меньших усилий. И еще одно замечательное свойство — универсализм. Он очень многое мог как литератор — и как сценарист, и как прозаик, и как поэт. Причем по складу ума он был чистый гуманитарий. Сам как-то говорил мне, что так и не может понять, почему, когда он поворачивает выключатель, зажигается лампочка. Ему это было недоступно. Какие-то элементарные технические акции, которые надо было совершать в быту, он если и производил, то производил всегда с осторожностью и изумлением. И, может быть, в этом была заложена его смерть. Потому что погиб он от обыкновенного бытового прибора.

У него еще был совершенно замечательный характер. Он был человек легкий, веселый, безобразник. Причем должен сказать, что почти все известные мне старые интеллигенты, о которых я уже упоминал, они все были, несмотря на свою громадную эрудицию, большими хулиганами и гусарами. Бабниками, пьяницами... Я помню, каким был Генрих Густавович Нейгауз, я помню, каким был Шебалин, он ничего не чуждался, я помню, каким был Габричевский, я помню, каким был Способин. То есть это были живые люди, при том, что они могли одновременно существовать на огромных духовных и интеллектуальных высотах. Все это другого не исключало. Они не были похожи на известное создание, которое было выведено в колбе доктора Вагнера. Это были живые люди, прежде всего это были живые люди. И вот Саша был фантастически живой человек, как никто.

Он меня как-то очень осторожно спросил, а как я отношусь к его песням? И был очень рад моему ответу. А я ему ответил: «Ну, Саш, у тебя ведь все очень непритязательно. Ты же не претендуешь на то, что-

бы писать «новую» музыку. Ты вообще пишешь не музыку. То, что ты пишешь, в музыкальном смысле — это лупа. Ты очень точно, с огромной точной интуицией, находишь возможность увеличить воздействие своих стихов, во-первых, благодаря тому, что они поются, во-вторых, медленнее произносятся, значит, можно все разобрать, ты даешь ритмическую основу, и особенно на первом этапе восприятия это очень важно. Это такая пропагандистская лупа. При этом ты очень музыкален». Он действительно предельно музыкален. У него очень хороший вкус. У него все, что он делает, очень пластично, это свидетельство о хорошей культуре слуха. И в конечном счете можно сказать, что все это еще и достаточно разнообразно. При этом, конечно, он был универсально одаренный человек, он музыкально был одарен безмерно, хотя я в общем терпеть не могу массовую культуру, а тут, казалось бы, в основе всего его творчества лежит городской романс, но у меня никогда не возникало шокинга по отношению к той музыке, которую он пишет. Это никогда не пошло. И очень музыкально. У него, конечно, был мелодический дар, это безусловно. И там даже довольно сложные построения бывают и с точки зрения формы, и с точки зрения гармонических сдвигов модуляционного плана, что-то возникает свое очень часто. На простом материале.

Ведь что происходило — он оказался в положении пророка Ионы, который вопил вверх в небеса: «Я не хочу, Господи, но ты толкаешь меня в спину!» И это толкание осуществлялось через его песни. Ведь он мог бы, как некоторые — не про Окуджаву будь сказано, — написать в «Литературку» несколько покаянных слов, и ему было бы как-то прощено. Он этого не хотел, потому что он понимал, что он тогда зачеркивает свои песни и их смысл. Песни были опаснее, чем Комитет прав человека, он же действи-

тельно ничего не пропускал. («А его полпреды варганят... «Войну и мир» — это же о Бондарчуке!»)

Я очень хорошо понимаю, почему он крестился: был дополнительный мотив — он старался как можно больше привязать себя к этой стране. Когда он принимает главное страны — Веру, он, так страдавший за судьбу народа, соединяет свою судьбу с народной. Человек принадлежит к той национальности, на языке которой он думает, а кто лучше него думал о России. Он еще очень красив был в церкви. Он уходил куда-то вверх, это было видно.

В один из прощальных вечеров, задолго до практического отъезда (а началось это за полгода), у Световых в Трехпрудном переулке было весьма успешное выступление с возлияниями. Когда шел сам концерт, некто в углу, режиссер, занявшийся в ту пору «делами духовными» и повторявший: «В тех книгах, которые я сейчас читаю, этого нет!» — сидел и ни разу не улыбнулся, когда все хохотали.

После цикла о «Климе Петровиче» он вроде бы как-то незаметно исчез. Еще через какие-то мгновения, отнюдь не самые короткие, я направился на кухню за спичками. Для этого мне надо было пересечь коридор. В конце коридора в глубине была комната, дверь в которую была открыта, и я увидел несмеющегося режиссера, который катался по тахте и дико ржал, зажимая себе рот подушкой.

...Нюша все ходила, как сомнамбула, и говорила: «Ребята, ну, мы уезжаем, у нас все будет хорошо, но вы-то, как вы-то будете, что с вами будет...»

Наверное, даже если я увижу могилу, она меня ни в чем не убедит — я не могу поверить, что он умер.

**Отец Александр
(А.В. МЕНЬ)***

БЛАЖЕННЫЙ — ЗНАЧИТ СЧАСТЛИВЫЙ

Конечно, как и многие, я не раз слышал записи его песен, поразительных, с такой точностью передающих дух и настроение тех лет. Голос Галича казался мне прорывом из глухого молчания. Но молчания многозначительного. Я верил, что под ледяной коркой зимы все еще текут живые струи. Уж если сталинщина не могла полностью иссушить эту реку, то тем более — потом... Галич говорил и пел о том, о чем шептались, что многие уже хорошо знали. Он блестяще владел городским полуинтеллигентским и полублатным жаргоном, воплощаясь то в героев, то в антигероев нашего времени. Мне он казался своего рода мифом, собирательным образом, каким казался в начале 60-х Окуджава, хотя мне было известно, что это вполне реальные люди. Окуджава пел о простом, человеческом, душевном после долгого господства казенных фраз. Галич изобразил в лицах, в целой галерее лиц, портрет нашей трагической эпохи. Поэтому мне показалось странным, почти невероятным, что я мог увидеть его, словно это был оживший

* Отец Александр Мень (А.В.Мень) — Александр Владимирович Мень (1936—1990) — православный священник, ученый-теолог и просветитель. Его специальные работы составили ему имя в церковных кругах, а популярные книги, написанные в виде комментария к Священному Писанию разошлись в самиздате и издавались за рубежом под псевдонимами А. Боголюбов и Э. Светлов и, наряду с его пасторским служением, привлекли к Церкви множество людей. Убит 9 сентября 1990 года по дороге в храм.

символ, который трудно себе представить в виде одного конкретного человека.

Я увидел его сразу, когда он, такой заметный, высокий, появился на пороге церкви*. Он пришел с нашим общим знакомым, композитором Николаем К.**. Не помню сейчас (прошло уж больше 15 лет), улаживались ли мы заранее, но я узнал его сразу, хотя фотографий не видел. Узнал не без удивления. Знаете, читатель часто отождествляет писателя с его героями. Так вот, для меня Александр Аркадьевич жил в его персонажах, покалеченных, униженных, протестующих, с их залихватской бравадой и болью. А передо мной был человек почти величественный, красивый, барственный. Оказалось, что записи искажали его густой баритон. Мне он сразу показался близким, напомнил мою родню — высоченных дядек, которые шутя кололи грецкие орехи ладонью. Это был артист — в высоком смысле этого слова. Потом я убедился, что его песни неотделимы от блестящей игры. Как жаль, что осталось мало кинокадров... Текст, магнитозаписи не могут всего передать. И в первом же разговоре я ощутил, что его «изгойство» стало для поэта не маской, не позой, а огромной школой души. Быть может, без этого мы не имели бы Галича — такого, каким он был.

Мы говорили о вере, о смысле жизни, о современной ситуации, о будущем. Меня поражали его меткие иронические суждения, то, как глубоко он понимал многие вещи.

Вообще-то я всегда придерживаюсь правила — не посвящать других во внутреннюю жизнь моих прихожан, даже ставших знаменитыми. Это нечто

* О. Александр служил в храме Сретенья в поселке Новая Деревня (Московская обл., Пушкинский район).

** Н. Каретников.

вроде врачебной тайны. Иначе невозможны искренние, доверительные отношения.

Могу сказать лишь очень немного. Его вера не была жестом отчаяния, попыткой куда-то спрятаться, к чему-то примкнуть, лишь бы найти тихую пристань. Он много думал. Думал серьезно. Много пережил. Христианство влекло его. Но была какая-то внутренняя преграда. Его мучил вопрос: не является ли оно для него недоступным, чужим. Однако в какой-то момент преграда исчезла. Он говорил мне, что это произошло, когда он прочел мою книгу о библейских пророках*. Она связала в его сознании нечто разделенное. Я был очень рад и думал, что уже одно это оправдывает существование книги.

После совершения таинства мы сидели у меня, и он читал нам с Н. К. свои стихи. И как-то по-особенному прозвучал его «Псалом» о том, как человек искал «доброе Бога»**. Нет, вера его была не слепой, не способом убежать от жизни. Она была мудрой и смелой. В нем жило чувство истории, сопричастности к ней, историческая перспектива, которая связывалась для него с христианством. Об этом, о сокровенном, Галич пел и писал мало. Это было прекрасное целомудрие души. Есть вещи, которые нельзя выставлять напоказ. Но в своем пронзительном стихотворении «Когда я вернусь» он не случайно назвал наш маленький храм, «где с куполом синим не властно соперничать небо», своим «единственным домом».

Однажды, когда он прочел нам стихи о том, что надо бояться человека, который «знает, как надо»,

* Эммануил Светлов. «Вестники Царства Божия», Брюссель, 1972.

** И вновь я печально и строго
С утра выхожу на порог —
На поиски доброго Бога
И — ах, да поможет мне Бог!

Н.К. спросил его: «А Христос?» Александр Аркадьевич ответил: «Но ведь он не просто человек...»

Это было тяжкое, мучительное расставание. Он приехал ко мне домой с гитарой. Пел для собравшихся друзей. Голые ветки за окном и пустое пространство напоминали о бесприютности. Мы смеялись и плакали. Никто не мог обвинять в противоречии человека, написавшего «Песнь исхода». Было видно, что его довели до точки. Больше он не мог выдержать. Есть моменты, когда суждено дрогнуть и сильно. При прощании у него он хотел подарить мне на память — как символ — дощечку, с которой легко стираются написанные слова. Горький сувенир времен молчания. Но я отказался взять. «Придет время, еще будем говорить вслух», — сказал ему я. Рассчитывать, правда, было не на что. Но я верил и надеялся. Уж «оттуда» он писал мне в коротенькой записке, что никогда т а м не привыкнет. Это и неудивительно. Он был плоть от плоти нашей жизни, Москвы, нашего непростого времени, полного глубокого и вечного смысла.

* * *

На самом деле это был все-таки волевой акт искания правды. Искания! И он метался, он колебался, он видел, что люди, которые выступали в защиту правды, как бы под знаменами ее, они, в конце концов, были не такими, что в них сидел тот же самый вирус насилия, вирус тоталитаризма, вирус такого ложного догматизма и приспособления. Но даже те, которые, казалось бы, были бескомпромиссными, они были безобидными для общества лишь потому, что их не пускали к рукояти, а если бы их пустили, то неизвестно, как бы все было. И вот тогда, в этих поисках он понял правду как какое-то служение.

Ведь ради чего он все это делал? — Что, узкая слава в узких кругах? под молодежные аплодисменты? Нет. Он был большой человек, мощный, такому тесно на самом деле в тех пределах, в которых он жил. Он был крупной фигурой, крупным характером, и все равно он все это принес в жертву исканиям правды. Его духовный внутренний, сокровенный путь — это завершение этого поиска. И это было совсем не просто. И этот поиск привел его и к внутреннему пути, и к внешнему изгнанию, поэтому слова Христовы о том, что «блаженны изгнанные правды ради»*, они справедливо написаны на его гробнице, на его могиле и на могилах многих других людей, но здесь это особенно звучит. Но я бы хотел подчеркнуть, что это блаженство. Блажен — это значит в высшей степени счастлив. На самом деле полнота раскрытия человеческого «я», его блаженство, заключается совсем не в том, чтобы не иметь препятствий, а в том, чтобы препятствия преодолевать, в том, чтобы быть победителем, несмотря на то что вокруг бушуют черные бури, и быть изгнанным правды ради — это не несчастье, а величайшая честь. Когда-то было сказано, что у нас высоко ценят поэзию, потому что за стихи расстреливают. Он это чувствовал, и его жизнь поэтому стала цельной, завершенной, несмотря на кажущийся трагический конец. Я не верю ни во что случайное и слепое, потому что в таких событиях всегда есть высший смысл, который открывается только с расстояния. Только с расстояния. Вот. Блаженный — значит счастливый, и он — человек низвергнутый, непризнанный, осмеянный, изгнанный — тем не менее нес свое счастье внутри. Вот это самое главное.

*Мф.: 5,10

ИЗ КНИГИ «ВОСПОМИНАНИЯ»

В декабре 1971 года был исключен из Союза писателей Александр Галич, и вскоре мы с Люсей пришли к нему домой; для меня это было началом большой и глубокой дружбы, а для Люси — восстановлением старой, ведь она знала его еще во время участия Севы Багрицкого в работе над пьесой «Город на заре»; правда, Саша был тогда сильно «старшим». В домашней обстановке в Галиче открывались какие-то «дополнительные», скрытые от постороннего взгляда черты его личности — он становился гораздо мягче, проще, в какие-то моменты казался даже растерянным, несчастным. Но все время его не покидала свойственная ему благородная эlegantность. Галич жил вдвоем с женой, Ангелиной Николаевной. В доме довольно много антикварных вещей; недавно, когда он был преуспевающим киносценаристом («На семи ветрах», «Верные друзья» и др.), он умел со вкусом распорядиться своими гонорарами; сейчас же ему было (пока) что продать, чтобы купить жизненно необходимое. На стене висел прекрасный карандашный портрет Ангелины Николаевны (я не знаю, кто был художник, — в эту женщину можно было влюбиться) и рядом стоял бюст Павла I. Я несколько подивился такому выбору, но Галич сказал:

* Андрей Дмитриевич Сахаров (1921—1989)— ученый, физик-ядерщик, академик, правозащитник. Лауреат Нобелевской премии. В 1980 году за правозащитную деятельность был сослан в г. Горький (Нижний Новгород), где прожил до 1986 года. По возвращении в Москву был избран народным депутатом в Верховный Совет СССР, на заседаниях которого неоднократно выступал против войны в Афганистане.

— Вы знаете, история несправедлива к Павлу I, у него были некоторые очень хорошие планы.

(Недавно мы с Люсей читали интересную книгу Эйдельмана об эпохе Павла I, в чем-то подкрепившую для нас мысль Галича о некоторой несправедливости традиционных оценок этого человека.)

Еще один эпизод из этой встречи запомнился — может, и не очень значительный, но хочется рассказать. Я стал говорить о «Моцарте» Окуджавы, я очень люблю эту песню. Но Галич вдруг сказал:

— Конечно, это замечательная песня, но вы знаете, я считаю необходимой абсолютную точность в деталях, в жесте. Нельзя прижимать ладони ко лбу, играя на скрипке.

Я мог бы сказать в защиту Окуджавы, что старенькая скрипка — это метафора и что все воспринимают Моцарта не как скрипача, а как композитора. Но в чем-то с точки зрения профессиональной строгости Галич был прав, и мне это было интересно для понимания его собственного творчества — скрупулезно точного во всем, филигранного. А «Моцарта» и другие песни Окуджавы я люблю от этого не меньше. Потом мы много раз еще бывали у него; после отъезда Галича за границу нам очень не хватало возможности заехать иногда в эту ставшую такой близкой квартиру у метро «Аэропорт». Бывал он и у нас, чаще всего — на семейных праздниках, всегда охотно и помногу пел свои песни, без которых нельзя себе представить наше время. Помню, как однажды он на секунду замешкался, не зная, с чего начать, и Юра Шиханович (голосом, который у него становится в таких случаях несколько скрипучим) попросил спеть «По рисунку палешанина... (кто-то выткал на ковре Александра Полежаева в белой бурке на коне...)». Саша тронул струны гитары и запел: «...едут трое, сам в сердочке, два жандарма по бокам». Его удивительный голос заполнил маленькую комнату

Руфи Григорьевны, где мы все сидели. Сместились временные рамки, смешались судьбы людей, такие различные и такие похожие в своей трагичности (Александра Пушкина, Александра Грибоедова, Александра Полежаева и Александра Галича). Вскоре был арестован Юра Шиханович, Александр Галич летом 1974 года эмигрировал, а еще через три года — его не стало. «Столетие — пустяк».

Незадолго до отъезда Галич был у нас на дне рождения Люси, он спел, в числе прочих, посвященную ей ностальгическую песенку о телефонах. Спел он в тот раз и свои, звучащие как завещание: «Не верьте тому, кто скажет, что знает, как надо», «Не зовите нас, мы сами придем»*, «Когда я вернусь...».

* У Галича «Не зови меня: я и так приду», но вряд ли множественное число в этой фразе у Андрея Дмитриевича можно назвать в строгом смысле «ошибкой». Галич о Нобелевской премии Сахарова говорил: «Это наша победа!»

В ЗАМКЕ МОНЖЕРОН

1976 год. Из Мюнхена в Париж на постоянное жительство приехал Александр Галич с женой Ньюшей. Его я никогда не видела, а ее видела в Доме литераторов в стародавние года. Тогда Семен Липкин числился переводчиком и имел право на собственный творческий вечер в плане мероприятий этого Дома. После липкинского вечера в коридоре толпилась обычная публика, и лишь одна женщина выделялась среди всех царственным видом и монументальной осанкой. Глаза у нее были сапфирные, а голос как колокол на башне вечевой.

— Сашечка, ты скоро? — прогремело по коридору этим голосом. И в ответ прошелестело подобострастное:

— Ньюша Галич... Жена Александра Галича.

Она глядела поверх голов, словно незрячая, как и подобает монументу. Я испугалась и прошмыгнула мимо. А ведь это был Галич, песни которого распевались и записывались в захлеб и который был человеком иных сфер — и диссидент, и светский лев, и бес-

* Майя Ильинична Муравник — филолог, в шестидесятые годы работала в издательстве «Советский писатель», затем в Союзе писателей СССР. В 1975 году была вынуждена эмигрировать во Францию вместе с мужем, Александром Глезером, коллекционером и устройтелем знаменитых выставок неофициальной живописи — так называемой «бульдозерной», Измайловской и других. Живет в Париже.

пощадный обличитель, и как денди лондонский одет. И надо бы мне остаться на него поглядеть. Но русские, а также и евреи, ленивы и нелюбопытны.

А теперь эмиграция все перемешала и перепутала. Все тут болтались друг возле дружки, и, как выразился Вертинский, «чьей-то жестокой рукою мы брошены в эту большую кровать».

Человек, приближенный к одному высокопоставленному изгнаннику, нам позвонил и сказал, что завтра в Монжерон приедет немецкое телевидение, чтобы снимать Галича на фоне нонконформистских картин. Это станет как бы совокупностью русской неофициальной культуры за рубежом. Такая у немецкой телекорпорации была идейно-просветительская задача. Я благословляла немцев за их задачу и с трепетом ждала гостей.

Ангелина Николаевна, Ньюша, постарела и оказалась вполне нормального роста. Осанка у нее была, как и прежде, царственная, но она в своих брюках фирмы «Лапидус» ходила немного по-солдатски. Туфли у нее были мягкие, спортивные и тоже какой-то изысканной фирмы. Но глаза по-прежнему оставались сапфирными, а пальцы точеными, как на картинах итальянских мастеров. И были унижены сверкающими перстнями. Насчет красоты рук я ей тут же поторопилась доложить, и она знакомым колокольным голосом пояснила:

— Мой род по материнской линии идет от Палеологов.

— А по отцовской?

— По отцовской?.. От простых мужиков. Однако в Гражданскую войну этот мужик стал комдивом и влюбился в девушку-аристократку. Он на ней женился и спас от голодной смерти.

Александр Аркадьевич был похож на свою недавнюю фотографию в «Русской мысли», где он был

представлен стареющим красавцем львиной масти и артистического обаяния. Вблизи он оказался утомленной и печальной. Под черными яркими глазами набрякли сизые мешки, и все лицо тоже набрякло. Но он улыбался, шутил и очаровывал всех. Семейство дополняла белоснежная с ниспадающей шерстью собачка Шуша породы пекинес со вдавленной мордочкой и торчащими нижними зубками.

— Щеночек еще, — сказала Ньюша. — Сашечкин подарок. Ведь у нас в доме собаки не переводились, и все пекинесы. Это уже пятая или шестая. Но, как и те, — чистопородная, Сашечка специально разыскал ее в мюнхенском клубе. А строптивая! На днях пропала, и мы чуть с ума не сошли. А потом нам ее доставили из полицейского участка. У-у! негодница!

Шуша и мордочкой не повела и на коротких ножках потряхала в зал, где телевизионщики устанавливали свою аппаратуру. Мы сидели на кухне, Александр Аркадьевич не прислушивался к дамской болтовне и ждал, когда его позовут. Его позвали. Он взял свою гитару и пошел. В нем была озабоченность рабочего человека, который выполнял свое дело и относился к нему серьезно.

Мы тоже пришли поглядеть. Александр Аркадьевич послушно садился там, где его просили, начинал петь и переставал тоже, когда просили. Движения у него были спокойные, пластичные, уверенно-профессиональные.

Песни он пел знакомые, голоса не повышал. От общей суматохи, жары и света прожекторов он устал и бледнел все больше и больше.

Мы с Ньюшей взгромоздились на стол, который стоял в углу. Шуша крутилась рядом на поводке, лаяла и мешала людям работать.

— Ну, Шушечка, ну, девочка, перестань! — упрашивала Ньюша. — Прекрати, противная девчонка! — закричала она.

Она взяла собаку на руки и теперь неотрывно глядела на мужа и слушала, как он поет, словно это было не в тысячный, а в первый раз. Но вдруг у нее переменилось лицо, она спрыгнула со стола, споткнулась о кабель, и напрямую, шагая по спутанным проводам, направилась к главному:

— Прошу вас... э-э... месье-господин, остановите, пожалуйста! Александру Аркадьевичу плохо! Он же совершенно замучился! У него больное сердце!

Немец немедленно все понял, его коллеги залопотали по-немецки и скоренько сложили вещички. Через пять минут грузовик уже фырчал за воротами. Александра Аркадьевича чуть пошатывало, но он был доволен, что все наконец кончилось.

— Нам, Ньюшенька, тоже пора? — спросил он.

— Нет, Сашечка, поди-ка попей сначала дигиталису, там, на кухне, у меня в сумке лежит. А потом подыши во дворе. Погода хорошая, и там есть скамеечка. А мы с Майечкой прогуляемся тут поблизости, да и Шушу надо вывести.

Я повела Ньюшу на остров, который находился в двух шагах от замка, тут же на задах, лишь перейди по мостику речонку Йер. Остров был диким, запущенным, зарос колючками и крапивой, и зачем я повела туда нарядную даму, сама не знаю.

У Ньюши не было привычки к нецивилизованной природе. Она ступала по земле, словно космонавт по луне, вытирала платком лоб, проваливалась в промоины и спотыкалась на кочках. Вскоре ее «Лепидус» весь был заляпан грязью. Шуша, наоборот, рвалась в самые буйные заросли и была вся обвешана репьями.

— Ах, какая мужественная собачка! — сказала я.

— Порода такая, — ответила Ньюша. — Пекинесы очень верные, смелые и выносливые собаки. Их вы-

вели в Пекине, отсюда и название. Но китайцы их, кажется, едят.

— Китайцы все едят, — сказала я.

Тут Ньюша заметила шершавый поваленный ствол и сразу на него плюхнулась, не обращая внимания на чистоту своих одежд. В ее манере не трястись над тряпками было нечто аристократическое.

— Вы тоже мужественная женщина, — сказала я. — Властная и главная в семье.

Она сказала:

— Все так думают. Но это ошибка. Вы знаете, как называл меня Сашечка в Москве? Он меня называл «Ребе Ленинградского района». Мы жили в писательском доме на Аэропортовской в Ленинградском районе. Наши писательские дома это, знаете ли, нечто вроде огромной коммунальной квартиры. Мы всех знали, и нас все знали. Там происходили бесконечные дразги и сведение счетов... Но образовывались и крепкие дружеские связи. А в нашей квартире народ вообще не переводился. Приходили поболтать, посплетничать, посудачить и пожаловаться. А я всех судила и рядила. Прибежала однажды Люська Ивинская, стала плакать и умолять приютить ее на три месяца. Ей совершенно некуда было деваться. Я разрешила, конечно.

— Какая Люська? — не поняла я.

— Ну, Ивинская же, Ольга, любовница Бориса Леонидовича. У нас ее все звали Люсей. Такая...

— Ивинская!..

— Ну да, она попросилась на три месяца, а просидела все шесть.

Препротивная, скажу вам, бабенка. Вот написала она эти самые свои воспоминания. А зачем? Я же ей не велела писать и тем более публиковать. И она обещала. А потом взяла да издала. Ей, видите ли, этот профессор-литературовед помог, он ей сказал,

что это ценно для истории. Ха-ха! Ценности там кот наплакал, а книжка получилась дрянной. А я ведь предупреждала. Надо было еще работать, работать и работать! Поторопилась!

— Неплохие, кстати, получились воспоминания, — сказала я. — Мне понравились.

— Оставим, Майечка, этот разговор, вам этого не понять!

Нюша здорово разозлилась, грозно и гневно хмурилась. Я, вместо того чтобы спустить на тормозах, стала давать ей постные советы относительно пользы воспоминаний. И что вот, дескать, и ей бы самой не грех начать писать. Ведь материал у нее интереснейший и людей она знала выдающихся.

Ее перекосило, как от рвотного:

— Нет! Никаких материалов и никаких выдающихся людей. Пойдемте же, наконец, отсюда!

Комары вокруг нас мерзко зудели. Я помогла Нюше выбраться на тропинку. Чтобы повысить ей настроение, я стала восторгаться ее безупречными ярко-белыми зубами. По нынешним временам это редкость.

— Мюнхенский протез, — пробурчала она. — На ваши франки выходит, кажется, тридцать тысяч. Перед самым отъездом в Париж он у меня, кстати, едва не пропал. Я по рассеянности бросила его в помойное ведро. Мне повезло, что был воскресный день. По воскресеньям мусороуборочные машины в Мюнхене не работают.

Меня разобрал смех. Я прокашлялась:

— Ужас! Я бы с ума сошла!

Нюша ко мне повернулась.

— Чепуха все эти челюсти и переживания. Главное, чтобы был здоров Сашечка. Вы ведь знаете, он очень больной человек и всю жизнь сидел на лекарствах. Иногда начинались такие приступы, что я бу-

квально чудом выцарапывала его из смерти. Но в такие моменты приходят особые силы. И вот это было для меня главным, что я все сумела преодолеть.

— Вы мужественная женщина, — снова вякнула я. — Вы решительная и волевая.

— Нет, — сказала Ньюша печально. — На самом деле я представляю из себя фигуру до тех пор, пока есть Сашечка. Живет на свете Александр Галич, и существует его жена Ньюша Галич. Но, не приведи Господь, его не станет, и меня тут же тоже больше не станет. Из жены Галича я превращусь в никому не нужную старую швайку.

Александр Аркадьевич с Сашей уже сидели на кухне. Кипел чайник и пахло нарезанной колбасой.

— Любопытно, — сказал Галич. — В архитектуре вашего замка я обнаружил две совершенно разного стиля постройки. Справа балконные решетки, кованные вручную, а слева — фабричным способом. Создается впечатление, что это единое здание, а разница между его частями не меньше ста лет. Очень, кстати, приятный замок. Не пойму, за что его все ругают.

— Замок мрачный, — пресекла Ньюша. — За речкой мы с Майечкой попали на остров, который я бы назвала Островом слез. Там я чуть не переломала ноги. Все до отвращения запущено и уныло.

— А мне хорошо, — сказал Александр Аркадьевич. — Мне тут спокойно и хорошо. Век бы отсюда не уезжал.

— Да, — сказала Ньюша. — Сашечка безумно устает. Он пишет книгу, без конца ездит. Должен поехать в Италию, в Израиль...

— Мне не очень крепкого, Майечка, — сказал Александр Аркадьевич. Он сидел в позе раскованной и свободной, и он везде, наверно, был таким, будто попадал в родной дом. И другим становилось с ним

хорошо. — Вот все думают, что поездки, концерты — это хлопотно, утомительно. Хлопотно, конечно, и утомительно, но я привык, и не в этом суть. Главное, что ничего не висит над головой, что не держит за глотку удавка.

— Плевал я на удавку! — крикнул Глезер. — Меня московская удавка не душила! А местные гады!..

— Бросьте, Саша, — сказал Александр Аркадьевич. — Вот напал на меня сейчас как раз стих, и я вас постараюсь рассмешить. Тогда вся ваша хандра сразу пропадет. Хотите?

Глаза его в набрякших веках были веселые, и он начал рассказывать.

— Значит, за фильм «Государственный преступник» я получил специальный почетный диплом КГБ.

— Прекрасный, кстати, был фильм! — сказала Нюша.

— Отвратительный был фильм, — сказал он. — Но я не к тому. А я именно к тому, что для вручения этого самого диплома меня вызвали в клуб КГБ. Представляете, богатейший, роскошный клуб. Я таких никогда больше в жизни не видел. Провели меня эти чины по фойе, потом показали зал... Ведут за кулисы. А там за столом, гляжу, уже торчат знакомые морды — Аркадий Васильев, Вадим Кожевников и Лев Никулин.

— Знаменитые авторы, — сказала я.

— Все, как один, записные гэбэшные писатели, — уточнил Александр Аркадьевич. — Они, бедняги, ничего про меня не знали. То есть относительно моего почетного диплома они не были в курсе дела. Ну, и веселились, о чем-то своем разговаривали и хохотали. И вдруг смотрят — я. Опять, значит, эта мразь Галич! И здесь от него не схоронишься. И сюда он пролез! Аркадий Васильев не выдержал — вышел. Остальные остались, сидели бледные и поникшие.

Потом, когда уже выдавали мне диплом, Никулин Лева, самый из них слезливый, украдкой даже слезу вытирал: ну как же! Даже и тут, сволочуга, его обскакал!..

— Подлейте-ка, Майечка, заварочки, только теперь покрепче, — сказал Александр Аркадьевич.

— Ты забыл, Сашечка, про свое сердце, — сказала Ньюша.

— Так это же прекрасно, что забыл! Лейте, Майечка, лейте! Вот так. Спасибо. Итак, слушайте дальше... Это, дай Бог памяти, кажется, было году в сорок девятом. Получаю я, значит, однажды извещение, то есть вызов, прийти по такому-то адресу. В том году множество людей получали подобные извещения, а потом словно в омут проваливались. Я не удивился, но, прямо скажу, здорово тогда струхнул. И больше тревоги подбавляло, что в адресе была указана частная квартира. Сначала я подумал: да ну их к черту! Если я им нужен, сами придут. А то к ним являйся с доставкой на дом. Однако пошел. А как не пойти? Звоню. Меня пропускают в переднюю. Обыкновенная советская квартира. Сервант «Хельга», на тахте вышитые подушечки. На стене, помнится, даже картинка какая-то была повешена — не то «Мишки в сосновом бору», не то «Аллея в Сокольниках». Но дело даже не в них, а в какой-то общей угрожающей фальши. Вся атмосфера действовала отвратительно. За столом прямо передо мной сидел какой-то старичок и что-то писал. На меня не взглянул. Я поздоровался. Он все писал, все строчил, и рожа у него была такая — словно он три дня подряд мешки пудовые таскал. Утомленный, замученный был старичок. Оч-чень он от какой-то работы устал. Наконец поднял голову:

— Садитесь, пожалуйста. Прекрасно. Теперь сосредоточьтесь и постарайтесь вспомнить.

— Ради Бога!

— Ну, ну... Вы, Александр Аркадьевич, во время войны, кажется, давали концерты в Мурманске... Помните? Так вот... Не говорит ли вам о чем-нибудь фамилия — Сергеев? Да-да, Сергеев. Он еще в ансамбле участвовал, на аккордеоне играл.

— Ну, и что же, что играл?

— Дело не в том, что он играл на аккордеоне, — насупился старичок, — а в том, что он передавал англичанам секретные сведения... У нас есть подтверждающий материал. Однако нужны дополнительные сведения. Вы можете подтвердить?

Галич изобразил старичка и его паучью осанку.

— Я ответил: могу.

Старикан этот даже порозовел. Задвигался на своем стуле, и глаза у него стали более осмысленными.

— Ну... Ну и что?.. Они с ним встречались?

— Да, встречались.

— И разговаривали?

— Да, и разговаривали.

Старикан просто весь задрожал:

— И на корабль к нему приходили?

— Приходили, — говорю. — В каюте у него бывали.

Старикан вышел из-за стола, прошелся по коврику и стал потирать от удовольствия руки.

— Чудесно! Спасибо вам за ценнейшие сведения, Александр Аркадьевич. Вы себе даже представить не можете, как вы нам помогли! Именно такого рода сведения нам больше всего и полезны. Спасибо за помощь! Только теперь вы их нам изложите, пожалуйста, письменно, Александр Аркадьевич.

— С удовольствием.

Он провел меня в соседнюю комнату, дал ручку с бумагой и оставил одного. Я накатал на трех листах,

листочки собрал и направился к старику, вот, дескать, прочтите.

— Однако, — сказал я ему, — довожу до вашего сведения, что именно в тот момент, о котором идет речь, я как раз в Мурманске не был. Подробно в этих записях указываю. Меня тогда в Мурманск не пустили по вашему же специальному распоряжению. Так что я тогда остался без работы в Москве и чуть не подох от голода без продуктовых карточек.

У старикана перекосилась физиономия.

— Так вы еще над нами издеваетесь! Вы — так! Вам все хахиньки! Вам все насмешечки! Но не беспокойтесь, товарищ Галич. У нас вы по-другому будете смеяться. Вон отсюда!

Дома я собрал узелок и стал ждать. Я тогда почти перестал спать. Они ж забирали людей ночами.

— Ну?..

— Ничего, — сказал Александр Аркадьевич и хохотнул. — Обошлось. Почему? Не имею понятия. Может, другими делами завалило, а может, старичку со мной просто связываться не захотелось. Очень уж старенький он был. Переутомился.

Галич помолчал, потом вдруг меня спросил:

— Кстати, Майечка, мне здесь кто-то недавно говорил, что вы одно время работали в Московской писательской организации. Не помните ли вы там такого писателя Александра Рекемчука?

— Ой! — обрадовалась я. — Как же не помнить! Ведь он же был моим шефом. То есть не прямым начальником, как Виктор Николаевич Ильин. А как общественная нагрузка по работе с молодыми.

— Хо-хо! Ну, и как же он там у вас шефствовал?

— Хорошо шефствовал. Он иногда звал меня по сидеть с ним в ресторане за столиком, поболтать... Приятный, добродушный толстяк.

— Совершенно верно, — подтвердил Галич. —

И почему Юрий Олеша придумал своих толстяков злыми? Они редко бывают злыми. Жирок... как бы это сказать... растворяет агрессивные наклонности. Зато уж тощих берегись!

Все расхохотались и поглядели на Глезера, который сидел, как Кощей Бессмертный.

— Поглядел бы я на вас, — сказал он. — Как бы вы выглядели, если бы вас посадили в этот муравейник.

— Сашечке это, слава Богу, не грозит, — сказала Нюша. — Он никогда не влезает ни в какие муравейники. Его не касается никакая грязь. — Нюше, как видно, припомнилось что-то малоприятное, и она, величественная, гневно и грозно нахмурилась. — Да вы себе даже представить не можете, что там творилось, на этой мюнхенской радиостанции! Там была жуткая атмосфера! Такие сплетни! Такие сплетни! Я из-за этого... заболела. Там все разбились на группы, все друг друга подсиживали, и каждый старался перетянуть Сашечку на свою сторону. Но нет!

Александр Аркадьевич поморщился.

— Нюша, — сказал он. — Ну, для чего ты стала вспоминать все эти вещи? Хватит, прошу тебя! Так о чем мы с вами, Майечка, говорили?

— О Рекемчуке.

— Да-да, о Сашке. А то все перекрутилось совсем в другую сторону. Так вот... Не берусь судить, каким он был писателем, но парнем был совсем неплохим. Особенно в подпитии. А однажды, уж не помню по какому поводу, он здорово хватанул, и его потянуло рассказывать. В ЦДЛ, конечно.

— Саша, милый, — говорит, — только никому об этом ни слова. Но тебе, как другу, скажу.

Меня тогда как раз только что исключили из Союза писателей. Все удивлялись и нервничали, потому что общего собрания, как полагается в таких случа-

ях, не было. Это уже потом, вопреки уставу, стали исключать на Секретариате. Так потом исключали Володю Корнилова и Лидию Корнеевну Чуковскую. Однако новая мода пошла с меня, и я до сих пор этим горжусь. — Александр Аркадьевич хохотнул. — Приятно, что ни говорите, быть первооткрывателем, пролагателем новых путей. А Сашка Рекемчук, он что ж, он только приоткрыл мне их закулисную возню:

— Под страшным секретом... Семеро нас там было на этом голосовании... У-у, суки! Голосование, конечно, тайное... Стали подсчитывать голоса, а... батенька, миленький, четверо-то оказались против! Что началось! Стрехнин, этот мудака, он тогда управлял всем этим делом... Так он даже посерел от страха. Молчит, головой качает и пальцем на потолок показывает — дескать, нет, не годится, товарищи! Там ждут единогласного решения. Переголосовать! Он приказал. Ну, мы переголосовали, естественно. — Он проглотил еще рюмашечку. — На этот раз, ты уж прости, друг, единогласно.

Галич вздохнул. Он устал рассказывать, но Ньюша попросила:

— Сашечка, ты расскажи, пожалуйста, еще про веревку... Ну, помнишь, уже перед самым отъездом...

— А-а, да-да...

— Ты расскажи, и мы поедem. Уже поздно, и Шуша не кормлена. Кстати, как у вас тут с такси?

— По телефону, — сказала я. — А для Шуши у меня есть мясо. Хотите?

— Нет, — сказала Ньюша. — Шушечку мы кормим только бифштексами из нашей мясной на авеню Гюго. Ведь правда, доченька? — спросила она Шушу, наклонившись под стол.

Та проворчала что-то невнятное. Александр Аркадьевич прикрыл глаза.

— Нам давно уже, Ньюша, пора. Мне завтра рано вставать. Но уж так и быть расскажу. Значит, дело было так. Наступил момент, когда мы от всех треволнений, мучений и тревог уже еле дышали. Я валялся в приступах, Ньюша заболела... Однажды к ночи к нам в дверь вдруг позвонили.

Я пошел открывать, потому что мне было уже все равно.

— А может, это были друзья? — спросила я.

— Друзья в эти дни обычно предупреждали заранее, — сказала Ньюша. — Да и поздно чересчур.

— В общем, вошли. Два заурядненьких типчика в одинаковых пальто и шляпах. Какие-то мутные близнецы. Поздоровались, присели за стол. Затеяли общий треп... То да се, ля-ля, бу-бу. А время идет. Стрелка ползет к двенадцати. Я от них дико устал, голова разболелась, и, главное, не могу понять, куда они клонят? Гляжу, один из них нервно так передернулся:

— Ну, к делу! Нам, Александр Аркадьевич, нужна от вас одна милость.

— Милость?

— Не то чтобы милость, но совсем чепуховая штука... Симулируйте, пожалуйста, самоубийство.

У меня даже челюсть отвисла.

— Какое, — спрашиваю, — самоубийство? Вы что, спятили, что ли?

А он очень оживился и даже стал похож на человека:

— Мы, Александр Аркадьевич, предлагаем вам отличный выход. Лучше ничего не придумаешь. Да еще при вашем отчаянном положении. Мы же знаем, что вы того... И мы очень хотим вам помочь. А все можно поправить самым обычным трюком...

Другой подхватил:

— Вот именно, что простым. Совершенно простым! И, главное, все будет проходить в секрете. Что называется, никакой комар носу не подточит.

Я глядел на них бессмысленно, а первый вошел в настоящий азарт. Он вскочил со стула:

— Вы только повиснете — мы тут же входим... Сразу вытаскиваем вас из петли — и лады. Полная гарантия здоровья. Не хотите?!

Я устался в угол. Он присел.

— Жаль. Тогда погодите... Имеется еще один вариант. Правда, похуже. Можно натереть шею мокрой веревкой... Но это больно, да и ссадины останутся. Зачем это вам? А так — моментально вынем из петли и сразу в больницу. Потом все устроим в лучшем виде. И никакого ареста не надо. Так что вы думаете? Не хотите?! Все равно не хотите?!

Тут голос у него прокис, и лицо поскучнело. Он кивнул напарнику, и они направились к дверям. И уже у выхода он сказал:

— Напрасно это вы, Александр Аркадьевич. Напрасно, говорю, отказались. А ведь такой замечательный ход был!

Галичи уехали, и мы с ними больше не встречались. Наступил декабрь 77-го года. Однажды я шла от здания Лионского вокзала к автобусной остановке. Впереди шествовал элегантный сутуловатый господин с саквояжем и зонтиком. Он направлялся к стоянке такси. «Да это же Галич!» — вдруг сообразила я. Недавно мне кто-то рассказывал, что он находится в Италии, где проходят его выступления. И вот теперь он вернулся в Париж и едет к себе домой. Может, подойти и поздороваться? Ну, нет, неудобно... Александр Аркадьевич после дороги устал, и навер-

няка он меня забыл. Увидит и удивится: откуда взялась эта тетка?

Пока я колебалась, подъехало такси и его увезло. Ах, если бы я могла знать...

На другой день, 15 декабря, мне позвонила знакомая и сказала, что час назад Александра Галича в собственной квартире убило электрическим током. Как? При каких обстоятельствах? Пока никто ничего толком не знал, и все находились в настоящем шоке. Ньюша кричала до судорог. В квартире было полно полицейских.

Через неделю хоронили Александра Аркадьевича. Люди целиком заполнили вместительный храм Александра Невского, нарядный и красивый православный храм на улице Дарю. Отпевание закончилось. Гроб вынесли во двор. Здесь тоже было полно народу — пришли все три русские эмиграции — и первая, и вторая, и третья. Такое случалось нечасто. И все растерянно глядели друг на дружку. Ньюшу держали под руки. Рядом стоял Володя Максимов с женой Таней. Я с ними поздоровалась, Володя никого не видел, закаменел. Кто-то рядом сказал:

— Умер Галич, а Максимов убивается, словно сам умер.

Кладбище Сен-Женевьев де Буа.

День был промозглым и ветреным, просторные аллеи продувало насквозь.

Говорились речи, поминались заслуги покойного, его свободный и дерзкий поэтический дар, вызов, брошенный власти имущим на родине, и то, как заговорил в его песнях лишенный голоса человек толпы, каким он сам был добрым и человечным. Крупный был телом и душой. И вот душа вознеслась, неизвестно куда, а тело, день назад еще теплое, жадное

до земных наслаждений и радостей, теперь скрытое от глаз в темном ящике, опускали в эту яму.

Когда все было кончено, ко мне подошла Таня Максимова и попросила, чтобы я осталась на поминках.

— Твой-то где? — спросила она.

— Понятия не имею, — ответила я. — На вернисаже, кажется, на каком-то.

Поминки были шумными. Все ели, пили, говорили. Ньюша пыталась хозяйничать, но у нее все валилось из рук, и она то и дело принималась плакать. Приглашенные, впрочем, особо долго не засиживались, все куда-то торопились, у всех находились неотложные дела. Вскоре за столом остались только Ньюша, Вадик Делоне и его жена Ира. Я упрашивала Ньюшу меня отпустить, убеждала, что опаздываю на последний поезд.

— Ведь вы же не одна останетесь, — говорила я. — Ведь Вадик и Ира останутся у вас ночевать.

— Правильно, — отвечала Ньюша. — Они останутся. Но и тебя я очень прошу никуда не уезжать. Не провалится твой Монжерон. Ну, ради Бога! Ну, Майечка, ну, милая! Ох, я не выдержу! Он тут вот, возле дивана, лежал мертвый. И зачем я тогда, дура, выскочила за хлебом? Я же всего на пять минут выскочила, даже меньше. Даже Шушу не взяла! Он возился с какой-то антенной, я не обратила внимания, стальной прут... Я прибежала назад поскорей, словно чувствовала. А он лежит вот на этом самом месте возле дивана... Он был еще теплый, а Шушенька лизала его лицо. Боже мой!.. Вилку от антенны он воткнул в сеть и держался за антенну обеими руками. И обе руки были прожжены насквозь. На ладонях так и остались черные раны. Ох! Меня не было всего минут десять... Может, приди я на минуточку рань-

ше, его можно было бы спасти! Ох! Он же был еще теплый. Я с трудом оторвала антенну от его рук.

— Как же все это получилось, Ньюша? — спросила Ира.

— Не знаю. Никто ничего не знает. Меня еще будут терзать, вызывать в полицию, в разные специальные службы. Французы очень обеспокоены случившимся. Но что я им могу сказать?

— А что ты сказала?

— Я сказала, что скорее всего — это несчастный случай. А кто что может доказать? Почему он купил эту проклятую антенну? И именно эту? Кто ему посоветовал? В каком магазине он ее купил? Та антенна не подходила к нашей установке, но, может, он надеялся ее подключить?.. Ему уж очень хотелось свободно ловить станцию «Свобода», где он работал. Обычно это трудно, потому что страшный шум и помехи. Он хотел от них избавиться. В тот день он поехал, как обычно, на «Свободу» и уже на обратном пути зашел в какой-то магазин и купил там убийцу-антенну. Ни чека, ни квитанции не нашли. Я обыскала все карманы пальто, пиджака и всюду в столе... Может, это и КГБ, а может, и несчастный случай. Сашечка, правда, терпеть не мог расписок и никогда их из магазина не забирал, выбрасывал по дороге. Он и квитанции, и инструкции всякие тоже выбрасывал. Он их не переносил. Он любил сам до всего додумываться и всегда все делать собственными руками.

Ньюша открыла новую бутылочку пива, выпила. Тут же открыла другую. Плотный полукруг таких бутылочек облепил уже полстола и теснился к ней ближе, ближе. Вадик тянул к себе водочные бутылки, наливал водку в бокал и высасывал. Снова наливал. Он молчал. Мокрые его губы улыбались, монгольские глаза ничего не видели. Ира озабоченно поглядывала на мужа. Ньюша высморкалась:

— Вадичка, не пей так много, родной мой! Ведь ты же — не я. Тебе еще жить да жить... Ты молодой, талантливый... Ты должен написать свою книгу, у тебя есть цель в жизни. У меня ничего нет. Вся моя жизнь заключалась в Сашечке. Опять ты наливаешь! Не пей, тебе говорю! Прошу тебя, как сына. Это очень и очень опасно... Здесь, в Париже, ты совсем потерял голову. А я прекрасно помню, каким ты был в Москве. Ты же был совершенно другим человеком! Вспомни, до чего хорошо и дружно было в Москве! Там все было другое. Ты помнишь?

Ира наклонилась ко мне и шепотом пробурчала:

— Помнит, помнит! А сама своего Сашечку никуда никогда не пускала. Тряслась за него, боялась, что мы можем ему навредить. Не пустила и на нашу с Вадиком свадьбу. Ему, мол, ни к чему, когда собирается вся диссидентская Москва. Могут произойти неприятные эксцессы. Ну да, ну, конечно! Вся диссидентская Москва была, а вот Галича не было!

Было уже очень поздно. Ньюша пошла в спальню стелить постель для Вадика с Ирой и, вернувшись, стала стелить мне на диване возле окна. В стекло неистово билась окоченелая ветка. Этот шум меня раздражал, я знала, что не засну. На разложенную простыню вскочила Шуша, она опрокинулась на спину и немножко повалилась. Ньюша взяла ее на руки и разрыдалась:

— Мы теперь остались с тобой одни, доченька. Мы теперь никому не нужны. Господи! Хоть бы мне поскорей умереть! Тогда я уйду вслед за Сашечкой, и я верю, что мы там встретимся.

— Вы — живая память о нем, — сказала я. И мне даже не было стыдно, что я мелю такую чушь. Я устала. Однако Ньюша вцепилась в мое замечание:

— Вы так думаете! Напрасно! Уверяю вас, Майечка, что его скоро забудут. Не пройдет и нескольких

лет, как вы убедитесь, что я была права. И мое существование тут ни при чем. Просто новым поколениям он станет не нужен. — Она опустила на стул. — Ну, вот... Скоро мне с этой квартиры съезжать. Ведь авеню Виктор Гюго — это очень престижный район. Меня, с моей жалкой вдовьей пенсией, никто в этих роскошных апартаментах не оставит. Выгонят. Заткнут в какую-нибудь дыру.

— Не заткнут, Нюшенька...

Нюша крикнула:

— Уверяю вас, Майечка, что все это мне совершенно безразлично! Пускай издохну хоть под забором! Какая разница! Значит, такая моя судьба. — Она помолчала. — Вот только Шушечку жалко. Она ведь избалованная собачка, привыкла делать, что вздумается, и привыкла к тому, что ее так сильно любят. И нас она любила, особенно Сашечку. А после моей смерти куда она денется? Кому она нужна?

Нюша Галич пережила Александра Аркадьевича на шесть лет. Она задохнулась ночью от дыма во время пожара, который начался в ее спальне. Подвела проклятая привычка совать под подушку зажженную сигарету. Соседи и раньше жаловались консьержу, что эта полоумная старуха спалит дом. Консьерж поднимался к ней на одиннадцатый этаж и грозил выселением. Но обходилось. Чаще всего дым из ее окна выползал эдак в полдень или к вечеру. И сразу вызывали пожарную команду. Но в пять утра пожарников никто не вызвал.

Дело происходило уже не на роскошном авеню Виктор Гюго в шестнадцатом районе, а в арабско-еврейской части Парижа под названием Бельвиль. В переводе с французского это означает Прекрасный город. Алжирским арабам и евреям, которые проживали там в своих клоповниках, может, и было пре-

красно. Но Нюше — нет, хотя она и поселилась в комфортабельном новом доме со всеми удобствами. За эту квартиру тоже приходилось немало платить, но Нюша получала порядочную пенсию. Радиостанция «Свобода» благородно рассудила, что Галич погиб при исполнении служебных обязанностей.

У Нюши, которая, кроме русского, не знала ни одного языка, было в большом ходу сугубо французское словечко «дистенге». Если она хотела кого-нибудь похвалить за манеры или изысканный вкус, то говорила: «Этот господин — настоящий дистенге». Вот и Нюша была этой самой «дистенге», и ее ужасно мучил плебейский Бельвиль.

В трехкомнатную тесную квартирку Нюша ухитрилась втиснуть почти всю мебель, библиотеку и даже повесить картины друга семьи норвежского художника Виктора Спарре. Все эти картины были в каком-то ярко-синюшном колорите, но особенно запомнилась одна, под названием «Пророки». В унылой длинной комнате, голой, как лампочка на потолке, сидели в кружок на тюремных табуретках Солженицын, Сахаров и Алик Гинзбург. Над их головами сияли нимбы.

Нюшу за последние месяцы особенно развезло. Она грузно топала по квартире на опухших ногах, спускаться на улицу не любила и, чтобы не прогуливать Шушу, стелила ей на полу газетку. Та не обижалась и время от времени выбегала на балкон подышать чистым воздухом. Шуша погибла вместе с хозяйкой и таким образом сама разрешила вопрос о своем местопребывании, ведь она могла бы спастись: балконная дверь, как всегда, была приотворена, а дорогу туда Шушенька знала. Но она предпочла другое. Осталась преданной до конца. Она ответила любовью на любовь и этим выразила суть своей прекрасной собачьей натуры.

МЫ ДОЛЖНЫ БЫЛИ С НИМ ВСТРЕТИТЬСЯ

Я был в Париже. Вообще до этого мы с ним виделись в Риме, незадолго там было какое-то действо. Я не помню, кажется, это были Сахаровские слушания. Вот. Ну, и как-то мы знали, что еще увидимся. В городе, то есть в Париже. Вот, и приехал я в Париж, и в этот день в Париже гостили Любимов, Шнитке и Боровский. Шнитке я не знал, Боровского знал. Тогда была история с «Пиковой дамой»**. Ну, я-то с «Пиковой дамой» не занимался, потом никто ж не знал, что будет землетрясение. Они туда приехали по делам, вот, так что особо острых разговоров на тему о «Пиковой даме» не было, просто была встреча, мы разговаривали, сначала с Любимовым втроем, потом Любимов куда-то ушел, мы вдвоем остались, потом я пошел. До Саши у меня оставался какой-то люфт такой, который никуда не денешь. И я пошел пешком. Я пошел пешком, дошел до «Мадлен», потом вышел на Пляс де ля Конкорд, потом Трокадеро, прошел все Елисейские Поля, дошел до Этуаль, там рядом Максимов живет, а недалеко где-то там жил Саша, я на этой квартире у него не был. Ну, я думал, найду сначала к Максиму, позвоню оттуда Саше или раньше припрусь. Вот. Захожу к Максиму,

* Наум Моисеевич Коржавин. Родился в 1925 году. Поэт, с 1949 по 1954 год был репрессирован и находился в ссылке. В 1973-м эмигрировал из СССР. Проживает в США.

** После постановки «Пиковой дамы» Ю.П. Любимов лишился советского гражданства.

там француженка убирала, и я говорю: «Где Максимов?» Ну я мобилизовал, так сказать, французский язык. «Где Максимов?» Она говорит: «Его нету». Я говорю: «Разрешите мне позвонить». Она говорит: «Пожалуйста». И я позвонил наверх Максиму, наверху у него «Континент». Он говорит: «Зайди ко мне. Поднимись». И мне надо было подняться, но я вместо этого почему-то позвонил Некрасову, почему — это один Бог знает. Позвонил, и там Галя взяла трубку. Вики не было, естественно, она говорит: «Эмма, ты знаешь, какое несчастье случилось, Саша Галич умер». Я говорю: «Как это умер, я к нему иду». Умер. Вот. И тогда я считаю, что я единственный обладатель этого известия. Поднимаюсь наверх и говорю Володе: «Ты знаешь, Саша Галич умер». Он говорит: «Я уже там был, Ньюша кричит, все такое. Жуть». А Максимов был в Париже, такой — как всеобщий отец. Он очень человек добрый, и Сашу он любил. Он вообще добрый человек. Вот.

И какие-то еще там люди были, Любимов пришел, Вася Аксенов пришел, мы сидели. Потом с Викой Некрасовым куда-то ходили, я его домой провожал, он был надрамшись. Причем накануне, не накануне, а в Риме он говорил мне, что он адаптировался, ему хорошо, а тут он мне говорит: «Что тут такое! Идут. Люди, смотри, какие идут. Я же в Москве или в Киеве про всех всё знал. А тут мудаки идут, а куда он идет, зачем он идет, а хрен его знает...» Вот. Так мы с ним дошли до Пляс Пигаль романтической, где он там рядом жил. Некрасов был, естественно, раздрызган по этому случаю, потому что последнее время он тогда не пил и тут, конечно, запил. Мы шли, и там зланный район был, к которому он не имел никакого отношения. Стоит вышибала у барака, а Вика ему говорит, ну, что ты здесь стоишь, мать твою за ногу, ну, что ты здесь стоишь. Ну, я его оттащил, а тот не понимает, в чем дело, стоит такой

вполне солидный господин, чего-то такое требует от него. Ну, и проводил его, так сказать, Некрасова. Это был такой день.

* * *

До определенного момента я про Сашу ничего не знал. Потом однажды я был в Ленинграде, как ни странно, у моих друзей, у Тamarченко. Приходила молодежь, в том числе Клячкин. И Клячкин начал петь какие-то песни, все эти песни мне не нравились. Вот так я сидел, и вдруг он спел песню, которая мне понравилась. Это были, ну, «Маляры», в общем. Я сказал: вот это хорошая песня. Он говорит: «Это Галич». Я тогда вот так впервые в этой связи услышал его фамилию. И «Леночку» он, по-моему, спел тоже, потом. Это были две песни, которые мне понравились. Потом где-то я его увидел на декаде русского искусства в Казахстане. И мне сказала жена Рождественского, что он, мол, хороший поэт. Рождественскому я не очень верю, его жене тоже. Ну, потом песни пошли, песни. Однажды к нему пришли я, Штейны, по-моему, Сарнов Бен тоже был. Мы только что познакомились, но с тех пор могли где угодно и сколько угодно встречаться. Отношения у нас были хорошие. А с чего им было быть плохими? Я его уважал, он меня уважал. У литераторов плохие отношения бывают, когда непризнание, можно не враждовать с человеком, но дружить с человеком, который к себе относится не так, как ты к нему, очень трудно. А поскольку здесь этого не было, отношения у нас были хорошие. У нас были дружеские отношения, я его любил, он меня любил. Ну, кто его не любил.

Ну, у нас с ним был, так сказать, общий следователь. Товарищ Малоедов. Нас же обоих вызывали в Московскую прокуратуру. Вернее, сначала Сашу вызывали, а потом меня. И поскольку я знал, что Сашу вызывали, я пошел узнавать у него, в чем дело. Ну,

он мне дал полную консультацию, точную, что за человек и какое дело. У кого-то в Пущине, у какого-то человека, фамилию которого я забыл, нашли самиздат. Ни Саша к этому никакого отношения не имел, ни я, а просто и у меня, и у него были знакомые, которые были замешаны в это дело.

Вот Сарнов говорил, что Саша был не убежден в том, что он поэт. У всех это бывает, это нормальное состояние, у всех это бывает. Но чтобы это было отличительным качеством — этого я не замечал. Он был всегда среди людей, которые его знали. У него не было таких причин для этого. Потом можно было спорить: поэт — не поэт, у нас иногда превращается этот спор в терминологический, вот однажды я Киму сказал, что он занимается не поэзией, но искусством. Он сказал, что, в конце концов, это идиотский спор, это спор о термине. Потому что это хорошо, а раз хорошо, значит, это хорошо. А к чему вы будете относить, это уже не то что от лукавого, а не существенное для определения того, что он делал. То, что он делал, он делал очень хорошо, и очень важно и нужно было, очень точно и настоящее все искусство. Я не знаю, как вот называть настоящее искусство. Наверное, поэзия все-таки.

* * *

Дело в том, что Галич за границей — это особая статья. Особая статья была в том, что он был такой, как здесь. А все-таки ситуация там была другая. Но ему повезло, его почему-то эти люди заграничные признавали. Это так. Но выразить это они не могли иначе, как дать ему административную должность на «Свободе»! Они могли дать какого-то обозревателя, и он бы получал столько же денег, и было бы все нормально. Но он получил административные функции, на что, на мой взгляд, у него способностей еще меньше, чем у меня. А у меня они близки к нулю. Но

там же народ есть активный, и все там чего-то от него требовали. Его же еще по Москве знали. Особенно наши, которые недавно приехали, они больше понимали, но старые эмигранты — они вообще терялись. Ну, как договариваешься с человеком, а он сикось-накось. Ну, там у него романические дела, мирские, так сказать, были там несколько неэмигрантские все-таки, я понимаю, когда в Москве, а там это был перебор. Причем самое смешное, что муж одной женщины (я его плохо знаю), он ходил куда-то по советской привычке жаловаться в инстанции. Американцы совершенно охреневали от этого.

В Париже я Сашу практически не видел. Я видел его в Мюнхене, они только как раз переехали. Но Саша, он ведь не то что борец и защитник, чего у него нет, того и не было. Выступать он выступал. Говорить он говорил вещи вполне осмысленные, вполне нормальные, талантливо. В Саше был комплекс артиста, это было. Хотя он вроде стал творцом, но все равно в нем комплекс артиста. В Израиль уехал — так создал сразу целый цикл произведений, посвященный судьбе евреев, в общем, сионистских каких-то стихов, которые все, по-моему, плохие, и самое лучшее из них — это четверостишие, по-моему, действительно талантливое.

В каналах вода зелена
нестерпимо,
И ветер с лагуны
пронзительно
сер.

— Вы, братцы, из Рима?

— Из Рима, вестимо.

— А я из-под Орши, —
сказал гондольер.

Меня очень поразило — один раз показывали советскую агитку про радио «Свобода» — фальшивку. И там про Сашу было, что вот он должен был поехать

в Израиль к тете, а он поехал к дяде, к другому дяде, его там обрабатывали, и оставил ребенка тут, ну, как наши это умеют делать, но все к этому относились так, юмористически. Но почему-то вдруг его это сильно расстроило. Я страшно поразился, почему вдруг, ну кто на это обращает внимание? Тем более если это грозит последствиями, а там это ничем не грозило. Потом понял, что из-за ребенка, наверное.

В русской среде за границей Галич был очень известен, потому что издание его книг купилось «Посевом». То есть он получил гонорар и принес «Посеву» прибыль.

Он всегда говорил на всех языках — во всяком случае, по-немецки, по-французски и по-английски говорил совершенно свободно. Саша был хороший человек; хороший, добрый, доброжелательный, но актер он был тоже, это ничего не поделаешь. Актерские привычки в нем сидели, несмотря на то что у меня есть теория другая, не про Сашу, что в наше время вообще вместо поэтов работают актеры, но это к нему не относится. Он работал как поэт, а не как актер.

Конечно, Саша был весь человек тутошний, как и, в общем, я, и все такое, но он даже в большей степени, потому что у него дар более драматургический, что ли. Хотя все его народные слова он придумывал сам большей частью. Придумывал — это не то слово, они принадлежали ему, но они были такими, что казалось, что это он услышал. А на самом деле он их не слышал, большей частью он не слышал, он их нашел. Их не говорят, но могли бы сказать. Но это здесь, это все время было на слуху, Саша все время чувствовал жизнь. Чувствовал всякую, не только интеллигентскую. Нет. Он очень вообще крупный художник. Это другое дело, я не очень люблю патетические вещи, нет, хотя вот в «Кадише» замечательные куски, но вещи такие вот бытовые, о жизни —

просто это очень хорошо. Я часто себя ловлю, что ходят какие-то формулы его и слова его, это очень часто. Он очень серьезный художник. Все несерьезности относятся к бытовому характеру, а не к тому, что он писал.

«Ладно уж, прокормим окаянного», — вот это ведь и смешно, и не смешно, и страшно, и трогательно. А это «И в киоске я купил соль и перец»... Ведь это же очень здорово. «Мне теперь одна дорога», это же нельзя не понимать!

На фотографии это в Риме, 1977 год. Мы же там встретились, а потом я куда-то поехал еще. А потом я приехал в Париж, и мы должны были встретиться, мы раньше договаривались встретиться, все. Вот. Хрен. Когда идешь к человеку, а он погиб. Я оказался в центре события, сбоку, но все-таки в центре.

ПЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ГАЛИЧА

Последний раз, когда я видел Сашу Галича, он лежал на полу, большой, грузный, с раскинутыми руками, а над ним, то ли на полке, то ли на каком-то стенде, его убийца — сверхсовершенный радиоприемник, о котором Саша мечтал всю жизнь. Потом появились полицейские. Они с трудом подняли его и, перекинувшись несколькими фразами полупшепотом, унесли. Перед уходом сняли с его груди крестик и отдали мне. А через несколько дней мы его хоронили на русском кладбище Сен-Женевьев де Буа.

Незадолго до этого нашего печального расставания были мы вместе в дождливой осенней Венеции на знаменитом «биеннале»**, столь разгневавшем тогда Москву. Советский Союз демонстративно отказался участвовать в нем, поскольку советским людям дышать одним воздухом, пусть даже венецианским, с отщепенцами-клеветниками не пристало.

Саша выступал тогда и пел, но был какой-то грустный и усталый. Мне запомнился он после одного из своих выступлений. Мы попрощались (думал ли я, что в последний раз?), и он пошел вдоль тихого, ту-

* Виктор Платонович Некрасов (1911—1987). Известный прозаик. В 1974 году был вынужден эмигрировать из СССР. Жил и умер в Париже.

** Речь идет о Венецианском биеннале, посвященном культуре диссидентов, который состоялся 15 ноября — 15 декабря 1977 года. Организаторы его выпустили книжку песен бардов, куда вошли стихи Александра Галича, немца Вольфа Бирмана и чеха Карела Крыла.

манного канала тяжелой походкой, опираясь на палку, ссутулившийся, совсем не такой, каким был только что на сцене. И я подумал тогда: «Да, время-то идет, идет, не молодеем...»

И вспомнился он мне в тот вечер (да и сейчас вспоминается) таким, каким мы привыкли его видеть в Москве, на дому у кого-нибудь из друзей, — несколько пополневшим, но, как всегда, красивым, немножко даже слишком, в белом свитере под всегда модным пиджаком.

«Ну, с чего же начнем?»

И все умолкнут, задвигают стульями, поудобнее устроятся на диванах, креслах, разных там пуфчиках, а то и просто на полу.

Саша задумается, жене кинет: «Не перебивай только, пожалуйста, не подсказывай, — посмотрит куда-то в окно, вдаль, переберет струны... — Начнем, пожалуй...» И начнет.

Это были замечательные вечера. Все чувствовали себя причастными к чему-то серьезному, настоящему, и невольно начинало почему-то казаться, что при всем при том может и у нас существовать такой Саша Галич, Александр Аркадьевич, член Союза писателей, может и он выступать здесь, и не только здесь, среди друзей, но вот приглашали — и пел в Новосибирске, в Академгородке... Значит, все-таки что-то можно... И об этом «можно», или «не всегда и не везде...», или «зависит от...», или «не радуйтесь, не радуйтесь, еще не вечер...» говорили потом, разливая по рюмкам и стаканам вино, водку, коньяк, перебивая друг друга и все же радуясь или печалась, каждый по-своему, что вечер еще не пришел...

Но вечер есть вечер, и он пришел.

И на первом после пришедшего все-таки «того» вечера — парижском вечере я тоже был. Народу собралось много, очень много, и в зале, и толпящегося в вестибюле, и я кого-то устраивал, пропускал, и сам

оказался без билета, и пролез как-то зайцем («Забавно, — подумал, — на Сашу — и зайцем...»), и, устроившись потом где-то, не помню уже где, почувствовал, что волнуясь. А когда на эстраду поднялся очень немолодой человек и оказалось, что это сын Петра Аркадьевича Столыпина, того самого, убитого в моем Киеве в год моего рождения, мне совсем не по себе стало. Вот объявит он сейчас о выступлении известного поэта и барда А.А. Галича, а поймут ли его, советского поэта и барда? Поймут ли его люди — а их большинство в зале, — никогда в глаза не видевшие живого вертухая, а то и просто милиционера, не понимающие, что такое «порученец», и почему «коньячку принял полкило», и где это Абакан, куда плывут облака?

Кое-кто понял, кое-кто нет, но хлопали много, вызывали на «бис», и, как говорится, концерт прошел с успехом, но после него, когда мы обнимали и поздравляли Сашу, отделаться от какого-то странного чувства было трудно.

Я сказал «странное», но это не то слово, и касается оно не только Галича, а всех нас, пишущих здесь, на Западе.

Я живу здесь уже девятый год, многого до сих пор еще не понял, но одно понял со всей четкостью — аудитория наша осталась там, дома. Для нее мы и пишем. Может быть, в мое «мы» не входят все живущие и пишущие здесь, во Франции, в Америке, в Израиле русские писатели, но мое поколение это ощущает и понимает. А мы с Галичем одного поколения. И ему, Галичу, в этом отношении было еще сложнее. Ему нужен был не только читатель, но и слушатель, зритель. И как бы хорошо и проникновенно он ни пел, как бы хорошо ни переводили текст его песен, в зале перед ним — чужестранцы. Пусть в Иерусалиме их меньше, чем в Палермо или Венеции, но проблемы-то у них свои, и пьют там не ста граммами или

полкило, а маленькими глотками свое кьянти или вермут, и облака у них плывут не в Абакан, а в какую-то неведомую нам, непонятную даль.

Галич писал не только стихи, но и прозу. Совсем недавно я перечитал с неменьшим увлечением и волнением, чем в первый раз, его «Генеральную рецетицию» — рассказ о несостоявшейся премьере его пьесы «Матросская тишина», которой театр «Современник» должен был открыться. И бывает же такое в жизни — через двадцать с лишним лет после описанных событий мне посчастливилось говорить об этой действительно прошедшей когда-то генеральной репетиции с людьми, из которых один был тогда на сцене, а другой в зрительном зале. Я навсегда запомню этот вечер в одном из монпарнасских кафе.

Конечно же, пьеса сейчас не так уж звучит — много и разной воды с тех пор утекло, но в том, что тогда она была в самую точку, говорила о чем-то очень важном и существенном, была бы достойнейшим началом для молодого, ищущего и что-то утверждающего театра, нет никакого сомнения. Но этого не случилось. Пьесу запретили. Да, запретили, и зритель ее так и не увидел, а в историю русского театра она все-таки вошла, и прочно вошла. И в первую очередь самим фактом той «генеральной репетиции» и всеми ее участниками, от актеров до двух простуженных комитетских дам и многое решившего своей репликой Товстоногова. И последующим рассказом об этой последней репетиции Галича.

Обо всем этом мы и говорили в тот вечер в монпарнасском кафе. Когда-нибудь в другой раз я вернусь к этой теме, к страшной, железной логике происшедшего.

...Пять лет, как нет с нами Галича. И это очень чувствуется. Не хватает нам его песен, гитары, таланта, всего его облика, горько-печальной усмешки, его умения видеть, замечать, слышать, подслуши-

вать то, что мы не слышим, мимо чего проходим, пробегая вечно замотанные, куда-то спешащие, озабоченные, а то, чего греха таить, к чему-то и безразличные.

Иной раз, глядя на Сашу, такого красивого, элегантного, в красивом пиджаке, мы думали: хорошо ему, такому умному, талантливому, разъезжающему по всему миру со своей гитарой и песнями, будящему если не во всех, то в нас, во всяком случае, что-то хорошее, полузабытое, а то и полупроклятое... Хорошо ему... А вот не так уж и хорошо ему было, умному и талантливому, может быть, именно потому, что умному и талантливому не всегда и не везде хорошо.

Париж 1982

**Алена Галич
вспоминает об отце**

Малая церковка, свечи оплывшие,
камень дождями размыт добела.
Здесь похоронены бывшие, бывшие.
Кладбище Сен-Женевьев де Буа.

Участок № 54. Александр Галич.

— Алена Александровна, расскажите о своих первых воспоминаниях об отце.

— Мои самые первые воспоминания связаны с жизнью на Бронной, когда я, маленькая, с большим перевязанным горлом, открываю глаза и вижу склоненную голову отца, сидящего за рабочим столом. Сейчас часто пытаются представить Галича этаким божественным, пьющим, влюбляющимся. Может, он был в какой-то степени увлекающимся человеком, но мне он запомнился в основном работающим. Вот мы гуляем с ним по Тверскому бульвару, и вдруг он неожиданно садится на скамейку, достает блокнот (всегда находящийся в кармане), начинает что-то писать, совершенно забывая про меня. Однажды мама застала такую сцену: я сижу в луже, папа — на скамейке, что-то записывает в очередной блокнот. Мы с ним оба довольны, а мама в ужасе. Когда он работал, то забывал обо всем на свете.

Мои родители довольно рано разошлись. Когда я училась в 10-м классе, моим нелюбимым предметом была математика, я не знала ее и считала, что знать не надо, потому что собиралась поступать в ГИТИС. В те дни, когда были уроки математики, я прогули-

вала занятия в школе. Папа знал об этом и, когда мама уходила на работу, звонил мне и спрашивал: «Ну, ты как?» Я отвечала: «Мимо». Это был такой пароль, означающий: «гуляем», расшифровка простая — встречаемся у кинотеатра — «Повторного фильма». Отец любил ходить со мной на утренние сеансы.

Он руководил моим чтением. Однажды я нашла книжки Чарской, и папа сказал: «Ты читай, но никому не говори, ведь ты понимаешь, ты взрослый человек». Взрослому человеку было всего пять лет. Отец, как все большие люди, был сентиментален, ему нравились Диккенс, Чарская. Он считал правильным, что в ребенке воспитывается доброта, сочувствие к ближнему. У нас тогда была волна выступлений в защиту негров, а он считал, что маленький ребенок должен знать, когда надо защитить такого же ребенка. Еще он любил ходить по комиссиям и покупать подарки, хотя денег у него было немного. Бабушка считала это дурным вкусом.

Я часто болела, у меня были увеличенные железы, и он подарил мне теплую пижаму, синюю, с голубыми отворотами — главное, он сам получил от этого огромное удовольствие. И еще он очень любил цветы, но не розы: не любил пышность, любил простые полевые цветы. У него на столе всегда стояли персидские гвоздики вишневого цвета. И если даже шел ко мне, прогуливавшей школу, то обязательно нес цветы.

А еще была история, когда мы вместе сбежали: я — от мамы (в это время я должна была с репетитором заниматься математикой), папа — от Ангелины Николаевны, его второй жены. В Москве гастролировал английский театр, у отца были билеты, он пригласил меня на спектакль. Днем мы пообедали в Доме журналистов, а вечером отправились в театр: ма-

ма искала меня, была в ярости, кто-то ей сказал про театр. А Ангелина Николаевна ворвалась в зал и сказала, что она так и знала. И тем не менее мы с отцом были очень счастливы. Подобные истории случались часто.

— Скажите, Алена Александровна, ваш отец отбывал срок в лагере? Я спрашиваю об этом потому, что он пел «лагерные» песни, такие, как «Товарищ Сталин, вы большой ученый...».

— Нет, отец не сидел, а сидел мой дедушка. Его посадили в 1947 году, была соответствующая волна (видимо, А.А. имела в виду борьбу против космополитов. — И.Т.). Папа получил деньги за книгу «Вас вызывает Таймыр», бабушка продала рояль, отец дал кому-то взятку, и деда выпустили.

Отец не сидел, но говорил, что настоящий художник чувствует чужую боль еще больше, чем свою.

Он был удачливым человеком, у меня на пленке есть запись, где он говорит: «Я был благополучным сценаристом, я был благополучным советским холуем. Но я понял, что так больше жить не могу, я должен сказать правду в полный голос».

— И когда он начал говорить правду и как?

— После XX съезда КПСС позволили сделать глоток свежего воздуха. Отец выбрал для себя форму городского романса. Он начал писать песни, исполнять их, они были у всех на слуху. Люди распевали и «Облака», и «Раскрутили шарик наоборот», и «Уходят друзья»... Отец считал, что только так он может высказаться откровенно.

— Скажите, Алена Александровна, кто был гонителем Галича и каким был «первый звонок» из высоких инстанций?

— Первый «полувзвон» был в 1968 году, после Новосибирского фестиваля, когда в Союзе писателей разбирался вопрос по поводу отца, Окуджавы и дру-

гих бардов. Разбиралась авторская песня, обсуждался вопрос о писателях, подписавших письмо в защиту Галанскова и Гинзбурга. Писателям было рекомендовано не подписывать больше никаких писем, а бардам — не исполнять таких песен, как Галич в Новосибирске. Я должна сказать, что все так и сделали, а отец продолжал писать и исполнять свои песни.

До сентября 1971 года гонений со стороны официальных властей на отца не было — запускался фильм «Шалапин» по сценарию Галича, в издательстве «Искусство» готовилась к изданию книга отца. Но когда член политбюро Полянский на свадьбе дочери прослушал песни Галича, началось повальное запрещение его выступлений, был положен на полку фильм «Шалапин». Тогда отец отнесся ко всему этому с большим удивлением. Он был эмоциональным человеком и говорил, что его спасало собственное легкомыслие. Странно, что его многие изображают мизантропом. Были, конечно, тяжелые периоды в его жизни — недаром в 1973 году он принял крещение, но в целом его внутренний настрой оставался светлым.

— Скажите, есть ли люди, которые в свое время отвернулись от Галича, а теперь записываются в его друзья?

— «Помолчи — попадешь в богачи» — были такие. Были и предатели. Настоящих друзей у отца было немного. Это Аграновские, Нагибин, Рассадин. Один очень известный артист, хорошо знавший моего отца с юношеских лет, сказал как-то, что он не считал Сашу талантливым человеком — дескать, он разбрасывался и песни свои писал не потому, что чувствовал боль и необходимость высказаться, а просто любил красоваться и выступать перед академиками, но при этом на самом деле всего боялся, был очень трусливым человеком. И вдруг я вижу и слышу, как в

прошлом году он выступает по радио и по телевидению с воспоминаниями о Галиче в совершенно другом духе.

— Кстати, я видел передачу по ТВ, где этот же актер рассказывал о Галиче — в частности, о том, как в Ленинграде в 1947 году (во время «охоты на ведьм») они выпивали с Александром Аркадьевичем, сидя в гостиничном номере, и рассказывали анекдоты. Вдруг раздался телефонный звонок, Галич снял трубку и через несколько минут, повернувшись к нему и к «третьему» — Утесову, — сказал: «Просили подождать с анекдотами, бобину меняют». Я думаю, что так шутить, как это делал Галич в то страшное время, мог только очень смелый человек...

Скажите, пожалуйста, Алена Александровна, как вашего отца выдворили из страны?

— С 1973 года отцу стали поступать приглашения из Норвегии на временное сотрудничество с Академией имени Станиславского. В 1974 году он был вызван в ОВИР, и ему предложили выехать по неизвестно от кого пришедшей израильской визе. Было сказано, что если он не уедет на Запад, то поедет на Север, и после двух инфарктов третий там не перенесет.

Отец выбрал Запад. Ему дали кров в Норвегии. Он получил нансеновский паспорт беженца (с ним он и умер). Потом переехал в Мюнхен, был приглашен на радио «Свобода». А потом оказался на радиостанции «Свобода» в Париже, его там полюбили, он делал то, что хотел, даже его концерты проходили под эгидой радио «Свобода».

— После того как ваш отец обустроился в Париже, у вас не появлялось желание переехать к нему на постоянное жительство?

— В конце 1976 года отец написал, что обстановка стабилизировалась и он может нам с бабушкой прислать приглашение. На постоянное жительство я

никогда бы не решилась — не представляла себе жизни без Москвы, без Бронной где прошло детство. В трудные минуты я ездила на Патриаршие пруды и даже ночью иногда представляла наш с отцом маршрут по Тверской, по бульвару к Бронной.

— В телевизионной передаче «Заговор против Страны Советов» было сказано, что Галич имел двухэтажную квартиру в центре Парижа, около «Мулен-Руж», несколько домов и виллу в Каннах. Простите за бестактный вопрос — это правда?

— Во-первых, я это впервые слышу. Во-вторых, мой отец жил очень скромно. У него была приличная квартира, которую частично оплачивала радиостанция «Свобода». Когда его не стало, то сняли для Ангелины Николаевны квартиру попроще, где она трагично закончила свою жизнь. Это случилось в 1986 году при невыясненных обстоятельствах.

— Вы, Алена Александровна, бывали в квартире, где жил ваш отец?

— Дело в том, что квартиры этой уже не существует, но я видела дом, его заняла какая-то организация. Но вас, как я понимаю, интересует то, что там произошло и что до сих пор остается загадкой?

Отец вел передачи из Парижа — «Галич у микрофона». Ему нужна была информация о событиях, происходящих в нашей стране. Чтобы слушать Москву, для его радиоаппаратуры требовалась специальная антенна. Отец плохо разбирался в таких вопросах, и радист Жан Мария, работающий на «Свободе», обещал ему помочь приобрести нужную антенну. Но радисту все было некогда, и тогда отец попросил его на бумаге написать характеристику антенны. Жан уговаривал отца перенести дело на завтра, когда сам сможет это сделать. Но отец взял у него бумагу и решил сам сделать покупку. С радиостанции он вышел вместе с А. Синявским. Синявский рассказывал, что он подождал отца, тот что-то

купил в магазине и пошел домой. Это было в четвертом часу дня. Ангелина Николаевна рассказывала: отец пришел домой, принял душ, она решила сходить за сигаретами и услышала, как он сказал: «Ню-ша, придешь домой, услышишь необыкновенную музыку».

Ангелина Николаевна вернулась через 15 минут и застала отца лежащим на полу с зажатой в обугленных ладонях антенной, включенной напрямую в электросеть. Она так кричала, что из пожарной напротив прибежали люди. И тут начинается настоящий детектив: пожарники вызвали не «Скорую помощь», а полицию, которая вызвала «Скорую» и почему-то тут же вызвала «Свободу», и не кого-нибудь, а дирекцию, при которой констатируется смерть. Это произошло 15 декабря 1977 года. Сколько я там ни выясняла, почему же полиция, не зная еще, кто погибший, вызывает дирекцию «Свободы» и при ней регистрирует несчастный случай, ничего не добились. Отца увозят, вскрытия не производят. Ангелина Николаевна пыталась добиться проведения следствия, однако это дело замяли.

Отца несколько дней не отпевали, потом отпели в соборе Александра Невского, где в свое время отпевали Шалапина. Пришло очень много народа, такого не было со времен отпевания великого русского певца.

Отца похоронили, дело прикрыли, а меня не покидает мысль, что что-то здесь не так.

— Будем надеяться на то, что со временем все точки над «i» будут поставлены и мы узнаем всю правду. А пока будем без запретов слушать песни Галича, читать его произведения, смотреть фильмы, поставленные по его сценариям, ходить на его пьесы и помнить о нем...

Всесоюзный Ленинский Коммунистический
Союз Молодёжи
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
№ 01/185с 29 марта 1968 г.
Секретно
ЦК КПСС

Информируем ЦК КПСС о состоявшемся в Новосибирске так называемом «всесоюзном фестивале-празднике самодеятельной песни».

«Фестиваль» проходил с 7 по 12 марта и был организован без ведома партийных, советских и комсомольских органов советом самодеятельного кафе-клуба «Под интегралом» в Академгородке. Программа «фестиваля» предусматривала массовые концерты, дискуссии «о новом жанре искусства — поэтической песне». Организаторы и участники «фестиваля» стремились придать ему характер «всесоюзного учредительного съезда бардов», выработать положение или устав.

«Фестиваль» в Новосибирске тщательно готовился его организаторами, причём его ярко выраженный политический характер сохранялся в тайне до самого открытия.

29 участников этого «учредительного съезда бардов» приехали из 9 городов: из Москвы (10 человек — Галич, Бережков, Волынцев, Чесноков и другие); из Ленинграда, Красноярска, Свердловска, Казани, Севастополя, Томска, Минска и Новосибирска. Участ-

ников фестиваля приветствовали телеграммами Высоцкий, Ким, Анчаров, Окуджава, Матвеева.

Состав участников был весьма неоднородным как по уровню исполнительского мастерства, так и по идейному содержанию. В большинстве своём выступления в концертах и на дискуссиях носили явно тенденциозный характер, были проникнуты духом безыдейности, аполитичности, клеветы на советскую действительность. Об этом свидетельствует репертуар А. Галича, который содержал такие песни, как «Памяти Б.Л. Пастернака», «Баллада о прибавочной стоимости», «Ошибка», «Песня про генеральскую дочь», «Закон природы», «Про товарища Парамонову» и другие. Жанр их, по определению самого автора, — «жанр пародийной песни», идейная направленность — «шагать не в ногу», их герои, как правило, руководящие работники, которых автор рисует лишь в чёрных тонах.

Так, герой песни «Баллада о прибавочной стоимости» — «марксист, почти что зам, почти что зав», знающий марксизм «от сих до сих» по «Анти-Дюрингу» и «Капиталу», но продающий свои убеждения и Родину за богатое наследство «тётушки из страны Фингалии». Автор, обращаясь к залу, постоянно подчёркивает мысль: «Все мы такие».

В песне «Памяти Б.Л. Пастернака» звучат озлобленность и угроза: «Мы поимённо вспомним всех, кто руку поднимал...»

<...>

Некоторые из участников, например, Галич, Бурштейн, Фрумкин, Чесноков, в своих выступлениях акцентировали внимание слушателей на проблемах взаимоотношений между национальностями, когда, по их мнению, «выпячивается» культура одних народов и «искусственно подавляется» культурное насле-

дие других. В частности, назывались «незаслуженно забытые» песни и мелодии из «народного еврейского» творчества, которые здесь же, на концертах, предлагалось разучить всем слушателям.

В песенном цикле «Об Александрах» Галич откровенно издевается и над интернациональной политикой нашего государства, высмеивая помощь Советского Союза народам Африки.

Судя по всему, член Московского отделения Союза писателей А. Галич (Гинзбург А.А.) претендует на роль идейного вдохновителя «бардов». И если ранее его песенное «творчество» распространялось только в магнитофонных записях, то в Новосибирске его песни зазвучали с открытой эстрады. Перед каждым концертом, а также в дискуссиях аудитория усиленно «обрабатывалась». Галича представляли как «замечательного поэта, известного сценариста и драматурга», сравнивали с Салтыковым-Щедриным, Зощенко и Маяковским.

Взгляды Галича разделяли и активно поддержали в ходе дискуссии В. Фрумкин, член Союза композиторов (Ленинградское отделение), А. Бурштейн, президент клуба «Под интегралом», старший научный сотрудник Института кинетики и горения СО АН СССР, старший преподаватель Новосибирского университета, Ю. Кукин, бывший тренер, с октября 1967 года нигде не работающий, обосновавшийся при самодеятельном клубе «Восход» Ленинграда.

По мнению устроителей и многих участников, собрание их в Новосибирске должно было определить место «бардов» в творчестве народа. Они заявляли, что собраться было необходимо, так как «в нашем движении много трудностей, зигзагов, царит застой и уныние. Творчество бардов — народное искусство, народное не только по форме, но и по существу. Песни бардов — новая форма бытия поэзии. Время тре-

бует новой формы борьбы с недостатками, консерватизмом и забвением уроков прошлого».

Выступая перед аудиторией более чем в тысячу человек, С. Чесноков, преподаватель Московского инженерно-физического института, предпослал следующее вступление: «Песня посвящается американской певице, которая, когда её спросили, почему песни бардов, исполняемые плохо поставленными головами, с плохим музыкальным сопровождением, пользуются такой популярностью, ответила: «Нам слишком долго ввали хорошо поставленными головами...» И я (т.е. Чесноков) полностью присоединюсь к её словам».

<...>

Стихийность, неуправляемость в этом движении, как показал «фестиваль», ведут к тому, что организующую роль в нём берут на себя люди сомнительных, а порою откровенно чуждых нам политических взглядов и убеждений. И трибуна предоставляется в основном не подлинно самодеятельным авторам, работающим на заводах, в геологических экспедициях, в институтах, а полупрофессионалам или людям вроде А. Галича, которые любой ценой стремятся завоевать популярность, имя, да и немалые доходы.

Люди, претендующие на роль организаторов и вдохновителей «нового движения», постоянно ссылаются на опыт заграничных «бардов» (битлов, хиппи и пр.). Не случайно на сборище в Новосибирске было предложено послать приветственную телеграмму от имени «съезда» всем «бардам» капиталистических стран.

Следует отметить, что организаторы фестиваля в какой-то мере отдают себе отчёт в том, на какой скользкий путь вступают. Один из главных организаторов упомянутого «фестиваля» А. Бурштейн вы-

сказался в том смысле, что действовать надо осторожнее, потому что недавние судебные процессы над Синявским и Даниэлем, а также над «группой» Гинзбурга, вероятно, не последние и надо быть готовым ко всему.

ЦК ВЛКСМ в настоящее время принимает меры для тщательного изучения этого вопроса...

<...>

Информируя ЦК КПСС о сборище в Академгородке Новосибирска, ЦК ВЛКСМ считает, что тенденции в развитии так называемого «движения бардов» заслуживают внимания соответствующих государственных и общественных органов.

Секретарь ЦК ВЛКСМ /С. ПАВЛОВ/ _____
(подпись)

КГБ — ЦК КПСС:

«Отрицательную роль в формировании общественных взглядов интеллигенции и молодежи Академгородка в последнее время играла деятельность клуба «Под интегралом». Ввиду отсутствия должного контроля со стороны партийной и комсомольской организаций клубом руководили политически сомнительные лица (Бурштейн, Яблонский, Рожнова, Гимпель и др.), которые устраивали встречи с такими лицами, как Копелев, Галич, пытались пригласить Якира, Кима.

Как уже сообщалось ЦК КПСС, по инициативе бывшего руководства клуба в Академгородке в апреле [так!] 1968 года проведён фестиваль самодеятельной песни с участием Галича, Бережкова, Иванова, в песнях которых содержалась клевета на советских людей и нашу действительность. У значительной части зрителей эти выступления вызвали нездоровый ажиотаж...

...Органы Комитета госбезопасности оказывают помощь партийным и общественным организациям Новосибирской области в осуществлении мер, направленных на пресечение деятельности группы лиц, вставших на антиобщественный путь...»

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР
ПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОГО СЕКРЕТАРИАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА

Протокол № 10 от 20 мая 1968 г.

СЛУШАЛИ: О статье, опубликованной в газете «Вечерний Новосибирск» от 18 апреля 1968 года, и письме группы учёных института геологии и геофизики СО АН СССР на имя председателя Правления СП СССР тов. К.А. Федина по поводу выступления члена СП тов. Галича А.А. в клубе «Интеграл».

(тов. Ильин В.Н.)

В обсуждении приняли участие: тт. Кассиль Л.А., Галин Б.А., Тельпугов В.П., Розов В.С., Наровчатов С.С., Алексеев М.Н., Ильин В.Н., Михалков С.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

Ознакомившись со статьёй в газете «Вечерний Новосибирск» и письмом группы учёных, а также заслушав объяснения члена СП тов. Галича А.А., Секретариат Правления МО СП РСФСР считает необходимым отметить отсутствие у тов. Галича А.А. должной требовательности и политического такта при выборе песенного репертуара для публичных выступлений. Секретариат также отмечает, что нарекания на идейно-политическую ущербность исполняемых им отдельных песен имели место и ранее, но, как видно, должных выводов для себя тов. Галич не сделал, о чём свидетельствует статья и письмо груп-

пы ученых. На основании вышеизложенного Секретариат считает нужным строго предупредить тов. Галича А.А. и обязать его более требовательно подходить к отбору произведений, намечаемых им для публичных исполнений, имея в виду их художественную и идейно-политическую направленность.

<...>

За политическую безответственность, выразившуюся в подписании заявлений и писем в различные адреса, по своей форме и содержанию дискредитирующих правопорядки и авторитет советских судебных органов, а также за игнорирование факта использования этих документов буржуазной пропагандой в целях, враждебных Советскому Союзу и советской литературе, — объявить:

строгий выговор с занесением в личное дело —
т. Копелеву Льву Залмановичу;

выговор с занесением в личное дело —

Аксенову В.П.

Самойлову Д.С.

Балтеру Б.И.

Войновичу В.Н.

Чуковской Л.К.

Штейбергу А.А.;

поставить на вид —

Ахмадулиной Б.А.

Коржавину Н.М.

Щитовой В.В.

Сарнову Б.М.

Искандеру Ф.А.

Поженяну Г.М.

Пинскому Л.Е.

Соловьевой И.Н.

Светову Ф.Г.

Икрамову К.А.

Левитанскому Ю.Д.
Адамян Э.Г.
Гольшевой Е.М.
Оттену-Поташинскому Н.Д.;

строго предупредить —
Богатырева К.П.
Корнилова В.Н.
Наумова Н.В.
Домбровского Ю.О.
Максимова В.Е.
Левицкого Л.А.;

предупредить —
Хинкиса В.А.
Рубницкого Л.Л.
Матвееву Н.Н.
Каверина В.А.
Лорие М.Ф.
Казакова Ю.П.
Эдлisa Ю.Ф.
Рощина М. М.

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ
«ЛИТЕРАТУРНАЯ РОССИЯ».

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
МОСКОВСКИМ ПИСАТЕЛЯМ
И КИНЕМАТОГРАФИСТАМ

Уважаемые товарищи!

29 декабря 1971 года московский секретариат СП, действуя от вашего имени, исключил меня из членов Союза писателей. Через месяц секретариат СП РСФСР единогласно подтвердил это исключение.

Еще некоторое время спустя я был исключен из Литфонда и (заглазно) из Союза работников кинематографии.

Сразу же, после первого исключения, были остановлены все начатые мои работы в кино и на телевидении, расторгнуты договора.

С фильмов, уже снятых при моем участии, — вычеркнута моя фамилия. Таким образом, вполне еще, как принято говорить в юридических документах, «дееспособный» литератор, я осужден на литературную смерть, на молчание.

Разумеется, у меня есть выход. Года эдак через два-три, написав без договора (еще бы!) некое «выдающееся» произведение, добиться того, чтобы его кто-то прочел и где-то одобрили, приняли к постановке или печати, и тогда я снова войду в дубовый зал (комнату № 8) Союза писателей и меня встретят с улыбками товарищи Васильев, Алексеев, Грибачев, Лесючевский, и сам товарищ Медников (может быть?) протянет мне руку — а потом меня восстановят в моих литературных правах.

Но беда в том, что вышеупомянутые товарищи и я по-разному смотрим на литературное творчество и

на понятие «выдающееся» произведение — и, таким образом, боюсь, сцена в дубовом зале относится к области чисто научной фантастики.

Меня исключили втихомолку, исподтишка*. Ни писатели, ни кинематографисты официально не были поставлены (и не поставлены до сих пор) об этом в известность. Потому-то я и пишу это письмо. Пишу его, чтобы прекратить слухи, сплетни, туманные советы и соболезнования.

Меня исключили за мои песни — которые я не скрывал, которые пел открыто, пока в 1968 году тот же секретариат СП не попросил меня перестать выступать публично.

Многие из вас слышали эти песни.

За что же меня лишили возможности работать?

Предлоги: выход книжки моих песен в некоем эмигрантском издании, без моего ведома и согласия, с искаженными текстами и перевернутой биографией (факт, который почему-то особенно ставил мне в вину драматург Арбузов), упоминание моего имени заграничными радиостанциями; какой-то мифический протокол о задержании милицией в некоем городе некоего молодого человека, который обменивал или продавал некие мои пленки, которые он якобы сам, с моего голоса, записывал в некоем доме, — все это, разумеется, и есть только предлоги.

Предлогом является и мое номинальное избрание

* Единственная информация в СССР появилась в «Хронике текущих событий», выпуск 23, 5 января 1972 г. в разделе «Новости самиздата»: «Ю. ГЛАЗОВ, Е КАБАЧНИК, В. ТУРКИНА, Ю. ШТЕЙН. «Слово друзей». Открытое заявление по поводу исключения из Союза писателей СССР Александра Галича (ХТС. Выпуски 16—27, Серия «Библиотека Самиздат», № 6, Амстердам: Фонд имени Герцена, 1979. С. 340).

в члены-корреспонденты Советского комитета прав человека*.

Ни в уставе Союза советских писателей (старом и новом), ни в уставе СРК, нигде не сказано, что советский литератор не имеет права принимать участие в работе организации, ставящей себе задачей легальную помощь советским органам правосудия и закона.

Я писал свои песни не из злопыхательства, не из желания выдать белое за черное, не из стремления угодить кому-то на Западе.

Я говорил о том, что болит у всех и у каждого здесь, в нашей стране, говорил открыто и резко.

Что же мне теперь делать?

В романе «Иметь и не иметь» умирающий Гарри Морган говорит: «Человек один ни черта не может».

И все-таки я думаю, что человек, даже один, кое-что может, пока он жив. Хотя бы продолжать делать свое дело.

Я жив. У меня отняты мои литературные права, но остались обязанности — сочинять свои песни и петь их.

С уважением Александр ГАЛИЧ

* «Чалидзе ввел в устав комитета почетное звание члена-корреспондента. Оно должно было присуждаться людям, имеющим большие заслуги в деле защиты прав человека. Конечно, тут все было плохо продумано, начиная от названия, заимствованного из Устава Академии наук, где оно означает нечто совсем другое. Еще хуже, что были выбраны Александр Галич и Александр Солженицын. Каждый из них был очень плохо информирован о намечавшемся избрании (Галич по телефону, к Солженицыну ездил с какой-то беседой я). В результате они были поставлены в очень неловкое и ложное (а Галич — даже опасное) положение». (Андрей Сахаров. Воспоминания. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1990. С. 424. См. также: Андрей Сахаров. Pro et contra, М.: Пик. 1991. С. 188—190.)

В МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Во Всеобщей декларации прав человека, принятой и ратифицированной правительством Советского Союза, сказано: «Каждый человек имеет право покинуть любую страну, включая собственную, и возвращаться в свою страну». А мне в этом праве отказано уже дважды. «По идеологическим мотивам». Как наказание за то, что я пытался по ряду вопросов высказывать свою точку зрения, отличную от официальной.

Вот уже два с лишним года, после моего исключения из Союза писателей и Союза кинематографистов, я лишён других профессиональных прав: права увидеть своё произведение опубликованным, права заключать договор с театром, киностудией или издательством, права выступать публично. Когда показываются фильмы, поставленные в прошлые годы по моим сценариям, чья-то скрытая рука вырезает из титров мою фамилию. Я не только неприкасаемый, я ещё и непроизносимый. Только на всякого рода закрытых собраниях, куда мне доступ заказан, моё имя иногда упоминается с добавлением оскорбительных и бранных эпитетов. Мне оставлено единственное право: смириться со своим полнейшим бесправием, признать, что в 54 года жизнь моя, в сущности, кончена, получать мою инвалидную пенсию в размере 60 рублей в месяц и молчать. И ещё ждать.

В моём положении с человеком может случиться всё, что угодно. Ввиду крайней опасности этого положения я вынужден обратиться за помощью к вам, Международному комитету прав человека, и через вас — к писателям, музыкантам, деятелям театра и кино, ко всем тем, кто, вероятно, по наивности продолжает верить в то, что человек имеет право выска-

зывать собственное мнение, имеет право на свободу совести и слова, право покидать по желанию свою страну и возвращаться в неё.

Александр ГАЛИЧ

Постскриптум. Я уже написал это письмо, когда узнал о том, что писателю Владимиру Максимову, человеку редкого таланта и мужества, тоже отказано в поездке. Таким образом, власть имущие высказали недвусмысленное намерение лишить нас не только профессиональных, но и гражданских прав. Мы (теперь я уже могу сказать мы) обращаемся за помощью к готовым оказать её каждому, кто в ней нуждается. А что, если нам сообща вдруг удастся доказать правительствам стран, ширококвещательно объявившим о подписании Декларации, что слова о свободе — не пустые слова и что вера в права человека не так уж наивна.

А.Г.

Москва, 3 февраля 1974

1. «<... > в 62-м году. Я ехал из Москвы в Ленинград, пижон, вполне благополучный кинематографист, в мягкой «Стреле». Причём, так как у меня был блат в железнодорожной кассе, мне давали ещё так называемое 19-е место, из-за чего меня все остальные пассажиры этого вагона принимали за стукача, потому что 19-е место — это место КГБ. Это единственное одноместное купе в мягком вагоне. И вот, так как мне не спалось, я решил сочинить какую-нибудь песню. Причём песен я не писал очень давно, а стихов тем более, и как-то они ушли из моей жизни на долгие годы. И вот я... стал сочинять песню под названием «Леночка». И сочинял я её, в общем, всю ночь, но как-то я сочинил сразу, с ходу. То есть это заняло у меня часов пять, не больше. И когда я сочинил, я вышел в коридор и так подумал: «Э-э, батюшки! Несмотря на полную ерундовость этой песни, тут, кажется, есть что-то такое, чем, пожалуй, стоит заниматься» (фонограмма).

2. «...У меня был двоюродный брат. Он 24 года отбывал, о нем я не забывал никогда и бесконечно страдал за него. Когда я пишу в «Облаках», что «недаром я 20 лет...», я пишу от имени Виктора, который был для меня больше, чем близким человеком» (интервью «Песня, жизнь, борьба», Посев, № 8, 1974).

3. Когда на одном из моих домашних концертов в первый раз люди попросили меня: «Спойте «Аджубечку», я сказал: «Помилуй Бог, я вроде такой песни не

писал». — «Ну как же, это ваша песня, вон, там: «Она вещи собрала...?»» Вот так связалась биография Алексея Аджубея с биографией героя этой песни, хотя, повторяю, когда я писал её, я о нём не думал. И я ничуть не полагал, что в чём-то они похожи. А вот в сознании людей они связались. Вот эта песня «Тонечка». «Аджубеечка» (из передачи на радио «Свобода» от 1 февраля 1977 года).

4. «...Должен сказать, что, когда я прочёл удивительную, прекрасную повесть Георгия Владимова «Верный Руслан», я подумал, что ведь, собственно говоря, вот эту песню — «Больничная цыганочка» — можно было бы назвать «Верным Русланом». Это история о людях с совершенно искалеченной, парадоксальной психологией, которая возможна только в тех парадоксальных, невероятных условиях, в которых существуют наши люди» (из передачи радио «Свобода» от 7 сентября 1975 года).

5. «...Что может быть старше темы о мещанине, на долю которого свалилось некое неслыханное богатство и наследство? Но современное её решение — оно, в общем, в данном случае предложено мною впервые. Поискать, причём не просто по-своему, а именно исходя из каких-то явлений времени — тех социальных, экономических, политических событий, которые происходят в нашем современном мире, — вот эти, грубо говоря, задачи стояли передо мною, когда я сочинял песню под названием «Баллада о прибавочной стоимости» (из выступления в дискуссии на Новосибирском фестивале, 11 марта 1968 года).

6. «Шуточная песня... В моей судьбе она сыграла неожиданно значительную роль. Именно за эту песню, когда меня исключали из Союза писателей, я был обвинён в проповеди сионизма» (фонограмма концерта в Израиле, ноябрь 1975 года).

7. «Под Москвой в 35 километрах, на станции Белые Столбы, расположен Госфильмофонд, а также сумасшедший дом» (фонограмма).

8. «Песня-пародия. Написана при участии Александра Раскина-Венцеля» (фонограмма).

9. «Подражание Аполлону Григорьеву, у которого есть известные строчки в его известнейшей поэме, посвящённой гитаре: «...Чибиряк, чибиряк, чибиряшечка, С голубыми ты глазами, моя душечка». Теоретический романс» (фонограмма).

10. «Цикл, который называется «Александрийские песни». Песни, посвящённые поэтам, которых я очень люблю, и людям, которых я очень люблю и одного из которых я знал».

Первая песня называется «Гусарская песня». Посвящается она замечательному поэту, офицеру Александру Полежаеву, который за свои сатирические стихи и песни был арестован, а затем разжалован в рядовые, сослан. После чего он спился и закончил свои дни в сумасшедшем доме» (фонограмма).

11. «Посвящается она памяти человека, которого — я горжусь тем, что я его знал, любил и был даже с ним дружен, — Александру Николаевичу Вертинскому» (фонограмма).

12. Были предположения, что он оставался в тюрьме, в «Крестах» в ленинградских, во время блокады. И его просто там забыли. Но, во всяком случае, он исчез» (фонограмма).

13. «В Ленинграде, на Волковом кладбище, есть такой ряд, который называется «Литераторскими мостками». Вот из этого цикла песня называется «На сопках Маньчжурии» и посвящается памяти Михаила Михайловича Зощенко» (фонограмма).

«...Я как-то раньше этого не говорил, теперь я понял, что это надо говорить, насчёт «толстомордого подонка». Это имеется в виду Жданов. Чтоб было ясно» (фонограмма).

14. «В августе был расстрелян Николай Гумилёв, в августе был арестован сын Ахматовой и Гумилёва — Лев, в августе вышли известные постановления ЦК КПСС «О журналах «Звезда» и «Ленинград», в которых были ошельмованы, вывалены в грязи великие русские писатели Анна Ахматова и Михаил Зощенко... Судьба подсказала мне решение финальных строк... это было в августе 1968 года... когда советские танки прокатились по улицам Праги» (из передачи на радио «Свобода», 24 августа 1974 года).

15. «...В квартире, где он жил, находились он, Надежда Яковлевна и Анна Андреевна Ахматова, которая приехала его навестить из Ленинграда. И вот они сидели все вместе, пока длился обыск, до утра, и пока шёл этот обыск, за стеною, тоже до утра, у соседа их, Кирсанова, ничего не знавшего об обыске, запускали пластинки с модной в ту пору гавайской гитарой...» (фонограмма).

16. «Правление Литературного фонда СССР извещает о смерти писателя, члена Литфонда, Бориса Леонидовича Пастернака, последовавшей 30 мая этого года на 71-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни, и выражает соболезнование семье покойного».

Единственное появившееся в газетах, вернее, в одной — «Литературной газете», — сообщение о смерти Б.Л. Пастернака.

17. Раиса Беньяш (1914—1986) — известный театральный критик.

18. «В своём театральном кабинете за день до отъезда в Минск, где его убили, Соломон Михайлович показывал мне полученные им из Польши материалы, документы и фотографии — о восстании в Варшавском гетто.

...Всхлипывая, он всё перекладывал и перекладывал эти бумажки и фотографии на своём огромном столе, всё перекладывал и перекладывал их с

места на место, словно пытаюсь найти какую-то ведомую только ему горестную гармонию.

Прощаясь, он задержал мою руку и тихо спросил:

— Ты не забудешь?

Я не забыл, Соломон Михайлович!» («Генеральная репетиция».)

19. «Посвящается одному прекрасному поэту — Борису Чичибабину, который сейчас работает бухгалтером в трамвайно-троллейбусном парке в городе Харькове» (фонограмма). Чичибабин скончался в 1994 г. (Прим. составителя.)

20. «... когда я написал свои первые песни, она... пришла ко мне и сказала: «Знаете, Саша, я хочу с вами поговорить... — вам кажется, что это вы так просто сочинили несколько забавных песен, а мы подумали, и нам показалось, что вот это то, чем вы должны заниматься. Это то, что вы должны делать...» (из передачи на радио «Свобода» от 23 июня 1977 года).

21. «Посвящается она Варламу Тихоновичу Шаламову. Это замечательный человек, замечательный писатель. Когда-то он начинал в тридцатые годы как поэт, и сейчас он, кстати, печатается в «Юности», но он пробыл очень много лет в лагерях. Он написал, по-моему, об этом прекрасную книжку, цикл рассказов и очерков об этом [«Колымские рассказы»]. Когда я её прочёл, мне захотелось написать песню, посвящённую ему. И, кстати, было очень странно: я у одного нашего знакомого пел песни... Сидел какой-то очень высокий человек, костлявый. Сидел, приложив руку к уху, — так слушал меня. Когда я сказал, что вот песня, посвящённая Варламу Тихоновичу Шаламову, он подсел совсем близко, просто прямо лицом к лицу. Мне было очень неудобно петь, и я очень злился во время того, как я пел эту песню. А потом, когда я кончил, он встал, обнял меня и сказал: «Ну вот, значит, давайте познакомимся. Я и есть

Шаламов Варлам Тихонович». Так мы с ним познакомились» (фонограмма).

22. «...Там только одно, значит, первое слово изменено, в смысле блоковской строчки... «Там жили поэты...» — у Блока, а у меня песня называется «Так жили поэты» (фонограмма).

23. «Это, в общем, подлинная история. Слово «Поллок», которое в этой песне произносится, означает фамилию американского художника-абстракциониста Джексона Поллока» (фонограмма).

24. «В городе Караганде я встретился с людьми, которые своё детство, отрочество и даже юность провели в лагере для детей врагов народа. Был такой лагерь «Долинка» под Карагандой. В 55—55-м годах, когда они освободились, они вышли, естественно, на волю, и мужчины в основном разъехались, а женщины в основном остались в Караганде» (фонограмма).

25. «Тот самый Семичастный, который обозвал, мерзавец, словом «свинья» Бориса Леонидовича Пастернака, тот самый Семичастный, который пытался оклеветать Александра Исаевича Солженицына.

Песня написана в 1966 году» (фонограмма).

26. Женщинам одним в ресторан было входить запрещено.

27. «Шибером называется спекулянт — севший за спекуляцию» (фонограмма).

28. «Старый Новый год я встречал тогда в Ленинграде. И встречал я его в компании людей, большинство из них подали заявление на отъезд. Большинство из них... Это был Новый год, встреча и прощание одновременно» (фонограмма).

29. «...На даче Большого театра у ворот стоит безумно странное сооружение, такое, значит, похожее на землемерный столб, врытое в землю. Там... деления написаны от одного до семи, так грубо кисточкой написаны: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И покачивается гиря на проволоке. Понять,

что это такое, невозможно. Я, значит, долго ходил там, спрашивал, даже у Галины Сергеевны Улановой, я говорю: «Что это такое?» Она говорит: «Ей-Богу, не знаю». Потом я ещё у других людей спрашивал. Потом я пошёл к официантке, я говорю: «Что это такое у вас?» Она говорит: «Как, Александр Аркадьевич? Это говномер!» Я говорю: «Как говномер?» Она говорит: «Ну это подведено сзади, значит, к ассенизационной яме. Значит, там уровень подымается, значит — гиря опускается... Как гиря опустится до уровня «семь» — значит, надо срочно вызывать золотариков — выгрести это... Дело» (фонограмма).

30. Пьеса написана в 1947 году совместно с Константином Исаевым. В 1948 году поставлена М. Гончаровым в Московском театре Сатиры.

31. Написано в эмиграции. Первая часть опубликована в журнале «Время и мы», № 24—25, 1977—78 гг. Судьба второй части неизвестна.

Литературно-художественное издание
Галич Александр Аркадьевич
АНТОЛОГИЯ САТИРЫ И ЮМОРА РОССИИ XX ВЕКА
Том двадцать пятый

Ответственный редактор *М. Яновская*
Художественный редактор *А. Мусин*
Технический редактор *Н. Носова*
Компьютерная верстка *Т. Комарова*
Корректор *В. Викулкина*

ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18, корп. 5. Тел.: 411-68-86, 956-39-21.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

**По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо»
обращаться в рекламный отдел. Тел. 411-68-74.**

Оптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:
ООО «ТД «Эксмо». 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д.1. Тел./факс: (095) 378-84-74, 378-82-61, 745-89-16,
многоканальный тел. 411-50-74.
E-mail: reception@eksmo-sale.ru

Мелкооптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:
117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1. Тел./факс: (095) 411-50-76.
127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 2. Тел.: (095) 745-89-15, 780-58-34.
www.eksmo-kanc.ru e-mail: kanc@eksmo-sale.ru

**Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо» в Москве
в сети магазинов «Новый книжный»:**

Центральный магазин — Москва, Сухаревская пл., 12
(м. «Сухаревская», ТЦ «Садовая галерея»). Тел. 937-85-81.
Информация о других магазинах «Новый книжный» по тел. 780-58-81.

В Санкт-Петербурге в сети магазинов «Буквоед»:
«Книжный супермаркет» на Загородном, д. 35. Тел. (812) 312-67-34
и «Магазин на Невском», д. 13. Тел. (812) 310-22-44.

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо»:
В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.
Тел. отдела реализации (812) 265-44-80/81/82/83.
В Нижнем Новгороде: ООО ТД «Эксмо НН», ул. Маршала Воронова, д. 3.
Тел. (8312) 72-36-70.
В Казани: ООО «НКП Казань», ул. Фрезерная, д. 5. Тел. (8432) 70-40-45/46.
В Киеве: ООО ДЦ «Эксмо-Украина», ул. Луговая, д. 9.
Тел. (044) 531-42-54, факс 419-97-49; e-mail: sale@eksmo.com.ua

Подписано в печать с готовых монтажей 05.04.2005.
Формат 84x108^{1/32}. Гарнитура «Букмэн».
Печать офсетная. Бум. тип. Усл. печ. л. 30,24+вкл.
Доп. тираж 4000 экз. Заказ 4156.

ISBN 5-699-03456-0



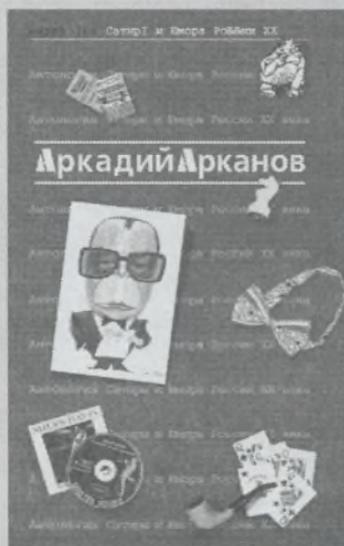
9 785699 034567 >

ОАО «Тверской полиграфический комбинат»
170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5. Телефон: (0822) 44-42-15
Интернет/Home page - www.tverpk.ru Электронная почта (E-mail) - sales@tverpk.ru

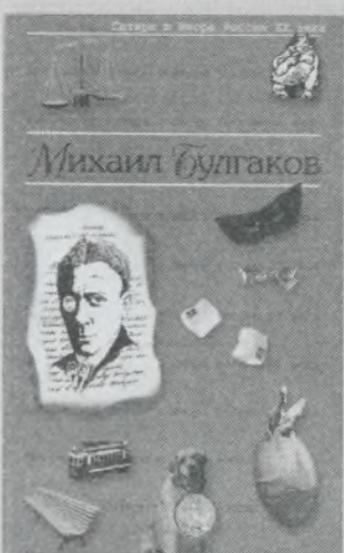


**Самое яркое событие
в литературной жизни
России 2003 года!**

**АНТОЛОГИЯ САТИРЫ И ЮМОРА
РОССИИ XX ВЕКА
В 50 ТОМАХ**











**В ближайшее время увидят свет книги
Антологии**

АФОРИСТИКА И КАРИКАТУРА
МИХАИЛ МИШИН
ЕВГЕНИЙ ЗАМЯТИН
СЕМЕН АЛЬТОВ
ДОН АМИНАДО
ЛЕОНИД ФИЛАТОВ

... Было это в начале февраля 1958-го года.
Позже - день недели и дату, - вспомнить
я теперь, разумеется уже не могу. Зима
^{Тот год} стояла кромешная - редкие морозные
дни сменялись куда как более особен-
ной оттепелью, а тогда московские ули-
цы были ^{завалены} мокрым грязным
снегом, который не успевали убирать и,
~~даже тогда~~, чтобы предупредить гололед,
посыпали не песком, (с песком были
перебои) а солью. От соли на обуви
просунами ^{незамедлительно} ~~нигде не стиралась~~, белая
^{на подошве бахромы}
ажурився ^{ураз воды}.
... Мы с Женой шли в театр-студию
"Современник" на генеральную репети-
цию моей пьесы "Матросская тишина"
на".
Впрочем, в ту пору, "Современник" не
был еще театром-студией, и ис-
был еще "Современником", а имен-

... Было это в начале февраля 1958-го года.
Позже - день недели и дату, - вспомнить
я теперь, разумеется уже не могу. Зима
^{Тот год} стояла кромешная - редкие морозные
дни сменялись куда как более особен-
ной оттепелью, а тогда московские ули-
цы были ^{завалены} мокрым грязным
снегом, который не успевали убирать и,
~~даже тогда~~, чтобы предупредить гололед,
посыпали не песком, (с песком были
перебои) а солью. От соли на обуви
просунами ^{незамедлительно} ~~нигде не стиралась~~, белая
^{на подошве бахромы}
ажурився ^{ураз воды}.
... Мы с Женой шли в театр-студию
"Современник" на генеральную репети-
цию моей пьесы "Матросская тишина"
на".
Впрочем, в ту пору, "Современник" не
был еще театром-студией, и ис-
был еще "Современником", а имен-

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Александр Галич

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

А у психов жизнь —
как бы жила любой:
Хочешь спать ложись,
хочешь песни пой!
Предоставлено или
вроде литера —
кому от Сталина,
кому от Гитлера.

А.Галич

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века